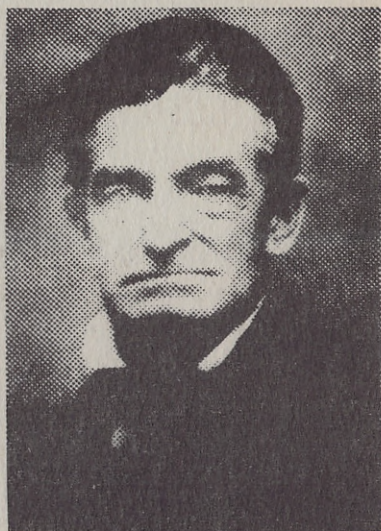


СТИВЕН
ВИНСЕНТ
БЕНЕ

**ТЕЛО
ДЖОНА
БРАУНА**

Перевод И. ЕЛАГИНА





СТИВЕН
ВИНСЕНТ
БЕНЕ

**ТЕЛО
ДЖОНА
БРАУНА**

Перевод И. ЕЛАГИНА

Ardis

Stephen Vincent Benet
TELO DZHONA BRAUNA (JOHN BROWN'S BODY)

Russian translation ©1979 by Ardis

Published by Ardis Publishers,
2901 Heatherway,
Ann Arbor, Michigan, USA

ISBN 0-88233-266-X (cloth)

ISBN 0-88233-267-8 (paper)

*МОЕЙ МАТЕРИ
И ПАМЯТИ
МОЕГО ОТЦА*

ТЕЛО ДЖОНА БРАУНА

К АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЕ

Твой, муза, крепкий, самобытный нрав
Постичь пытались многие сполна,
Своим искусством только обкарав
Тебя, большую, как твоя страна.

В тебе и сушь пустынь, и горный кряж,
Покров снегов, синь чистых родников,
Родная, как колчан навахский наш,
Как роза-компас карты моряков.

Беглец, никем непокоренный лось,
В горах рога склонивший над водой:
Десятков пять охотников гналось,
Но пули их не сладили с мечтой.

Великим вслед, бессмертному огню
Я смертную поставил западню.

Ты – призрак-буйвол, призрак-конь в степях
С монетою на счастье у седла,
Ковбой на дорогах, и в полях
Индейских – ты индейская стрела.

И бархат ты подстриженных лугов,
Где Массачусетс строит Шропшир¹ свой,
Ты – скалы Мэна, и в Саду богов²
Заря в своей раскраске боевой,

Старателей фургон в степной пыли,
У газولينки старый форд вдали.

Где ртом гранитным небоскреб дымит,
Взметая вверх туманный свой султан,
Ты – испаренье этих гордых плит,
Ты – разоренные сады южан,

И фермы Новой Англии³ зимой,
В снегу, с тоскою одиноких крыш,
И хлебный край, где ветра шум ночной,
Как вздох земли, когда, земля, ты спишь.

Друг, враг, ведунья, и в мешке твоём
Два океана связаны узлом.

Английской песней⁴ затыкали рот,
Все на английский лад в тебе кроя,
Но с первых дней слова пошли вразброд,
Дрозд заклевал чужого соловья.

И вот, в тоске по дому, человек
Иного склада наплодил детей,
И с Темзой воды всех английских рек,
Впав в Миссисипи, утонули в ней.

Тут насаждали Англию во всем,
Но взрыли не английский чернозем.

Все те, кому удачи в жизни нет,
Ватага вся озлобленная та,
Что поплыла ограбить Новый Свет,
На ком рубашки нет и нет креста,

Цареубийца и жеманный пэр,
Голландский краснощекий хлебороб,
Версальский мот и вор из графства Клэр⁵,
Как гвоздь упрямый пуританский лоб,

Монах, что мнил привить тебе устой
Святой Испании иль Франции святой, —

Из кож рубавки шила ты в те дни,
Когда любил тебя весь этот сброд,
В мечту так гордо верили они,
Как в женщину с заоблачных высот.

Теперь твой лик сложнее нам предстает,
Мы видим лишь огромность колеса;
В себя вобрав нечеловечий пот,
Литою сталью ты сверкаешь вся.

Тут все в тебе, и ты во всем видна,
Ничто не ложь, и правды нет сполна.

Каков же он, твой настоящий вид?
Как из-под спуда суть твою извлечь,
Чтоб звездный свет, который ныне скрыт,
Насквозь пронзал бы, как разящий меч?

От наших ты скрываешься облав,
И призрачной становится мишень,
Такую ловит фокусник в рукав,
Но это нарисованная тень.

Америку никто воспеть не мог,
Как чайки взлет или оленя скок.

И все ж подчас волненья душу жгли

Огнем, что ярче радостей и бед,
И вечным был любовью клочок земли,
И каждый лист — бессмертием согрет.

Но ты не вся предстала предо мной,
А, сонмом сил и ликов осень,
Одна и та ж, как солнца луч сквозной,
И разная, как разны смены дня.

Но нагота твоя проникла сквозь
Одежды все, и сердце обожглось.

Снег на восточный этот городок
Со вздохом мягко падал день-деньской,
И опускался неба холодок,
Пока я небо не достал рукой.

Я сделал неба несколько глотков
И шел сквозь свет, сиявший как опал —
Он так сиял в дни юности богов.
Когда же сумрак синей тенью пал,

То посреди мерцаний бледных всех —
Я видел — ты стояла, птица-снег.

Тебя я видел в спертой духоте,
В жаровне улиц городских, с луной,
Пересыхавшей где-то в высоте,
Где воздух вис мертвящей пеленой.

Я видел — ты как фабрика встаешь.
Огни и шум с ума тебя свели.
Стальной титан, — тебя бросает в дрожь
От молота, что бьет в чугуны земли,

Титана мощь, пусть для глупца чужда,
Прекрасна как орудие труда.

Навек я верен ветреному дню
В нагих холмах, где нет уже оград.
Клонились маки в сторону одну,
Подует ветер — все они горят.

Так сохраняет клык морского льва
Моряк, выдавший беды на пути,
К нему он прикасается едва —
И океан лежит в его горсти.

Так, образы сливая по частям,
Свое из мрака солнце я создам.

Пусть этот труд бессмыслицей назвал

Тот, кто в иное верит волшебство:
Он увидел сквозь мудрости кристал,
Что лишь в Искусстве родина его.

Но в час, когда в березовый рожок
Вольет охотник рвение свое,
Лось в чашу леса делает прыжок,
Хоть ждет его за озером ружье.

Искусство пусть границ не признает,
Но смотрит в вечность смертный небосвод.

И плоть моя — не из чужих рассад,
А пенсильванский знак ей придал сил,
И бил ее новоанглийский град,
И дождь калифорнийский оросил,

Чтоб, наконец, создать в стране чужой⁶,
Где лун чужих сменяется черед,
Из позабытой песни боевой⁷
Вновь голубой американский свод,

Звать из земли таящиеся в ней
И призрак-звук, и армии теней.

Есть Длинный Дом⁸ со старым чердаком.
Там прах легенд и ржавых ружей хлам.
Ты вспоминаешь изредка о нем
И равнодушно пыль стираешь там.

Бесстрастно, не жалея, не гордясь,
Касаешься непрошенных даров:
Вот желтый, прошлым пахнувший атлас,
А вот добыча вся морских воров.

Прими легко все, что тебе я дал —
Серебряного воздуха бокал.

Прими мечту, которой грудь тесна,
Прими слова, чья истинная мощь
Подобной буре в скалах быть должна,
Они ж скулят, как попрошайки в дождь.

Мой дерзновенный, неумелый труд
Из лоскутков, чей цвет уже погас,
Прими огонь моих душевных смут
И жажды осушающий экстаз,

Прими их все — но если раз по ним
Скользнешь лучом американским ты, —
Не загрязнить пятном их никаким,
И слабое сверкнет из темноты.

А если нет — то по костям сухим
Пройдут гиганты к целям золотым.

ПРЕЛЮДИЯ — НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

Он осторожно Библию закрыл, и любящей рукою
Положил ее.

Затем он повернулся.

„Господин помощник”.

„Да, сэр”.

Глаза у капитана потемнели.

„Я думаю, — сказал он, помолчав, — пока стоит погода эта,
Лучше их выводить на палубу почаще:

Они так дольше сохраняются. К тому же, — прибавил без улыбки он, —
Уже и судно начало вонять. Вы чувствуете?”

В ответ кивнул помощник, по-мальчишески, немного виновато:

„И всего одна неделя в море, сэр.”

„Да”, — молвил шкипер.

И взор был самоуглубленным. „Что ж, такой товар, — сказал он, —
Да-с, товар — не магазин с духами, чорт возьми.” Он пальцами
забарабанил.

„А вечер тихий выдался как будто,” — пробормотал он наконец.

„О да, довольно тихо, сэр.” Помощник покраснел. „Не то,
Что вы называли б дома тихим — но все же тихо.”

„Гм...” — молвил шкипер. „Как верзила тот?”

„Тарбаррел, сэр? Который говорит, что он король?

Чему-то там молился он, и этим разволновал других,

Но мистер Олсен это прекратил.”

„Мне это не нравится”, —

промолвил шкипер.

„Это был лишь идол, сэр.”

„А...”

„Камень или что-то в этом роде.”

„А...”

„Но он бедовый, сэр, — утрюмый чересчур —

И он — из темноты глядит, как кошка, — и может...”

Помощник молод был. Он вздрогнул. „...Страх нагнать”, —
сказал он.

„У нас такие были.” — молвил шкипер. Рот его был сжат,

Затем обмяк. „Ах чортов плут араб! — сказал он, —

Я говорил, что больше не возьму паршивых их царьков.

По виду стоят много, а когда возьмешь на борт —

Так бесятся, что бить их надо по башке,

Иль изнывают от тоски и мрут через неделю,

Лишь даром место занимая.”

Помощник почти его не слушал, он думал о другом.

„Боюсь, что женщин всех не довезем.” – сказал он.
„Ну, этим грош цена , – промолвил шкипер. – Есть болезни?”
„Обычные лишь, сэр.”

„Но ничего похожего на чуму иль...”

„Нет, сэр.”

„Милостив Господь.” – промолвил шкипер,
И искренним вполне был его голос – старый судовой колокол
На колокольне протестантской церкви,
В котором дух всей Новой Англии и шум прибоя.
„А все же лучше вам еще раз заглянуть, господин помощник.”
Помощник чувствовал, как рот пересыхает. „Есть, сэр.” –
сказал он,

Облизывая губы; и когда переступал порог каюты,
Услышал он, как Библия раскрылась вновь.
Он с фонарем спустился в трюм.
Он каждый раз, сходя туда, пытался
Всей силой воли поры тела сжать,
Закрыть от вони, думая о соли, о цветах,
Но это никогда не помогало.

А он все думал:

Когда вернусь домой, когда приму я ванну и пищи чистой съем,
Когда я заплыву за Мыс
По этой холодной празелени, такой холодной, что должна быть чистой,
Намного чище расплавленной звезды,
Когда надену мой городской костюм и одну из тех сорочек
Из бельевого шкафа, что пропах лавандой,
Неужели и тогда будет пахнуть черным моя кожа, будет пахнуть
черным моя кожа?
Фонарь дрожал в его руке.

Здесь было все черно,

Черно на взгляд, на нюх, на ошупь и на вкус,
Чернь черноты с одною слабой лампой,
Что светит скудно, как светяк в аду.
Поэтому должно было быть тихо.

Но никогда

Там в трюме тихо не бывало.

Там всегда

Был этот звук дыхания, всегда это тяжелое дыхание,
Всегда эти прерывистые вскрики.
Несколько рабов
Чуть-чуть английский знали, лишь слова такие, как „воды”
и „Иисусе”,
„Я умираю.” „Болен.” „Цезарь имя мой.”

Кто знал эти слова,

Тот механически теперь их повторял при виде фонаря,
Как укрощенный зверь в ответ на шелк бича.
Их голоса ударились о свет, как тяжкие ночные бабочки,
Но чаще просто исходил от них расплывчатый или гортанный звук,
Казавшийся бессмыслицей помощнику, но страшно схожий
С вытьем глухонемых или животных, что пробуют
Слова людского горла.

Помощник уже теперь привык

К неразберихе тел и рук и ног. Сначала
Ему мерещился слепой встревоженный клубок из черных змей,
Оттаивающий на скалах под слабым
Весенним солнцем, или Судный день
Тотчас после архангельской трубы,
Когда земля кишит и вся крошится
Огромным, медленным, заплесневелым восстанием из мертвых.
Но эти фантазии прошли.

Он должен рассмотреть
Все, что возможно. Но очень много не рассмотришь тут.
Их слишком плотно сбили – но пока – там нет еще чумы,
И цепи все крепки. Тут он кой-что заметил.
Там женщина спала, но был ребенок мертв у груди.
Он колебался, взять ли труп сейчас.
Нет, это лишь других разбудит. Завтра.
Он с содроганьем отвернулся.

Взгляд его упал
Случайно на мужчину, который говорил, что он король.
Его Тарбаррэл звали, походил он на черный камень
С богами гневными в глазах.

Он повернулся,
И, зыблясь, выгнулись, как кошки, могучие и вкрадчивые мышцы.
Великолепье в нем осталось непринужденным даже и в цепях.
В глазах тлел пламень. Ненависти пламень.
Помощник в них смотреть себя принудил, пока они не опустились.
Затем он, повернув, пошел к проходу.
Лоб был горячий, потный у него. Его обтер он,
И грубая шерстянка рукава запахла черным.

Когда вошел он, капитан захлопнул Библию.
„Ну, господин помощник?”

„Все спокойно, сэр.”

Капитан

Мгновенно оглядел его. „Садитесь”, – буркнул он.
Колени у помощника дрожали, когда он сел. „Там – жарко”, –
Он сказал, немного ослабев. Хотелось снова вытереть лицо,
Но знал он, что тогда он снова ощутит
Тот черный запах.

„Бывает и такое иногда”, –
Промолвил капитан сочувственно. „В двадцатых
Годах, я помню...”

Чем-то обжигающим и крепким
Помощнику все горло опалило, и он закашлялся.

„Ну, –

молвил капитан,
Поставя чашку, – Теперь вам станет лучше.
Нет, мистер, для такого ремесла вы слишком молоды, и это факт.”
Помощник кашлянул, но не ответил, он так был рад
Тому, что капитан вновь стал самим собой,
А не скоплением пара, что вовсе не хотелось говорить.
Но миг спустя он услышал, как шкипер
Как будто сам себе сказал: „Да, это факт.”

Они и песню обо мне сложили — когда-нибудь вы слышали ее?"
Мотнул помощник быстро головою. „Конечно, слышали.
Вы знаете ее." И он откашлялся и прогудел:

„Янки Болл за рабами плавал,
Дуй, дуй, сдуй его прочь!
Он негров сбывал и Господа славил,
Но погоди — его сдуну я прочь!"

Песнь узкую наполнила каюту
Раскатом массачузетского моря,
Волнами Севера, в которых лед расплавлен,
Искристой твердой солью с твердых скал.
И островами каменистыми.

И стихло все опять.

„Что ж, — капитан сказал, — кто так на это смотрит,
Тот говорит со зла, но я совсем не злобен.
Мне сам Господь указывает курс."
Он тронул Библию. „Тут сказано все, мистер,
Тут черным сказано по белому, что Хама
Сыны в оковах рабства и в поте своего лица..." Тут голос
Упал до бормотанья. „Говорю вам, мистер, — сказал он грозно, —
На этом деле можно заработать, но это также и Господне дело.
Мы сеем — да-с — Господни семена."
И сделал он, как сеятель, рукою
Широкий жест. Помощнику казалось,
Что слышит он легчайший звук летящих
На землю плодородную семян. Семян блестящих, черных,
Награбленных в амбарах у черных королей,
Семян, летящих над землей американской
С неумолимым легким частым стуком,
Чтобы упасть, замолкнуть и ожить.

Пока весна

Вся в ливнях не придет, и не родит земля
Стебля как тень, ростка как тень, тень-древо
С листьями черными, чей ствол и корни — тени,
Тень-древо, схожее с ярмом, растущее все выше,
Пока не заслонит всех путеводных звезд.

А кони гнева скачут, кони гнева
Изнанку неба топчут с грозной дробью,
Копыта тяжело бьют, как бьет металл в металл,
Затаптывают все...

Это были они или не они?

Иль это ветер холодный подул по листьям древа теневого
И вызвал эти жалобные звуки?

О Господи Боже,
Приди помоги мне!
Они меня ввергли
В темницу, мой Бог!
Пошли мне пророка

Ну вроде Мойсея,
Чтоб этот пророк
Меня выкупить мог.

Мне, Господи, плохо,
Мне здорово плохо,
Я силы теряю,
Мне скоро конец.
А где же Твой ангел?
Хоть плохенький ангел —
Пусть ризу мне даст он
И даст мне венец!

О Господи Боже,
Как долго идти нам,
Как долго идти нам
До пастбищ Твоих!
Молитвы поем мы,
И ждем мы, и ждем мы,
Но, Боже, как долго
Идти нам до них!

Рыдания сумеречные затихли.

А капитан еще все говорил. „Да, — он сказал, —
А мы еще совсем неплохо с ними обходимся. Никто
От берегов Гвинеи до Салема похвастаться не может,
Что мрет их меньше у него, чем у меня.” Он замолчал.
„Ну, мистер?”

Помощник встал. „Спокойной ночи, сэр...”

„Спокойной ночи.”

На палубу помощник вышел. Свеж был ветер.
И звезды непоколебимы. Он отряхнулся, как собака,
Что вышла из воды, и стал бодрее.
Чрез шесть недель, коль повезет, они прибудут в порт.
Получит деньги он и свидится он с милой.
Ну, а пока что вахта — не его, и может он уснуть.
Все так же Библию внизу читает капитан...
Забыть его — забыть и эти стоны, все долетающие смутно.
Еще придется спать пойти в каюту, вниз,
Но если установится погода такая, как сейчас,
Гамак на палубе прикажет он повесить:
На палубе не так вдыхаешь черный запах,
И он тебе, когда ты спишь, не снится.

КНИГА ПЕРВАЯ

Джек Эллиат бродил весь день один,
Взяв новое ружье с собой и Нэда.
И старый сеттер с осенью в глазах
Так бережно ступал по палым листьям,
Что был их шелест еле-еле слышен.
А Эллиат в них шел, как в хрусте кож,
Что сбрасывают сказочные змеи.
Он думал поохотиться, но праздно
Ружье болталось на плече.

Он рад был
Прохладе, что бывает бабьим летом
И непрестанно веет по щекам.
И он следил, как на закате свет
Процеживает золотую воду.
Стоял октябрь, румяный старый жнец,
Как нищий вождь, завернутый в лохмотья
И перья куропатки, разбросав
Фонарики из выдолбленных тыкв,
И тыквы-луны полевым мышам.
По всей земле своею красной трубкой
Провел он след, деревья тронув алым.
И колдовской и ритуальный дым,
Как воздуха душа — голубоватый,
На Юг, на Север, Запад и Восток
Распространил свой ладан.

Ладан доброй
Натруженной земли, готовой спать
Дурманной, темной спячкой медведя
Всю зиму под замерзшею звездой.
Джек Эллиат сдвиг года ощутил
В своей крови, как сонный лепет скрипок,
И рад был он, что родина его —
Коннектикут, что молод он, и зиму
В Коннектикуте ощущает черным
Прудом, где можно бегать на коньках,
А не ножом, приставленным у горла.
Он юных дум был полон, праздных, гордых.

Отец мне наметил,
Как мудро прожить,
Не помнить про ветер,
Про небо забыть.
Мне мудрым не быть.

Мой дядя карманы
Набил дополна.
Корпит неустанно
Над прорвой без дна.
На что мне мошна!

Богатству — унылость,
Лукавство — уму,
А юность носилась
В небесном дыму.
Зачем? Почему?

Ни мудрость, ни злато
Тебе не вернет
Всю сладость улады
Лететь средь высот.
Бесцельный полет.

Так, прислонясь к стволу, он видел запад
Весь в золотом и чистом оперении,
Пока закат не просочился в сердце
Медлительной медвяною волною,
Журчащей где-то за стеною сна.
Стояла колдовская тишь
И даже сеттер так лежал в ногах,
Что сумерки, казалось, превратили
Две рыжих лапы в рыжих два листа.
На нем и волосок не шевелился,
Как будто пес был весь из рыжих листьев.

Вдруг что-то поднялось.
Сперва, как ветер, как растущий ветер,
А через миг — стремительный порыв,
Который вырос в дальний грозный топот
Коней крылатых за чертою неба,
В свистящую атаку тусклых полчищ,
Как будто кони ангельские мчатся
По звездам вниз.

Но не было там слов
В неумолимом и крылатом громе,
А может, были все-таки слова,
Иль выхватил их Эллиата мозг
Из воздуха, как огненные стрелы.

У берега моря тринадцать сестер
(Поберегись, мой сын!)
Свободным свой дом нарекли, и с тех пор
Заперли дом на крепкий замок,
Чтоб только над вольным он кровлю простер.
(Поберегись, мой сын!)

Там стены плимутского камня прочней,
(Камни крошатся, мой сын!)
И лес Новой Англии в досках дверей,
И янки-петух, что любого смелей,
Краснокафтаных страшит королей
(Бойцы умирают, мой сын!)

Там мудрый сидит, где очаг разожжен,

(Мудрецов уже нет, мой сын!)
Там сердце свое схоронил Вашингтон,
Вверху — из ореховых балок фронтон,
Как Джексона ум, так же крепок и он
(Кости в пыли, мой сын!)

Деревья прекрасны в саду и стройны.
(Валят деревья, мой сын!)
От северных вязов до южной сосны.
Свиной и хлопком амбары полны,
Вином помрачительным бочки хмельны.
(Киснет вино, мой сын!)

Бесстрашно и гордо наш дом укреплен
(Ветер поднялся, мой сын!)
И он простоит до предела времен.
Есть призрак, он ночью глубокой рожден,
Есть призрак, и ходит по холоду он.
(Деревья дрожат, мой сын!)

А сестры прижались к Свободе и спят,
(Гром загремел, мой сын!)
Как будто тринадцать в гнезде лебедят.
Но призрак нагой беспокойством объят,
Покуда Восход не придет на Закат.
(Молнии блеск, мой сын!)

Как тень, что скитается ночь напролет,
(Деревья трещат, мой сын!)
Он призраком черным по дому бредет,
Кровавый с руки его капает пот,
И зло совершилось — он цепи несет.
(Рушится твердь, мой сын!)

Предвестие ударило птицей в сознание и скрылось.
И Эллиат миглом очнулся. Подумал: на юг уходили они.
В смятении взглянул он в пустое, холодное небо.
Но все еще сердце его ощущало удары копыт.
Там дикие кони, которых никто не объездил,
Он слышал — кричали они — как орлы в облаках —
И мчались на юг, чтобы праздное солнце топтать.
И стало темно на душе, точно мрак воцарился.
Не мог разгадать он, что их означает полет.
И мучась, он рад был холодному носу собаки,
Что дружески в руку уткнулся.

Кто выпустил вас?

Кто, кони, вас выгнал на небо железным кнутом?
Слепые и старые громы так сомкнутым строем идут,
И знаменье поднято ввысь на гранитных плечах
Во всю ширину необъятных просторов Союза.
В мире Север и Юг, в мире Запад с Востоком.
В земле неисхоженных прерий зарыт томагавк.
За солнцем Великий рубеж подается на Запад,

И новые штаты толпятся уже у дверей.
Все буйволорогие, оленькожие штаты,
Мустанги, чья шерсть точно золото в слитках блестит.
Их тело нагое с охотничьей схоже луной
И пахнет травой молодой и сладким маисом
И с яростью девственниц сладить с собой не дает,
Как звезды пернатые, что одиноки в ночи.
Закаты и небо свос за собой они тащат,
Как тащат коней, у которых на шее лассо.
Железные ляжки нужны, чтобы их оседлать,
И твердое сердце, которое блещет, как нож.
Но с кладом бесценным в глазах не они ль родились
Между гремучей змеей и раскрашенным камнем?
Разве они не подходят пастушьям богам?
Или тут дел не найдет, куда силы девать,
Весь неумный, разбойничий мир пионеров?
Иль им стоять, точно смиренным коням на дожде,
И ожидать, что Коннектикут и Каролина
Старую тяжбу свою из-за призрака кончат?

Эллиат так рассуждал в молодом возмущеньи
И возвращался домой под октябрьской луной.
Но, размышляя, пытался представить он Юг,
Этот томительный край, где совсем по-библейски
Стон дядей томов разносится из-под кнута,
И ухмыляются топси и корчат гримасы
Из-за кустов.

Черномазыми их называют южане
И отрезают им уши ножом за побег.
Но они нянек любят своих — это правда,
Хоть иногда продают их вниз по реке.
А черномазые, если не воют под плеткой
И не гнусавят псалмы, — забавные песни
Поют о Свани-реке, о плантации старой.

Девушки все там красивы. Мужчины
В блеске ботфорт, то на скачках, то в карточном клубе,
Мятный крющон попивают, пока не приходит
Время стреляться с кузенами или обмазать
Дегтем и вывалять в перьях каких-нибудь чертовых янки.
Юг... раскаленное солнце и жимолость... вкус
Вызревших слив... тростникового сахара вкус...
Приторный запах магнолий, белых, как воск...
Хлопок летает спадающим облаком белым.
Гончие с лаем бегут по виргинским холмам.

А как-то в Бостоне он беглого видел раба...
И вспомнил он негра с глазами замученной клячи.

И свистнул он пса. Что об этом ты думаешь, Нэд?
Мы, правда, за то, чтоб дать волю рабам, и отец
Говорит о Венделе Филиппсе⁹ нам и о Джоне
Брауне¹⁰, но разумеется, это не значит,

Что из-за воли готовы Союз мы расторгнуть,
Да и они не расторгнут его из-за рабства.
Вряд ли до драки дойдет, как ты думаешь, Нэд?
Но Нэд увлеченно обнюхивал заячий след.
Но вот уже город — и дома родного желтеет окно.

В Конкорде в те дни Эмерсон¹¹ и Торо¹² говорят
Об идеальном и чистом таком государстве,
Каких не бывает на свете.

В Бостоне в те дни
Ждут доктор Хоу¹³ и Хиггинсон-пастор¹⁴ вестей
По некоему исключительно важному делу,
Которое связано с пиками и с Харперс-Ферри¹⁵.

А в Джорджии где-то мечтается Клею Вингейту.

Переселились более веку
Вингейты на Сэнтсавирскую реку,
Их род заслужил такой же почет,
Как Толливеров и Юджи род¹⁶,
И ровни им были виргинские Ли
И Кэрролы¹⁷ из мэрилендской земли.
Они Альбемарля¹⁸ посланье хранили,
Дал Карл Второй¹⁹ им земли в избыльки,
И писарь красиво вписал на пергамент:
„Джону Вингейту, любимому нами.”
Но меж завистников сплетня носилась,
Что шуткой была королевская милость,
Что слово „любим” относилось не к Джону,
Скорее к жене его, дивно сложенной;
Их первенец был, к удивленью отца,
С Монмаутом²⁰ сходен чертами лица.
И Джон усомнился — любое ли рвенье
Влечет столь богатое вознагражденье?
Но, так как он знал, что для счастья земного
Хорошее пищеваренье — основа,
А ревность всего ненавистней желудку, —
Он бросил загадки и взялся не в шутку
Пахать свое поле, рождать своих дочек
И вина цедить из различнейших бочек,
И лет девяноста скончался в кровати
К великой печали помещицкой знати.
Но Джон, его сын, был совсем не таков.
Крылат, но с крылами ночных мотыльков.
Умен, неудачлив, с особым изыском,
Игрок, что играет с заведомым риском.
Имел он глаза со стюартовским брызгом²¹,
Умел он и воду пахать, и песок,
Но взяться за нужное дело не мог.
Рапира, что слишком изящна для боя,
Рысак, что стремится в раздолье степное, —

Он все промотать был готов поскорей,
Когда б не жена его Эльспет Макей,
Что доблестью сердца блистала сильнее,
Чем золотом новая блещет гиней,
Чей нрав был изменчивым пледом узорным.
Она была гордой, как вереск нагорный,
И то, что имела — хранила упорно.

И она утвердила в Джорджии тут
Вингейтов честь и Вингейтов труд.
Когда со своими соседями Джон
В военные распри был погружен, —
Был с ним неотступно предательский рок...
И кто только гибели ей не предрек
За то, что за морем искала удачи
В стране, где лишь лани да кролики скачут,
А вслед им — индейской стрелы острие...
Но все ж она слово сдержала свое.
Рубила стволы, приручала зверей,
Кормила младенца грудью своей
Под дикие вопли раскрашенных бестий,
И так умерла, как хотела, в поместье
Вложив свою кровь, свой хребет волевой
И сердце, как камень кладут угловой.

И в жилы Вингейтов, своих сыновей,
Вложила частицу отваги своей.
Чти старшего в доме, люби свой очаг,
Да будет тобою накормлен бедняк,
Но нож под ребро тебе, вкрадчивый враг!
И после того, как покинула свет,
Проник в сыновей ее дух и завет.
Как слышен из раковин голос морей,
Шел голос ее к сыновьям сыновей,
И роду Вингейтов пошла она впрок —
Та твердость, что в каждый вошла позвонок, —
А то ведь подчас у Вингейтов найдешь
Ребенка, который лицом смуглокож,
С печальным и радостным Карловым ртом —
Монмаута прелесть порочная в том.
Но, к счастью, то редко был старший в роду,
Чтоб в семья Вингейтов вмешать лебеду
И хлопок оставить сгнивать на корню,
Покамест он праздно ведет болтовню,
Иль занят любовью не в брачной постели,
Иль кормит орехами с брэнди спанъеля,
Иль томною гордостью он упоен,
Что век не ходил в победителях он.

Был Клей из Вингейтов последним, который
Болезненно чувствовал сталь этой шпоры,
Блистающей рядом с чертой на гербе,
Что носит внебрачья печать на себе.

И Клей временами был весь погружен
В виденья и думы, где лишним был он,
В надменную скорбь иль в веселость печали,
И молотом призрачным в сердце стучали
И гордость, и жалость о мире другом,
Чем тот, что пред ним расстился кругом.
Он юн был и счастлив, и смел, и силен,
И накрепко телом он был закален,
Жизнь сравнивал с радостным возгласом он.
Но темные ножны висели с клинком,
И траурным призраком венчался венком,
И где-то в мозгу его, как на арене,
Изгнанник-король воевал против тени,
И тень была точно такою, как он,
И рано иль поздно терял он свой трон.

Несчастье приносят такие мечты,
Мечтателей всюду преследует рок,
Хоть Клея удачливы были черты
Для тех, кто увидеть тогда его мог,
Как ехал джорджийскою осенью он
У холла Вингейтов, у белых колонн.

Тут осень енота да крысы лесной,
Скулеж вислоухого пса под луной.
Тут осень без горечи и без натуги,
Как томный подарок от смуглой подруги,
Как смуглый, от спелости треснувший плод,
А в сердце его еще лето живет,
И в воздухе смутный теряется дым,
Он даже невидим, но он ощутим;
И след там на глине белеет тележный,
И мулы поклажу волочат прилежно
По акрам полудня в бескрайний простор,
Доносится банджо, пылает костер,
Серебряный пестик и мятный ликер.

Твой день еще жарок, ночь звездна твоя,
Цветет еще жимолость возле жилья.
Пора перепелки, пора светлячков,
И осыпь из роз, из ползучих дичков.
Добрый октябрь без угрозы снегов.

Вингейт придержал за поводья коня,
Их тронув порхающей легкой рукой,
И душу наполня всей свежестью дня,
На миг загляделся в небесный покой.
Так вот его Джорджия! Эти раздолья
И то, что досталось Вингейту на долю
Из сонного воздуха, хвойных ветвей,
И летнего грома, и зимних дождей,
Дождей, что как слезы по раме оконной
Расплесканы гневно и просветленно,

Как юноши горе, со страстью лились.
Его пересмешник и тutowый лист.
Тут даже и ветра джорджийского взмах,
Как зрелые персики, солнцем пропах.
Зима пусть голодной волчицей бредет
На севере возле замерзших ворот, —
А мы здесь свиным ее выкормим салом,
Чтоб кошкой ленивой у печки дремала.
И Святки кладут здесь на каждый порог
Жбан патоки, веток зеленых пучок,
И год новорожденный, чтоб не зачах,
В полуденных может согреться лучах,
Сдувая на небо индошечий пух,
А в небе весны уже чудится дух.
О Джорджия, Джорджия... мощь урожая,
Арбузы созрели, поля запружая,
Туман отдает лихорадкой слегка,
И желтая катится вечно река!...

Все это видением в Клея вошло
Сквозь юности ясной цветное стекло,
Тот образ создав, за который он мог
Погибнуть иль жить, как велит ему рок.

Он всласть надышался, и думал опять
К дому верхом свой путь продолжать,
Как вдруг — что за шум за небесным шатром,
Как будто невидимой конницы гром,
Подхваченной ветром?

И конь его вдруг
Заржал. Он услышал. То слова был звук.
Неясный — и все же звучал он вокруг,
Как будто стрелой из засады взлетал...
То колокол был, чей тяжелый металл
Часы отбивал.

Вингейт возмужал.
Состарился сам он, и стар его конь.
Их давит железного обруча гнет.
Он сходит с седла, он на землю встает,
И он ударяет ладонь об ладонь,
Но обе, как лед.

С горящими кони копытами к морю вперед унеслись.
Но воздух, где мчались они, еще поражен и взволнован,
Подобно земле, что ушиблена землетрясеньем,
И целую ночь проносился по воздуху шепот,
Тот шепот, что плакал и всхлипывал около дома,
Где Бога молил своего перед узкой постелью Джон Браун.

МОЛИТВА ДЖОНА БРАУНА

О Всемогущий Боже Сил,
Не Ты ль, меня узрев,
Как милость, сам провозгласил,
Что я — Господень гнев?

Ты полстолетья благодать
Мне беспощадно нес,
Чтоб вместо сердца пулю дать,
Железо вместо слез.

Но так как может эта плоть
Вся изнемочь в борьбе,
Пред тем как грянет гром, Господь,
Внемли моей мольбе.

Не Ты ль рабов мне показал
И властелинов их,
Чтоб я одних освобождал
И убивал других?

Я слышал, как велел Ты мне,
Чтоб сеял гибель я.
Пусть весь Канзас в крови, в огне,
Но воля в том Твоя.

Я слышу боевую рать
И грохот колесниц,
Как будто сломлена печать
И двери пали ниц,

И звери с тысячами крыл
И глаз к Тебе пришли,
Встают святые из могил,
Как ладан из земли.

На мучениках-королях
Багрец зари надет.
КРОВЬ НА ТВОИХ ПОЛЯХ, КАНЗАС,
И МНЕ ПОКОЯ НЕТ.

ВЗДЫХАЕТ ТВОЙ МАИС ОПЯТЬ,
ТВОЙ НЕБОСВОД ТОМИТ,
И ПОМНЮ Я УБИТЫХ ПЯТЬ
У ПОТТАВАТТОМИ²².

То жатва, Господи, Твоя —
Так мог ли я уйти?
КАНЗАС, ТЫ ВЕСЬ В КРОВИ, КАНЗАС,
ТВОЙ СТОН В МОЕЙ ГРУДИ.

И ТВОЕГО МАИСА ШУМ
СТРЕЛОЙ ВО МНЕ ТОРЧИТ,
И РАНА, ЧТО В СЕБЕ НОШУ,
ВСЮ НОЧЬ КРОВОТОЧИТ.

Вперед, сыны мои, идем,
Господь ведет нас в бой,
Туда, где пикой и ружьем
Становится любовью.

Мы всех рабов освободим,
А если ждет нас смерть —
Могилу роет Бог святым
Там, где в закате твердь.

Прекраснее, чем рога речь,
Свод яшмовых могил,
Чтоб там, где лег Навинов меч,
Свой меч я положил.

Но если против наших сил
Встал филистимлян щит —
Бог, что друзей не пощадил,
Врагов не пощадит.

До Мэрилендского моста у Харперс-Ферри
Они добрались поздно в воскресенье.
Всего их было двадцать два в отряде.
Троим еще двадцать один не минул,
А остальные младше тридцати.
Каги — спокойный и невозмутимый
Философ доморощенный, и Стивенс —
Поющий великан, солдат в отставке.
И вспыльчивый потомок пуритан,
И Дофин Томпсон, краснощекий парень,
По виду больше девочка, чем воин.
Оливер Браун — год, как он женился —
Ему едва минуло девятнадцать.
Дейнджерфилд Ньюби, негр, рожденный в рабстве,
Свободный сам, но на рабе женатый,
Что ждет его с семьей детьми на Юге.
Их младший крошка начинает ползать.
Да Ватсон Браун — brave лейтенант,
Который написал жене:

„О, Бэл,

Я так хочу тебя с мальчонкой видеть,
Но надо ждать. Тут был один невольник;
Женат он был, и продали на Юг
Жену, а он на следующий день
Повесился у Кеннеди в саду.
Нет, не могу вернуться я домой,

Пока тут продолжается такое.
Но иногда мне кажется, что больше
Уже мы не увидимся с тобой.”

Вот кое-кто из них. К добру иль худу,
То были люди сильные.

Как странны
Их лица бородатые на старых
Дагерротипах. То должны быть лица
Преуспевавших граждан и хороших
Отцов и сыновей. Провинциалов,
Умеющих толково и на славу
Метать подковы, вспахивать участок,
Истории рассказывать, молиться...
Американская пшеница с корнем
Крепчайшим, с колосом здоровым. Только
Один был с виду вовсе необычен –
Оливер Браун. Мужественным ликом
И красотой напоминавший Китса.
Они все были сильными людьми.

Они связали стражников, и ружья
У них забрали. И тогда Джон Браун
Послал отряд в помещичью усадьбу,
В которой жил полковник Вашингтон,
И приказал схватить его. Полковник –
Двоюродный праправнук президента,
Рабовладелец, джентельмен-помещик,
Но что всего важнее – обладатель
Почти что легендарного меча,
Еще когда-то Фридрихом Великим
Подаренного Джорджу Вашингтону.
Полковника с мечом его схватили
И привели торжественно. Отчасти
То был эффект ходульной мелодрамы,
Отчасти недостойный фарс. Дорогой
Они рабам сказали Вашингтона,
Что те свободны, или же вольны
Бороться за свободу.

Эту новость
Рабы со страхом слушали, глазами
Врашая, точно скот перед грозой.
Но кое-кто из них пошел в отряд,
Где выдали им пики, и рабы,
Пока Джон Браун наблюдал за ними,
Вид делали, что пленных стерегут.
Когда ж он отошел, они сложили
На землю пики, сбились в кучу все
И голосами скорбными шептались.
Казалась нехорошей им затея
Стеречь полковника, но в то же время
Страшил их бородатый патриарх
С библейскими глазами.

Чуть поздней
Явился Патрик Хиггинс. По ночам
Он караулил Мэрилендский мост.
Веселый, крепкий маленький ирландец
С хитринкою и говором смешным.
Насвистывая, шел он на работу.
„Внемли и стой!“ — слышался приказ.
На миг он в замешательстве застыл.
Позднее он рассказывал: „По правде,
Что значит это самое „внемли“ —
Я так же понимаю, как свинья,
К примеру, понимает в апельсинах.“
В короткой стычке пулею ему
Затылок оцарапало, но он
Предупредил идущий поезд. Пол —
Второго было. И через минуту
Заведующий камерой багажной
На небольшом вокзале, Шепард Хэйворд,
Свободный негр, которого все знали,
Трудолюбивый, честный, обреченный,
Шел Хиггинса разыскивать.

И вновь
Раздался окрик — „Стой!“, но шел он дальше,
Не разобравши или не расслышав, —
Откуда знать?

Раздался треск ружья.
Он обхватил живот и на платформу
Упал, и пролежал часов двенадцать,
Прося воды и мучась до тех пор,
Пока не умер.

Даже камня нет,
Нет памятника — мрамора или бронзы —
Который зеленел бы от дождей
Там, где зарыт в могилу Шепард Хейворд,
Свободный негр из Харперс-Ферри. Даже
В дотошных исторических трудах,
Где человек живой изображен
Какой-то куклой с восковой улыбкой,
И кукла та на живописном фоне
Подписывает мирный договор
Иль обнажает шпагу — даже там
О нем не много сказано.

И все же
Его лицо, от боли посерев,
В недоумении нежданной смерти
Глядит на нас из книжной пыли лет
С непониманием и удивленьем.
И говорит оно нам: „У меня
Шли хорошо дела. Я жил отлично.
Шесть тысяч у меня лежало в банке,
И городок мне нравился, и люди,
И нравился я людям. И была
Хорошая работа у меня.“

По воскресеньям я принаряжался
И обходил с тарелкой прихожан.
Но даже, если захудалый негр
Меня звал „мистер“, я не задавался,
Хотя я слышал, как нюхнув понюшку,
Болтали бабки: „Детка, посмотри,
Какой идет нарядный Шепард Хейворд,
На нем костюм воскресный так красив,
Вот если станешь паинькою ты
И в мяч играть на улице не будешь,
То, может быть, и ты таким же станешь —
С часами золотыми и цепочкой.”
И что же вдруг случилось — и зачем
Кому-либо на свете было нужно
Меня убить? За что меня убили?”
Так шепчут губы серые. Так с болью
Глядят глаза. Вот так глядит ребенок,
Наказанный, не зная сам, за что,
И рушится весь детский мир его.
В минуту смерти люди ближе к детству.

Сначала Браун даже и не знал,
Что первый человек, кого сразил
Тот меч, который называл он в мыслях
Так часто Гедеоновым мечом,
Был человек той расы, за свободу
Которой обнажил он этот меч.
Был мост во тьме, и человек прошел
И не остановился по приказу.
Ударил выстрел. Слышно было только,
Как раненый отполз. И это все.
Что ж, следующий выполнит приказ.
Мозг Брауна был слишком одержим
Видениями Божьего суда,
Чтобы гадать, кто это мог там быть,
И, умиротворенный, грезил он
Об агнице у бегущего ручья.

Так странно, ничего не разрешив,
Минула ночь. Отряд у арсенала
По-прежнему остался, ожидая,
Быть может, что, ликуя, грянет с неба
Величественный звон колоколов,
И с пиками с холмов сбегут рабы,
Как черный Божий легион свободы!
Но так не вышло.

Слышалась стрельба,
И горожанин Берли был убит.
А также по мосту проехал поезд,
И дикая распространилась весть
О дьяволах-аболиционистах,
Явившихся из-под земли. Их было
Сто пятьдесят, а может быть, и триста,

И тысяча, быть может. Харперс-Ферри
Они огню предали и мечу.
И все в округе брались за оружие,
И возвестил в Чарльзтауне набат:
„Нат Тернер²³ возвратился! Он опять
Явился в адском пламени и дыме,
Чтоб звать рабов к убийству и резне!”
Созвали Джефферсоновских стрелков.
Там были и мужчины, и подростки;
Без всяких форм, но вооружены.
Кто старое снял со стены ружье,
Пригодное, чтобы стрелять по белкам,
Кто — дробовик, заряженный куском
Железа. Мальчик волочил мушкет,
Чуть ли не больше самого себя.
Все двинулись на Ферри.

И в десятке
Других соседних сонных городков
Звонил набат, сзывая к ополчению.
С рассветом в Ферри вновь закопошились.
Раздались залпы. Странный резкий звук
На улицах, таких обыкновенных,
Опрятного такого городка.
Бессмысленный, бессвязный, пресный звук.
Бог знает, почему Джон Браун мешкал.
Каги-философ и те двое с ним,
Что защищали арсенал, все утро
Писали донесения ему,
Упорствуя на том, чтоб отступить,
И здравый смысл на их был стороне.
Но им Джон Браун даже не ответил.
В своей задумчивости патриаршей
Не слушал их. Так тощая сосна,
Повиснув одиноко над обрывом,
Взирает вниз на мелкие узоры
Игрушечных деревьев и полей,
Лишь чувствуя, как корни за скалу
Цепляются, как всемогущий ветер
Трясет ветвями, дуя с поднебесий
Орлиных до орлиных поднебесий.

Конечно, их отрезали.

Конечно,
Вся их попытка с самого начала
Была обречена. Стрелки к полудню
Занять успели мост через Потомак,
Оттуда выбив Брауна людей.
Три двери, три возможности спасенья
Открыты были Брауну. И вот
Захлопнулась одна из них. Затем
Захлопнулась за нею и вторая,
Когда стрелками взят был мост другой,
И Брауна отрезали от Каги,

И большинство участников набега
Загнали в арсенал.

Опять пошла стрельба.
Вот первый среди них уже убит —
Дэйнджерфилд Ньюби, волю получивший
Мулат с шотландской кровью, чья жена
И семеро детей рабами были
В Виргинии и ждали, что он им
Неслыханную принесет свободу.
Вместо того их продали на Юг
После набега. Труп его лежал,
Куда могли добраться горожане,
И кто-то уши в качестве трофеев
Ему отрезал.

Если души есть —
А многие так думают, и многим
Хотелось, чтобы это было так—
Хрустальные, ликующие души,
Которые летят на легких крыльях
Из кокона поверженного тела, —
Не боль, не скорбь, а только избавленье
Им ведомо, и в то же время, если
Они владеют пламенной речью
И памятью отчетливой владеют,
То стоит призадуматься о том,
Что и какими именно словами
Душа сказала Дэйнджерфилда Ньюби
Душе того, кто звался Шепард Хэйворд.
И тот и этот родились рабами,
И оба стали вольными людьми.
Убиты были оба в тот же день.
Что говорят растерзанному праху
Из тела с кровью вырванные души?
Быть может, лучше, что не в нашей власти
Представить, что сказать они могли б,

Теперь уже стреляли беспрерывно,
Как будто бы тяжелый летний ливень
Забарабанил. Дважды посылал
Парламентеров Браун. И вторично
Просить о мире вышли Ватсон Браун
И Стивенс, поднимая белый флаг.
Но с флагами никто уж не считался.
По Стивенсу стреляли из окна.
Со страшной раной он упал в канаву.
А Ватсон Браун, весь изрешеченный
Осколками от самодельных пуль,
Обратно кое-как приполз в депо,
Где Брауна последний был оплот.
Один из тех, кого взял Браун в плен,
Какой-то безызвестный мистер Бруа,
Ушел из помещения для пленных,
Которое никем не охранялось,

И Стивенса он поднял в свисте пуль
И в старый перенес его отель,
Который назывался „Домом ставок”,
И, раненому раздобыв врача,
Вернулся снова в помещение пленных,
Туда, где был полковник Вашингтон
И перепуганные остальные.
Вот все, что знаю я об этом Бруа.
Но кажется он мне необычайно
По сущности своей американцем.
Его воображаю я высоким,
Слегка сутулым, с желтоватой кожей,
Сожженной южным солнцем... Со спокойной
Медлительною речью, со спокойным
И карим взглядом. Сдвинув машинально
Табак во рту, с земли он подымает
Кровавое запачканное тело
Того, кто беззаветно утверждал
Все то, что мистер Бруа ненавидел,
И медленно несет его. Над ними
Жужжит своими оводами смерть.
И в старую гостиницу приносит,
В засиженную мухами каморку,
Но залитую солнцем, машинально
Стирая кровь и грязь со своего
Воскресного костюма, осторожно
Поправив черный галстук из шнура
Большими загорелыми руками,
И – неправдоподобно – после сам
Назад идет в тюрьму. Но он об этом
Не очень-то раздумывал. Он с толком
Устроился как можно поудобней
На кирпичях холодных караулки
И начал резать медленно табак
Коричневым притупленным ножом.

Он пережил войну, и многим позже
Скончался этот самый мистер Бруа,
Которого так ясно представляю,
Племянникам бесчисленным своим
Он напоследок дал такой совет:
„Не суйтесь в неприятности, но если
Уже вы попадете в них, то лучше
Жевать табак и безо всякой спешки
То делать, что под руку подвернется.”

Мне ваша речь по вкусу, мистер Бруа,
А те, кого интересует кройка
Литературных платьев для героев,
Тем не советую пренебрегать
Я вашим галстуком, плетеным из шнура.

В тот день еще убиты были люди.

В отряде — Лимэн, что был самым младшим:
Ему минуло восемнадцать лет,
Он убежать пытался из депо,
Что сделалось смертельной западнею,
Был пойман и убит на островке
Потомака. И труп его лежал
На камне, выступавшем из воды,
Часами, точно с тряпками мешок,
В который все еще впились пули.

На стороне противной — Фонтейн Бекхэм,
Мэр городка. Он с Хиггинсом пошел
Взглянуть на тело Хэйворда, и слезы
У мэра навернулись на глаза.
Он начинал стареть. Он расположен
Был к Хэйворду. Он был без пистолета,
Хоть мэром был уже двенадцать лет
В опрятном, мирном городке, где жили
Порядочные люди, а теперь
Тут убивают у него людей.
Он должен это был остановить,
Но как — не знал. И он в недоумении
Шагнул на железнодорожный путь
И выглянул из-за котла с водою
На нападавших. „Барин, тут опасно, —
Промолвил Хиггинс, — не ходите дальше.”
Мэр не расслышал, и ему хотелось
Взглянуть еще раз — кто ж они такие,
Те дьяволы со страшными рогами,
Что убивать пришли его людей.
На дьяволов они не походили.
Один совсем был мальчик безбородый
С мечтательным лицом, немного схожий
Со старшим сыном Салли.

Воздух вдруг
Ему нанес удар жестокий, сильный.
„Ох”, — изумленно он сказал, и только
Шагнул вперед — и сразу вниз лицом
На землю повалился с пулей в сердце.
Глядел минут, примерно, двадцать Хиггинс
На мэра — все хотел его поднять,
Но не решался, и поворотил
Обратно в город.

Бары целый день
Открыты были и полны людьми.
От бара к бару разносилась весть
О Бекхэме, как будто кто-то спичку
Зажег и к бочке с порохом поднес.
И тут же сразу наводнились чернью
Все улочки — американской чернью.
Им с Брауна последним укреплением,
Быть может, и не совладать, но есть
Два пленника под стражей в „Доме ставок”.

Один был Стивенс, но уже он ранен,
Его неинтересно убивать.
Но Вильям Томпсон цел и невредим,
Они его забрали в плен, когда
Послал парламентариев первых Браун.

Они вломились силою в отель
И выволокли Томпсона оттуда
На мост, и безоружного в упор
Немедля, тут же двое застрелили
И бросили через перила труп.
Он плюхнулся туда, где было мелко.
И вновь, и вновь убившие стреляли
По мертвому лицу. И там внизу,
Насквозь изрешеченный, как мишень,
Труп, оскверненный варварски, лежал
Немало дней.

В то время арсенальный
Двор был захвачен новою ватагой,
Пришедшей мстить за Бекхэма. Почти что
Всех, кто в плену у Брауна сидел,
Они освободили, путь последний
Для отступленья Брауну отрезав.
Рассказывать к чему, как был убит
Каги-философ, как Оливер Браун
Был ранен, как других поубивали?
Вот что осталось только рассказать:
Когда от крови опьяневший день
До ночи докатил, в депо осталось
Живыми и неранеными только
Пять человек — участников набега.
Оливер Браун, рядом Ватсон Браун —
Лежали оба, ранены смертельно,
Вплотную к трупу Тэйлора, канадца.
Тут темнота была и мучил холод.
Цепь беспросветных ледяных часов,
Которые так медленно спадали,
Как будто звенья четок из свинца
Перебирали каменные пальцы.
Снаружи забулдыги и глупцы
На улицах орали, и порою
Гремели залпы. А в осаде люди
То говорили, то уснуть пытались.

Джон Браун — тот не пробовал уснуть.
Он темноту сверлил углями глаз.
От времени до времени он слышал,
Как сын его, молоденький Оливер,
От ран, от жажды мучась, умолял:
„Убей меня, убей и прекрати
Мои мученья!“ Браун зубы сжал:
„Уж ежели ты должен умереть,
То как мужчина умирай“, — сказал он.

К рассвету смолкли жалобы. Джон Браун
Позвал его, но мальчик не ответил.
„Должно быть, умер он,“ – сказал Джон Браун.
И если Джона Брауна душа
Заплакала, то это были слезы
Немыслимые, выжатые камнем.
Два дня не спал он и не думал спать.
Ночь – черную пантеру на цепи –
Он, стоя, взглядом укрощал. Как знать,
Что в зеркале туманном он увидел
Туманнейшего сердца своего?
Быть может, облеченного во славу
Он Бога видел; может быть, себя
Мальчишкой он видел, что украл
Три медные булавки и за это
Был хорошенько высечен. Когда
Он шестилетним был, индеец-мальчик
Такой чудесный дал ему подарок –
Невиданный доселе желтый шарик
Фарфоровый, который месяцами
Хранил он как сокровище, и вдруг,
Он потерял свой шарик, как теряют
Их мальчишки. И много лет спустя
Он боль потери чувствовал еще
И никогда вполне забыть не мог.

Вот и сейчас его он ясно видит:
Прекрасный гладкий твердый желтый шарик,
Поблескивая, катится все дальше,
Проваливаясь в щели темноты,
Как ни пытался ухватить он шарик
И удержать; о если б только мог
К нему он прикоснуться, он бы спасся.
Но шарик все уходит и уходит,
Все ускользает где-то возле стен.

Снаружи на востоке через тьму
Чуть проступило серое пятно
И сразу отразилось на штыке
Привинченном морского пехотинца.
Виргинский Ли, сын командира Харри,
Что во главе был конницы в то время,
Смотрел, как это ширится пятно,
И обо многом думал, но сильнее
Всего хотел он кончить с этим делом,
Со странным, необычным и противным
Заданием для регулярных войск.
Поэтому необходимо быстро
И полностью все это завершить,
Покуда может он еще сдержать
Орущую толпу всех этих пьяниц
И ополченцев, вовсе не бывавших
Еще в боях. Он сжал сурово рот.

Он ополченцам предлагал уже
Атаки честь. Какая ни какая,
А все же честь.

В ответ полковник их
С поспешностью и вежливой, и нервной
Честь эту отклонил. „За труд подобный
Солдаты ваши получают деньги,
А у моих и жены есть, и дети.”
Ли сухо усмехнулся, вспомнив это.
Ну что ж, пора.

Толпа орущих стихла
И разбежалась, и парламентар
Направился в депо с письмом в руках.
Ли наблюдал задумчиво за ним.
Нет слов, хороший человек Стюарт.
Уже он кличет у дверей депо.
Дверь дрогнула, образовалась щель,
В которой были Брауна глаза
Над дулом карабина наготове.
Переговоры начались и шли
Замедленно, а по толпе шла рябь,
А Ли картину эту наблюдал
В согласии со строгим здравым смыслом,
Что воплощен был в греческом мече,
И с той же, этому мечу присущей,
Решительной готовностью.

Рассвет,
Почти что не замеченный никем,
Уже спустился по долинам ветра –
С коралловыми лапками голубка,
Что в небе оставляет след коралла.
И сразу, вдруг, как будто вспыхнул порох,
Переговоры кончились.

И с треском
Закрылась дверь. Фигурка небольшая
Стюарта отскочить успела вбок,
Махнув фуражкой.

И тогда на приступ
Пошли морские пехотинцы. Браун
Смотрел, как приближаются они.
Одной рукой держал он карабин,
Другой рукой он щупал пульс у сына,
Что был смертельно ранен. „Подороже
Продайте ваши жизни”, – он сказал.
В депо кирпичном загремели залпы
Ружейные, подобные шутихам,
Что разорвались в каменном кувшине.
Запахло резко порохом и потом.
Был миг, когда держались крепко двери.
Потом те двери расщепило солнце.

Тут выстрелил и промахнулся Браун,
И тень со шпагой прыгнула сквозь солнце.

— Смотрите, это Оссаватоми²⁴, —
Совсем усталым голосом сказал
Полковник Вашингтон.

И резкий выпад
Тень сделала. Пал Браун на колени.
И легкая согнулась вдвое шпага —
С ней на параде быть, а не в бою,
И тень должна была ее схватить
Обеими руками, и обрушить
На Брауна свирепый дождь ударов,
Пока он не упал.

Два пехотинца
У входа пали, и по их телам
Ворвались их товарищи в депо,
И сразу же повстанца одного
Они к стене штыками пригвоздили,
Другого к полу пригвоздив штыками.

Ли, стоя на холме, захлопнул крышку
Часов. Прошло всего минут пятнадцать
С тех пор, как дал Стюарт сигнал к атаке,
И вот уже все было позади —
Все, кроме длительного умиранья.

Негр Куджо смотрел через двери буфетной,
Как пары по глади скользили паркетной,
И такт отбивал он широкой ступней,
Сияя лицом, точно пьяной луной,
На капанье свеч по хрустальным подвескам,
На пол, отливающий бронзовым блеском,
На Вустерский, на искрометный фарфор,
Движенье и свет и живой разговор.
Там гордые сестры — Луиза с Амандой —
Как куклы из фольги, блистали сейчас
В своих кринолинах, что шире веранды,
С цыганским прищуром, со сдержанным жаром
Пускались в атласных туфельках в пляс
С изяществом, свойственным истинным барам.
Толпились кругом джентельмены и леди —
Вингейтов друзья и Вингейтов соседи.
Брук, старый судья, говоривший гортанно,
Как будто курок он заржавленный взвел,
Державший манерно себя и жеманно.
Тут с Юджи Шепли был Вейнскот Бристол —
Задиристы, как петухи, ястребино
Надменны, а в седлах — не хуже чертей,
И томно взирают, как юность картинно
Летит в позолоту игральных костей.
Тут Казенов братья и Коттер братья,
Попперелы, Кумингсы, Кроулы здесь,
Тут много другой представительной знати,

У каждого имя, у каждого спесь!
И бледные юные щеголи в рюшах,
Что в танцах, как перышки мчатся в полет,
С тем говором южным, что Джорджия глушит
В ленивом меду своих майских погод.

А Куджо их взвешивал и наблюдал их,
Насквозь он их видел, до косточек знал их,
С бесстрастным лукавством поглядывал он,
Как старый слуга миновавших времен,
И хоть ни писать, ни читать не умел он, —
Он чтит благородство и в черном, и в белом,
И даже хозяин его не проник
В души его самый укромный тайник,
Где знахаря кость говорит с лоскутком
И голос ребенка в мешке колдовском.
Совсем неспроста состоял он в огромном
Сообществе скрытом, сообществе темном
Засеянных пашен и грузов носимых,
Оседланных кляч, кукурузой кормимых,
Где ветер шлет вести, скользя по кустам,
А белый прочесть не умеет их там.
Неслись в винограднике вести поспешней,
Чем лошади, мчащей по кладбищу, храп,
И прежде, чем барин прочтет из депеши,
Гадая, о новости знал уже раб.
Как хлеб и как соль, он был преданным рьяно,
Слуга без упрека, слуга без изъяна,
Он горд был за белых господ и за дом —
Вингейтской усадьбы он был мажордом.
И даже ворчать на хозяев он мог,
Он знал обо многом, что им невдомек,
Он связан был с ними, и крепкая связь
До смерти с обеих сторон не рвалась.

И знал хорошо он, откуда все эти
По берегу Слю желтоватые дети,
Он знал, что у них четвертушка в крови —
Наследство от старого Брука-судьи.
И знал он, откуда у Кроул Сюзанны
С Вингейтами сходство, и знал он о странной
Истории с Шепли по поводу спора,
А также причину он знал, по которой
Мисс Харриэт замуж пошла за майора...
Совсем безошибочно и безусловно
Он сотни умел проследить родословных —
Людской ли то род, или род лошадиный,
От Рэпскаллиона — коня господина —
И вплоть до его аравийского предка.
И знал он Бристолов всю сложную ветку,
Их всех многожурдных дальних кузенов.
Он веру бы мог основать несомненно,
И взял бы в основу ее построенья

Случайность людского происхождения.
Он видел, как Клей по паркету пронесся,
Он весело с Салли Дюпре танцевал, —
Со стройною девушкой черноволосой,
Чье платье блестело, как винный бокал.
Она из усадьбы была Эппельтона,
Где дамы в качалках на солнышке тонно
Сидят, и их длинные шали темны,
Где юность томится, где власть старины,
И гордая девушка где поневоле
Должна заучить в унизительной школе,
Что следует сердцем почаше смиряться
Единственной дочери от мезальянса,
И все наставленья выслушивать кротко,
Что делает дядюшка ей или тетка.
Они очищают ее безусловно
От скверны, что брак оставляет греховный,
Благие свои прилагая старанья
С усердием полнейшего непониманья.

Казалось, у ней эппелтоновский рот,
Садится в седло она, как Эппелтоны,
Но если мечтает она иль взгрустнет, —
Проступит сокрытое в ней затаенно.
На сутки могла она сесть за шитье
И выглядеть так, как из гипса святая,
Но только лишь скрипки послышится звук —
Взыграет и сердце у ней и каблук,
И грация в ней просыпалась иная,
И делала сразу же схожей ее
С французом-отцом, шалопаем и хватом —
С учителем танцев Дюпре, что когда-то
Не в добрый свой час появился на Юг
В ботинках с блестящею пряжкой резной,
С привычкой придерживать туз козырной
И руки у дам целовать с упоеньем,
Что было здесь встречено с неодобреньем.
И Сю Эппелтон восхитилась без меры
Глазами, что были ни темны, ни серы,
И Брука кобылу загнали они,
Когда удирали от гневной родни.
Но все же успел повенчаться он с ней,
Хоть дядюшки вслед им хлестали коней.
Что нужно ему — понимал он сполна,
Чего захотелось ей — знала она.
Любовь их была коротка и лучиста,
Как пляска кленовых листьев золотистых.
Она умерла на родильной кровати,
Еще ни красы, ни его не утратя.
Тут он потерял даже к выпивке вкус,
И дум невеселых давил его груз.
В покойницы шаль он закутал ребенка
И вежливо к дядюшке сплавил сторонкой

С припиской, обведенной черным вокруг,
Исполненной слез, угрызений и мук,
И деньги, что занял, отправил вдогонку.
Он в лучшем ее схоронил катафалке –
Насколько в кредит он бывает казист –
И начал в стихах воспевать ее жалких,
Роняя слезу на одолженный лист.

Еще в нем известная светскость была,
Еще он пытался поправить дела
И на ноги стать, но кончина любимой
Удар нанесла ему неизгладимый.
Хоть женщинам нравиться он продолжал,
Но он попадал из скандала в скандал,
И только плечами пожав удивленно,
Катится Дюпре продолжал по наклонной.
Жизнь фарсом мелькнула, и близок финал,
Но смерть не пугала – он слишком устал.
Когда его час наступил – он умолк.
Как жил, точно так же и умер он – в долг,
На ричмондской вилле, в батисте хозяйском,
Беседуя с тенью и нежась токайским.
А Салли тогда была лет четырех.
Прошел по родне облегчения вздох.
Родня, проявляя ретивую прыть,
Пыталась о нем даже память зарыть,
Стараясь из облика дочери выскресть
С отцом ее сходства малейшие искры.
Попытка имела успех только внешний –
Такие попытки всегда безуспешны,
И в мыслях у дочки француз поневоле
Как мученик в некоем предстал ореоле.

Грешно клеветать, и безнравственна сплетня,
Но память в поместьях была долголетней.
Да, клан Эппелтонов бесспорно хорош,
Но мы не забыли танцмейстера все ж,
Да, девушка очень мила и умна,
Глаза от отца получила она,
Пусть с нашими будет играть дочерьми,
Знакомится пусть с молодыми людьми,
Мы сделаем все, чтобы честь Эппелтонов
Блюсти нерушимо, ничем не затронув,
И Кроулы, Шепли, Бристолы, Вингейты
Ей зла не желают, – и думать не смей ты!
Но все же – однако – и все-таки, право,
Нельзя не сознаться – подумайте здраво –
Но надо признаться – и кто может знать –
Так было и есть, и так будет опять
Под солнцем и ветром и бурей – там,
Где в круг собирается несколько дам...
Так – мало помалу, стежок за стежком –
И девушка ходит уже с ярлыком.

Конечно, ее добродетели вески,
Но мы не себе ее прочим в невестки.
Мы с нею добры, ею можем гордиться,
За славного выйти бы ей кентукийца,
А нет — алабамца. Пускай каролинца.
Хотите — я мненьем могу поделиться —
А юношей нету на Севере разве?
У кое-кого и хорошие связи.
Не правда ль, танцует прелестно она ведь?
Когда бы з а д о р н о с т и в ней поубавить!

А Куджо смотрел, как прошла она залом.
„Ишь, ноги легко ее носят”, — сказал он, —
Шаги-то легки, и стреляют глаза-то,
Но это, мисс Салли Дюпре, маловато,
Чтоб Клей оказался на Салли женатым.
Вот только окончится скрипок возня —
И сразу шестнадцать забот у меня.
Наверно, захочется выпить майору,
И окорок резать мне в самую пору,
А тут еще дрянь эта — Гини, мулат —
О том Джоне Брауне лезет с рассказом;
Тот янки устроил в Виргинии ад
И волю дал в городе всем черномазым.
Он с чортом в ладах, заколдован от пуль,
Но Брауна сцапает, верно, патруль.
Чего ему эта болячка приспела?
Лезть в черных дела — разве белого дело?!”

Туманная, мягкая ночь без настоящей луны.
Крысы ночные съели серебряный сыр.
Хотя тут и там позабытые крохи бывшего сиянья
Сверкали и тухли.

Но не было в небе нигде настоящей луны,
Перламутровой чаши, с которой обманные старые пятна
Капают в странные травы, меняя их цвет, необычными делая лица.
Только и было, что вкус дождевого тепла без дождя
Да винно-пурпурное платье, темное ночью безлунной —
Как при луне это платье сверкало б! — и тонкий суконный костюм,
И двух голосов разговор, очень тихий и очень спокойный.
Бал. Замечательный бал. Но танцуете вы так легко.
Аманда прекрасно танцует. Но танцуете вы так легко.
Не правда ли, в розовом очень красива Луиза?
Вы любите Скотта? Да, Скотта я очень люблю.
Изящество стильных цитат из томов с золоченым обрезом,
А также слова из издания Гуди²⁵ „Журнала для дам”.

Если бы девушкой быть на гравюре в „Журнале для дам”,
Я не имела б ни тела, ни ног, ни томлений, ни горьких иллюзий.
Знала бы я, что мне делать. Я замуж бы вышла за человека по имени
Мистер.

Жили бы мы на гравюрах в различных костюмах,
Сшитых по самым отменным модам парижским.
Было бы маленьких мальчиков двое у нас, в бархатных шапочках,
напоминающих плюшки,
Также и маленьких девочек две в панталончиках до подбородка.
Думаю, так я должна поступить.

Но сейчас мои быстрые ноги
Знают, что будут гореть и устанут от танцев,
Прежде чем я остужу их в блаженной прохладе воды,
В холоде девственных простынь девической спальни.
На меня наплывает лицо из суконного мрака костюма,
И стучит мое сердце.

Кто ты, что ты делаешь здесь?
Почему ты стоишь перед моими глазами?

Нет, мистер Вингейт,
Относительно прелести Байрона я с вами никак не согласна.
Но отчего ж так слабеет рука у меня,
И я слышу свой голос так слабо?

Такое же это лицо,
Как любое другое лицо. Разве мать моя тоже когда-то
Ощутила, как тонкая кровь у ней пела в ушах, когда слышала голос
мужчины по имени Мистер?

Как хотелось ей, как не хотелось — когда ж эта странная вещь
Завершилась, и в свитках безмолвного мрака лежала она —
Ощутила ль она себя сразу иною совсем?
Что это значит — быть женщиной?

Нет, я должна жить на гравюре.
Голос ответил его. Но было и нечто другое, чем голоса звук.
Что-то внимавшее теплomu гулу дождя по цветам нераскрытым
Силилось что-то сказать, иль оно говорило в расплывчатой тьме
Тонкому профилю, винно-пурпурному платью.
Темноволоса она. А глаза ее темны ль иль серы —
Никак он припомнить не мог, и это его раздражало.
Но это всего только Салли Дюпре из семьи Эппелтонов.
Нет, была она кем-то другим. Только тенью была
С белым ликом — пугающим, белым и замкнутым ликом,
Что глядит через плотные стекла окна
С пренебреженьем на байроновские красоты
И на любого щенка, что когда-либо выл под луной.
Пусть нераскрывшийся тронет цветок она каплей дождя,
Пусть успокоит томление — но чем?

Ты знаком с ее теткой,
Ты Вингейт из поместья Вингейтов. Еще не запутался ты,
Как пчела, что пьянеет от запаха меда, от запаха сна,
В этом хрупком стеклянном цветке, где любой лепесток
Отражает глаза — не поймешь, они темны иль серы —
Ты умеешь легко говорить на изящные темы,
Что уместно в беседе с девицей.

Не чувствуешь ты,
Как по безжалостной лестнице плоти твоей
Враг твой восходит в доспехах и факел несет он открытый.
Так бывало и раньше не раз, но с обыденным пренебреженьем

Удавалось в той плоти тебе притушить это все,
На которой есть тайное солнца пятно.

Это вовсе не тема
Для беседы с молоденькой девушкой.

„Боже, Боже, зачем не ответит она на
томленье мое?

Боже, Боже, о если бы рядом лежать с ней
вот тьме!”

И все ж — настоящее ль это — действительно ль я -

Винно-пурпурное платье встает. Поднимается черный костюм и ведет ее
вновь танцевать.

Широкий желтый круг бросала лампа
На красную бахромчатую скатерть.
Джек Эллиат закрыл внезапно книгу
Поспешным жестом.

Тот же самый, серый
И неизменный шарф вязала мать.
С газетой неизменною отец
Сидел в очках таких же неизменных
И старомодных с выцветшей оправой.
С одной щекой в тени, с другой румяной
Учила Джен латынь, твердя беззвучно
Серьезными губами „amo, amas, amat,
Amatus” — про себя — „amatis, amant.”
Он глянул на часы. Над ними Фазтон²⁵
Гнал бронзовых храпящих лошадей
В воздушную стремительную пропасть,
Пока они не рушились, как в море,
В каминный черный мрамор. Круг лучистый
Трофейного и бронзового солнца
Отягощал, как грузом, колесницу
Огнем тяжелым.

Быть, как Фазтон,
И в небе управлять трофеем-солнцем!
Но он застыл, и лошади его
В храпящем положении застыли,
Навек примерзнув к тиканью часов.
Все ведьмы Новой Англии²⁶ не в силах
Разбить движенье скованное, сбросить
Огромное грохочущее солнце
В каминный черный мрамор, на котором
Прочерчены прожилки белой пены.
Случись такое — все б могло случиться,
И безопасный и уютный мир
Мог затрещать разбитым леденцом,
И с ревом в море бросились бы реки,
И белые быки, что на рога
Поймали утро, сотрясли бы землю,
Пока бы не нашли каких-то лучших
Даров за жизнь, чем эта жизнь сама, —

Свободный дух, звезду, что не тускнеет.

Тому не быть. Ничто здесь не случится.
Он так сидел здесь десять тысяч раз,
И десять тысяч раз сидеть так будет,
Покамест легким тиканьем часы
Не остудят того, что было жарким,
И тонкие и голубые вены
Не станут на руках его большими
И мягкими, как на руках отца.
И будет мир уютным.

Будет он

Сидеть и после ужина читать
Такую ж неизменную газету
Через очки с потертою оправой.
Шарф будет без конца вязать жена.
Губами тихо шевеля, ребенок
Твердить без звука будет „амо, амаз, амат”.
Все кончится, минует, не случившись.

Отец перевернул хрустящий лист
Газеты и откашлялся. „Трибуна, —
Сказал он, — сумасшествием зовет
Атаку Джона Брауна. Ну, что же,
Они, возможно, правы.” Отложила
Вязанье миссис Эллиат. „Они
Его повесят, Вилл?” „Весьма возможно.”
„Но папа, ведь...”

„Они имеют право —

Нарушил он закон.”

„Но, Вилл! Ты не считаешь...”

Мелькнула искорка в глазах отца.
„Я вовсе не сказал, что он неправ,
А что они его повесить вправе;
Но вместе с ним они повесят рабство.”
Джек Эллиат почувствовал, как пульс
Его забился. В глубине сознания
Длиннобородая марионетка
Скрипела на веревке. И повсюду
От этого темнели небеса.
Мать голосом заговорила странным
И скованным, неслыханным дотолем.
„Я в церкви за него молилась, Вилл.
И каждый вечер дома я молюсь,
Я знать не знаю, и мне все равно,
Какие там нарушил он законы, —
Я знаю, что он прав. Молю я Бога
Всем людям показать, что был он прав,
И показать южанам эту правду!
Я знаю — в каждом доме, в каждой церкви
На Севере повсюду за него
Молитвы Богу женщины возносят,
Повсюду. И услышит Бог молитвы.”

„Конечно, дорогая. — муж сказал
Ей ласково, — Но что ответит Бог?“
На миг коснулся он руки жены
И чуть погладил. И она вздохнула
И принялась за бесконечный шарф.
У сына пульс сильнее зачастил.
Молящиеся женщины. Ночами
На Севере молящиеся в каждом
Дому за Джона Брауна, пока
Не схватывает болью твердый холод
Колени их. .

Несчетные молитвы
На небеса восходят неуклонно,
Пока полночный темный небосвод
Так ими весь набит, что даже диким
Гусям не пролететь сквозь бурю страшных
Всех женских возносящихся молитв.

Часы пробили девять. Фазетон,
Застывши, гнал застывших лошадей.
Но вдруг на миг Джек Эллиат увидел,
Как будто бьют по воздуху копыта
И бронза колесницы покатилась.

В субботний день на ярмарке, на Юге
В те времена, когда еще я был
Мальчишкой с капиталом в двадцать центов,
С утра съезжались в городок телеги,
На площади выстраиваясь к полдню
И вдоль широкой улицы центральной.
Съедаемые мошкарю мулы
Друг с другом перефыркивались между
Починенных оглоблей, ветхих дрожек,
Замызганных колясок и фургонов.
То тут, то там телега шла с холмов.
Торжественно волы ее влекли,
Чьи плечи тверже грубых белых скал,
Носы невинны, влажны, черноваты,
Как ракушки улиток, а в глазах
Такое неизбывное терпенье.

На площади там здание суда,
Увенчанное куполом, стояло
Обычно, и дремотно время шло
За серовато-белой колоннадой,
И выглядел весь дом, как старый, сонный
С засаленною мантией судья.
Всегда поодаль — вялая тюрьма
Из стершихся неровных кирпичей
И в трещинах замшелых, иль из камня,
Что старых сосен цвет с годами принял.

Смотритель пухлый летом надевал
Передник полотняный, и его
Всегда привыкли видеть у стены
Качающимся на сосновом стуле,
Плюющим в пыль задумчиво, меж тем
Как бесконечный полдень расплывался
Медлительно в длиннеюшие тени
И в сумерки, синевшие, как пыль.
Тех дней сумбурных нет уже в помине,
Нет рысаков, и на дрова пошли
Покрашенные в желтый цвет двуколки.
И дом суда вставные зубы скалит
Из алабамской извести. И плачет
Из войлочной материи покрывка,
Надетая на радиатор Форда.

Но старый дом суда еще я видел:
Окошки в мухах, полинялый флаг
Над головой судьи. Я трогал стены
Потертые. В огромные плевал
Латунные плевательницы. Запах
Вдыхал, который выветрить нельзя,
Хоть год держать открытыми все окна, —
Незабываемый, неуловимый запах
Сигар дешевых, пота, нищеты,
Изъеденных червями книг, законов,
Печали и помады для волос,
Которую употребляют негры.
Я видел длинный зал, что был набит
Спокойными людьми, одною вспышкой
Умевшими воспламенить толпу.
Они держали пальцы на курке
И были так внимательно-ленивы,
Что томность их стучала в ребра вам.
Бубнили адвокаты без конца,
Минуты напознали на минуты,
Ваш ледяной затылок взрыва ждал
Шутихи... ярости.

Но сдавленная ярость,
Не вспыхнув, понапрасну выгорала —
Ее тушил сухой бубнящий голос
И полинялый флаг. Хоть оставалась
Рука на пистолете, но курка
Не двигалась змеиная головка...
Снаружи с окон детвора слезала...

Итак, тогда в Чарлстауновский суд
Под сводчатую крышу сторожа
Внесли на койке Брауна, лежащим,
Как ястреб с переломанным хребтом.
Мне чудится — я слышу гул толпы
И воздуха тяжелый вялый вкус,
И затхлый запах, и вдоль улиц вижу

Повсюду деревенские повозки.
Шел суд неделю долгую, как будто
Она была сплошным базарным днем.
То тише голоса бубнят, то громче.
На тюфяке лежит недвижно Стивенс
И затрудненно дышит и хрипит,
Как при смерти. Но он еще тогда
Не умирал.

За площадью деревья
Сухи уже, но все сухие листья
Еще не пали. Листьям желтым падать
Сквозь серосиний сумрак. Первый ветер
Ноябрьский раскидает их, кружа.

Прочтите, если вздумаете, в книгах
Подробный свод вопросов и ответов;
Как Браун иногда входил и сам,
И временами как его вносили,
Как он сперва почти не защищался,
Защиты помощь полуустранив,
Потом, приняв ее, составил список
Свидетелей, по временам со страстью
Вникая в дело, только для того,
Чтоб потерять терпенье и прогнать
Своих первоначальных адвокатов.

Вопросы и ответы – скрип колесный
В пустом пространстве.

Временами Браун
Лежал на койке тихо, с ястребиным
Упорным взором. Пальцами подчас
Он двигал механически, как будто
Он по привычке шерсть сортировал.
Он пальцами во тьме мог различить –
Шерсть из Огайо или из Вермонта.
Был в пальцах у него пастуший дар, –
Единственный его бесспорный дар.

Вопросы
Взад и вперед бессмысленно скрипели.
Никто не вправе говорить, что суд
Нечестно велся. Справедлив был суд,
Болезненно приверженный законам,
Но это вовсе роли не играло.
У нас закон – мерило. Славно мерит
Иль сносно, если надо мерить ярды.
Измерь им волны, измеряй им пламя,
Руби на дюймы скорбь. Довольство взвесь.
Вы можете отлично также взвесить
Им тело Джона Брауна. Но как,
На чем же Джона Брауна вам взвесить?

Пастуший дар – вот все, чем обладал он,
Чтоб жить, – других даров он не имел.

Есть люди — точно пастбища; таких
Смерть обращает в пастбища опять;
Есть люди — как опалы огневые
На жестяном запястьи смерти. Люди,
Как в недрах корни мудрости, еще
Не воплощенной. Но одним из этих
Людей Джон Браун не был.

Был он камнем

Заостренным, который обточили
Холодные молитвы, неудачи,
Упрямство. Опозорившийся фермер,
Что был весьма сомнительно замешан
В один процесс судебный за другим,
Налетчик легендарный — Шубел Морган²⁷
С границ канзасских, обгаренный кровью
Убийца страшный в Поттаватомии.
Апостол мрачный. Те его погнали
На смерть, кто сам насилья не творил,
Но для насилья покупал оружие.
Конечно, был он искренним, как всякий
Фанатик. Как пророк второстепенный
Он выглядел, и тем дурачил мир
И заставлял себя считать великим,
Хоть все, за что бы он ни принимался,
Кончалось неизменно неудачей.
Так судит кое-кто.

Но тут другое.

Бывает так, что время рвется с треском,
Слепая сила раздирает землю,
Бывает, что давно привычный образ,
Звезде Полярной в стойкости подобный,
Встречается с неизмеримой силой,
Что вдруг как будто скажет: „Не хочу.”
Зовите это духом века, Богом,
Душою человечества иль роком,
Законом экономики. Но сила
Такая существует — движет миром.
И эта сила, приходя в движенье,
Находит твердый, настоящий камень,
Чтоб стену настоящую разрушить
На мелкие осколки. С настоящим
Покончить положением вещей.

Джон Браун был таким же точно камнем.
Он был нерассуждающим, как камень,
Как камень разрушительным и, если
Хотите, жертвенным и беззаветным,
Как камень. Никаких даров для жизни
Он не имел. Что мог он дать ей, кроме
Заостренного каменного края
И тела своего? Но он умел
Идти на смерть.

Закон ему отмерил

Срок в шесть недель, чтоб сжечь всю эту груду
Накопленного рвенья в краткой вспышке,
Чьи искры пали, как горящий уголь,
На каждый штат Союза.

Слышишь, слышишь,
Как бородатый рот заговорил.
Не нужно больше замышлять набегов
И голову ломать над тем, кто прав,
Кто виноват, или просить о мире.
Непрощеный — вот мир. Вон он — конец.
Высокомерье сброшенного солнца,
Тот голос, что уже задернут ночью.

СЛОВО ДЖОНА БРАУНА

С разрешения Суда я скажу несколько слов.

Прежде всего, я отрицаю все, кроме того, в чем я никогда не за-
пирался: моего замысла освободить рабов.

Если бы я осуществлял этот замысел (в котором я сознаюсь и
который, как я должен признать, был доказан путем добросовестного
следствия) ... если бы я осуществлял его в интересах богатых, могу-
щественных, образованных, так сказать, великих мира сего... пере-
страдав и пожертвовав то, что я перестрадал и чем пожертвовал, то
никто не судил бы меня. Здесь, в этом зале суда, все поголовно счита-
ли бы, что этот поступок заслуживает не кары, а награды.

Я видел, как тут свидетели целовали книгу — полагаю, что это
Библия, а если не вся Библия, то во всяком случае Новый Завет, в ко-
тором говорится, что — как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними. Евангелие также учит меня помнить о тех, кто
в оковах, и быть заодно с ними. Я старался поступать сообразно с эти-
ми заветами. Я, как видно, еще не дорос до понимания того, что Бог
может быть лицепритным и рассматривать людей с точки зрения их ве-
са в обществе. Я считаю, что, поступив так, как я поступил, и (как я
всегда открыто заявлял) поступив так ради блага обездоленных и уни-
женных детей Божиих, я был прав, и вины моей в том нет.

Но если, по-видимому, нужно, чтобы я поплатился жизнью ради
торжества справедливости и чтобы моя пролитая кровь смешалась с
кровью моих детей и с кровью миллионов рабов этой страны, права ко-
торых попираются бесчеловечными, жестокими и несправедливыми за-
конами, — что ж, да будет так.

Еще одно слово. У меня нет никаких жалоб относительно ведения
моего судебного процесса. Учитывая все обстоятельства, я могу сказать,
что ко мне было проявлено более великодушия, чем я ожидал. Но я не
чувствую за собой никакой вины. С самого начала я заявил, что входило
и что не входило в мои намерения. Я никогда не намеревался ни посягать
на чью-либо свободу, ни прибегать к измене, ни подстрекать рабов к вос-
станию, ни готовить общий мятеж. Я никогда никого не подбивал

на это, а напротив, всегда отговаривал других от подобных намерений.

Разрешите мне также сделать одно замечание по поводу заявлений, сделанных некоторыми из связанных со мною лиц: я слышал, что некоторые из них заявили, что они примкнули ко мне, поддавшись на мои уговоры. Но в действительности было совершенно обратное. Я говорю это не в обиду этим людям, но сожалею о проявленной ими слабости. Все они без исключения примкнули ко мне по своей доброй воле, причем большинство их вкладывали в это дело собственные средства. Многих из этих людей я ни разу не видел и ни слова с ними не сказал вплоть до того дня, когда они пришли ко мне; пришли с той же целью, о которой я уже заявил.

Теперь я все сказал.

И голос смолк. Мгновение прошло
В глубокой тишине. Судья прочел
Казенную формулировку смерти.
Какой-то из приезжих начал хлопать.
Но глупый звук был прерван.
Установилось сразу же молчанье.
И зал суда не огласили крики,
И с улиц, переполненных народом,
Не донеслось ни ропота, ни рева.
Прошел со стражей Браун вновь в тюрьму.
Тяжелая за ними дверь закрылась.
Был стульев шум, сдвигаемых в суде.
И вздох толпы огромной, что теперь
В людей отдельных снова превращалась.

От приговора еще целый месяц
До виселицы. Месяц посещений
И бесконечных писем. Некто Рассел²⁸
Пришла, чтобы пальто его почистить.
Вчерне слепил его какой-то скульптор²⁹
На Севере тревожном доктор Хоу,
Встревоженный, подчеркнуто тревожно
Отрекся от причастности малейшей
К налету Брауна. А Геррит Смит³⁰ удобно
Сошел с ума на некоторый срок,
Достаточный, чтоб в памяти его
Воспоминанье всякое бы стерлось
Об этом неудачном деле. Только
Суровый, крепкий Хитгинсон утрумо
Достоинство хранил и не отрекся.
О пожалейте тучных! Пожалейте
Преуспевавших, набожных людей,
Глупца, который поджигал фитиль
У бочки с порохом — о пожалейте!
Им будет нужен ваш фальшивый пенни, —
Надолго жить останутся они.

В Чарлстауне тем временем прошел
Слух о побеге предстоящем. Браун
Зачинщикам просил сказать:
„Теперь я мертвый стою многим больше,
Чем если бы я жил.”
И прожил месяц свой, неутомимо
Весь месяц занимаясь мелочами,
Которым суждено войти в легенду,
И письмами, написанными крепким
И скуповатым почерком, где твердость,
Цитаты из Писания, плохая
Довольно орфография и сжатость.
Но письма шли и сеяли легенду.
Тем временем войсками наполнялся
Весь городок.

Приехал губернатор,
Стеклись друзья, враги и ополченцы,
И старые враги из пограничных
Застав. От месяца остались только дни.
Прошло с женой последнее свиданье;
Последнее письмо он написал:

„На старом семейном памятнике в Норт-Эльба следует сделать надпись:
Оливер Браун, родился в 1839 г., был убит на Харперс-Ферри, Вирг.
17 ноября 1859 г.

Ватсон Браун, родился в 1835 г., был ранен на Харперс-Ферри 17 ноября
и умер 19 ноября 1859 г.

(Моя жена может) вписать пропущенные выше даты.

Джон Браун родился 9 мая 1800 года, был казнен в Чарлстауне, Вирг.
2 декабря 1859 г.”

Вот наконец пришел он — ясный, теплый,
Так медленно приблизившийся день.

И тело Джона Брауна теперь
Уже в распяты превращает Север,
В легенду возводя за часом час
И символами окружая — вот он
Целует негритянского ребенка,
Вот то и это делает. Вещает,
Чего вовек не говорил. Событий
Смещались очертанья, давши место
Сентиментальным предзнаменованиям.
А было все не так.
В домашних туфлях на крыльце тюремном
Стоял в костюме черном, мешковатом
Усталый фермер, ждущий лошадей.
Он написал последнюю записку:

„Я, Джон Браун, теперь окончательно у в е р е н , что преступления
этой виновной страны ничем не могут быть смыты:
только Кровью. Как я теперь вижу: н а п р а с н о я льстил себя
мыслью, что без о ч е н ь б о л ь ш о г о кровопролития; это может

произойти.”

В тюрьме или на площади они
Его не стали вешать. Гроыхая,
Две белых лошади поволокли
Телегу прочь из города. Джон Браун
Сидел на крышке собственного гроба,
А вкрут него, за спинами солдат
Раскинулись широкие поля
Коричневато-серые, морозом
Почти еще не тронутые вовсе.
Как фермер он смотрел на изобилие.
„Что за чудесный край.” – сказал Джон Браун.

На эшафот взошел он по ступенькам.
Ему надели смертный капюшон.
За эшафотом, перед самым строем
Кадет в мундирах серо-красных, некий
Профессор Джексон³¹, странноватый с виду,
Весьма неодобрительно стоял,
Пока потрепанные ополченцы
Двенадцать долгих провели минут,
Выстраиваясь на своих местах.
И в холод пресвитерианской сабли
Его души – нежданный ветер дунул.
Он видел Джона Брауна – ничтожный
Чернеющий клочек души бумажной,
Трепещущей над бездной, где болтом
Железным запер беспощадно Кальвин
Неизбранных. И вот он услышал,
Как произнес неумолимый Голос:
„В огне геенском да погибнет грешник.”
Сурово он молился, чтоб Господь
Избавил предопределенный прах
От вечного огня.

Молитвы этой
Не слышал Браун. На глаза надвинут
Был капюшона грубый черный холст.
Он перед тем увидел Голубой³²
Хребет, окутанный тончайшей дымкой,
И, может, продолжал его он видеть
В своем сознании. Может, видел холст,
А, может, ничего уже не видел.

„Возведох очи мои в горы, отнюду же приидет помощь моя.”

Топор рассек канат. Захлопнулся капкан.

П о л к о в н и к П р е с т о н :
„Да погибнут так все враги Виргинии,
Все враги Союза,
Все враги человеческого рода.”

Тело Джона Брауна лежит, гния, в могиле.
Вновь не придет он с пиками смешными,
С ватагою отчаянных мальчишек
На солнце бросить тень. На Север он вернулся.
Рабы забыли о его глазах.
Тело Джона Брауна лежит, гния, в могиле.
Тело Джона Брауна лежит, гния, в могиле .
Меняется уже под камнем он.
Плоть сильная сгнила, в распаде кости.
И, несмотря на череп, год спустя
Родится хлопок, несмотря на кости,
Рабы рабами будут год спустя.
Не изменилось ничего, Джон Браун,
Ничто не изменилось.

„ПЕСНЮ ПОЮТ МОИ КОСТИ. ПЕСНЮ ПОЮТ МОИ БЕЛЫЕ КОСТИ.”

Не слышу песни я. Я слышу только,
Как семя грубое таинственно растет
Из темных недр возделанной земли.
Сверчка шуршанье где-то под листом,
Скрип колеса холодного звезды.

„БЕЛЫЕ КОСТИ МОИ ПРОДОЛБИТЕ, СКРЕПИТЕ ИХ ВМЕСТЕ,
ПУСТЬ ПРЕВРАТИТСЯ СКЕЛЕТ В МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДУДКИ,
ВЕТЕР ВЕСНОЮ БУТОНЧАТОЙ ВДУНЕТ В НИХ ПЕСНЮ.”

Не слышу песни я. Я слышу только рев
Весенних вод, я слышу – льется голос
Ручьев нагорных, что из берегов
Выходят, набухая талым льдом,
И там и тут крошащейся землю.

„ВОТ ОНА, ПЕСНЯ МОЯ.
ОНА ИЗ ВОДЫ И ИЗ ВЕТРА. ШАГАЕТ В СТРОЮ.”

Нет, Джона Брауна тело лежит и гниет,
И гниет.

„НАЧИСТО ВЫМЫТЫ КОСТИ МОИ,
И БОГ, КАК В СВИРЕЛЬ, В НИХ ДУЕТ ЗВУКОМ ПРОТЯЖНЫМ,
И БОГ СВОЕ ДИКОЕ ПЛАМЯ ВЛОЖИЛ В МОЕ МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ.”

Я слышу теперь этот звук,
Он слаб, словно первая муха, жужжащая в марте,
Он слаб, точно множество крошечных вздохов травы
Под косою секущего ветра.

„ОН СТАНЕТ СИЛЬНЕЕ.”

Сильнее он стал. Он шагает в строю.

Это стучащийся пульс, это прибой кипенье,
Неба весеннего гонг дождевой,
Отдающийся эхом,
Джона Брауна тело,
Джона Брауна тело.
Но все же не ярость, мне кажется, в нем,
Скорее печаль, а не ярость.

„ЕЩЕ ТЫ ЕГО НЕ СЛЫХАЛ. ТЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫХАЛ,
КАК ПРИЗРАКИ ДВИЖУТСЯ В НЕМ,
КАК БРОДИТ ДРОЖАЩИЙ В НЕМ ЗВУК.”

Лекарство,
Что действует сильно,
Горькое мертвых лекарство,
Я пью тебя ныне. И звук еще пленный я слышу,
Гнев спелой пшеницы и зрелой земли,
Что угрюмо дрожит, как дрожит барабан, по которому бьют
От канзасской земли до вермонтской.
Я призраков слышу шаги. Как вздымается море, я слышу.

„Слава, слава, аллилуйя³³,
Слава, слава, аллилуйя,
Слава, слава, аллилуйя!”

Что значит боль твоя, в поход идущий прах?
Что значат перекованные годы
На лезвия стальные топоров?

„СПРОСИ, ПОЧЕМУ ВОЗРАСТАЕТ С ЛУНОЮ ПРИЛИВ,
Я, КАК ПРИЛИВ, ПОДЫМАЮСЬ С КОСТЯМИ МОИМИ,
НАС ПОДЫМАЕТ БЕССМЕРТНАЯ СИЛА СТРАДАНИЙ,
И НЕ ОСТАВИТ, ПОКА НЕ СПОЕМ НАШУ ПЕСНЮ.”

Ослабевает призрак-барабан,
И год откатывается назад,
И на земле еще зима всего лишь,
А не весна. Еще свои белила
Бросает снег на снежную могилу,
Не изменилось ничего, Джон Браун,
Ничто не изменилось,
Джон... Браун...

Потемневшее в пороховом дыму звездно-полосное знамя свисает со сломанного, тонкого, как зубочистка, древка, и девяносто изнуренных солдат выходят военным шагом из Самтера³⁴, который пал, и грузятся на суда при барабанном бое и под развевающимися знаменами.

У них гневные и изможденные лица, пустые и холодные желудки, но упрямый пушечный салют, повторенный пятьдесят раз, заставляет их прямо держаться, когда они выходят из форта, и отвечает чему-то упрямому и безгласному в самой их плоти.

Борегар³⁵, beau sabreur, гусарская сабля с позолоченной рукоятью, позолоченный гвардейский металл с розами и завитушками, тщеславный, как Мюрат, лихой, как Мюрат, Пьер Гюстав Тутан Борегар в позе учтивого победителя под пальмовым штандартом.

Печальная маленькая колонна мрачно проходит мимо его учтивости. Он наблюдает без улыбки. Свет, полупризрак, полутблеск невидимой театральной рампы падает на его французское смуглое красивое лицо.

В ПРУД КАМЕНЬ ПАДАЕТ – РЯБЬ ПО ВОДЕ БЕЖИТ.

На пастбище брыкнулся жеребенок.
 Должно быть, муха, – он смекнул, – но рано
 Еще для мух. Но ощущение жизни
 В апреле было чересчур чудесным,
 Чтоб жеребенку приходить в унынье
 От мухи иль чего-либо иного.
 Он вновь брыкнулся – просто от восторга –
 И начал бегать вперегонку с ветром
 И собственную тенью. После затхлой
 Конюшни – солнце! Сочная земля
 Взамен соломы, насланной на досках.
 И оттого копытца жеребенку
 Казались легче танцевальных туфель.
 Он сделал вид, что испугался сойки.
 Как лист, в нем билось сердце. Он был весь
 Восторженностью чистой порывов,
 Неомраченной радостью движений
 И быстроты, и легкости, и бега.
 Он гордой плотью был. Весною юной
 И ржущей и встающей на дыбы.
 Его к забору подозвала Салли.
 Как сто коней, разбрызгивая грязь,
 Примчался он, прижав к загривку уши,
 С белками глаз, расширенными дико
 Ребячеством и дурью, – и застыл,
 Дыша с трудом. Смеясь, она стряхнула
 С подола брызги грязи. „Ах, Звезда,

Ну, дурачок, когда ты поумнееешь?"
Но взгляд сиял, и руки чуть дрожали,
Когда она протягивала сахар.
Как длинные пальцы рук ее, похожих
На яблоневый цвет! Звезда подул
Разок на сахар и сжевал его.
Она коснулась розового носа.
„Вот, за форт Самтер — получай, глупыш!"
Как взор ее пылал. „Звезда, ты знаешь —
Ты — конь Конфедерации, ты знаешь,
Что назову тебя я Борегаром?"
Звезда заржал, прося еще кусочек.
Ее рука легла ему на гриву.
И этот миг был так подстать апрелю,
Листве зеленой, новым липким почкам.
И воплощением грации застывшей
Они казались — женщина и лошадь!

РЯБЬ ШИРИТСЯ, О КАМЕНЬ РАЗБИВАЯСЬ.
ИДЕТ НАД ЧАНСЕЛЛОРСВИЛЛЕМ³⁶ ТЯЖКИЙ ПОЛДЕНЬ,
ОБУТЫЙ В МЕДЬ. НО УЖ ЛЕТЯТ ТУДА,
ГДЕ ЭСКАДРОН НАЕХАЛ НА ЗАСАДУ,
НА МЯСО МЕРТВЫХ — ТУЧИ СИНИХ МУХ.

У Картера — телеграфиста — веки
Приподымались тяжело. Он вздохнул,
Усталый, как собака, как булыжник.
Он дух и тело прошлой ночью сжег!
Так мало спал, играл так много в покер!
Он злился на воскресное дежурство.
Дежурить Райли должен был. Как раз
Жена рожала Райли. Он послал
К чертям младенца, и жену, и Райли,
И воскресенье. Никаких вовек
Не помнил происшествий Страудсбург Сайдинг,
А все-таки торчи тут и не спи
Со спертым вкусом жажды сна во рту,
И жди, хотя и нечего тут ждать.
В нем каждый нерв и мускул жаждал сна.
Сон был дороже денег, женщин, виски.
Он отдал бы трех следующих женщин
За десятиминутный сон. Он больше
Не сядет никогда за покер. Он...
Помятое лицо к рукам склонилось.
Сон — виски — женщины. Глаза слипались.
Да, я прочел „Царю Небесный", мама.
Застукал аппарат. Мотнулась резко
Назад телеграфиста голова.
Он, право, чуть не — тук-тук-тук-тук-тук —
Сперва в значение слов он не вникал,
Затем на лбу вздуться стали вены,
И тут глаза его совсем проснулись.
„Ах, черт, — сказал он, в аппарат уставясь,

Как будто стал змеею аппарат. —
Ах, черт, они пошли-таки на это!”

ЖЕСТОКОСТЬ ТРУБ ХОЛОДНЫХ РАНИТ ВОЗДУХ.
КНЯЗЬЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ НАДЕЛИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРЧАТКИ. КАПИТАНЫ
НАТЯГИВАЮТ ЧЕРНЫЕ КОЛЬЧУГИ.

Иуда Бенджамин³⁷ — еврей, эпикурец,
Лощеный черноглазый адвокат,
Весь гладкий, как тюлень, с живым лицом,
Умелый, ненавидимый врагами,
Взглянул на зал, где заседал Совет,
С чуть видной неизменной усмешкой,
Что он всегда перед собой держал,
Как будто шелковый раскрытый веер.
За веером — лукавый хваткий ум
Привычной мерой мерил христиан.
Вот все они: смеющийся, высокий
Джорджиец — непоседа Тумбс³⁸. Красивый,
Как годовалый бык, и в той же мере
Неукротимый. Стефенс³⁹ — хилый, бледный,
Со сладким голосом и слабым телом,
Болезненно-суровый. Духа сталь,
Которая изнашивает тело.
Увечное изыщество. Сожженный
Рассудок. Рэген⁴⁰, Мэлорн⁴¹, Уокер⁴²
И Дэвис⁴³ во главе. А ум сиял
Из веерного шелка темным принцем
В восточном одеянии, с хрустальным
Яйцом в ладонях смуглых, отражавшим
Цветные облака. Он вопрошал:
„Ведь я еврей. Что ж делаю я здесь?
Еврей в моей крови, в моих руках,
Во мне, подобно одинокой капле
Горчайшей ртути, словно след от мирры,
Который не окрашивает душ
Арийских ни восточными цветами,
Ни скорбным звуком выгнутого рога
В День Испуления. Между мной и ими
Течет река из времени и крови
И лавы золотой — о бледность рек,
Струящихся в ночи по Ханаанской
Земле! Но мы — коллеги, но друг с другом
Сквозь грохот той реки мы говорим —
И это все. И прячусь я за веер
Улыбчивый, и прячутся они
Под маской христианских джентельменов.
Но если упадут, то их подымут —
Они, ведь, люди общества, но если
Я упаду, то навсегда, как камень
Отброшенный — вот что такое значит
Еврей, мои собратья — христиане!

Предвидеть слишком многое — и все же
Не отступить — и улыбаться так
За веером моим с весельем тайным —
По-вашему, все это неуместно.
Мы все здесь — наспех сбитый кабинет
Державы новой — важно утверждаем
Уставы, прецеденты и законы,
Вслух не признав ни разу правоты
Франклиновского здравого суждения —
Что если мы теперь не стянем вместе
Все наши силы, то беспорочно стянут
В отдельности у каждого из нас
Петлю на шею⁴⁴ — суть еврея в том,
Чтоб видеть слишком далеко вперед.

А что они на Севере готовят?
Кто в кабинет вошел у них, как вести
Там принимают, так же ль попустому
Там тратят время, как мы тратим здесь
Свое и ваше время, мистер Дэвис?
Вы — гордость Миссисипи, мистер Дэвис,
Вы — первый президент конфедератов,
Что на уме у вас?

Ваш взгляд — усталый,
Растет с Кальгуном Джоном⁴⁵ ваше сходство.
Что ж делать — сын его вы по всему,
За исключением кровного родства,
Суровое дитя его идей,
Краса и гордость штатных прав: не стану
Над Джефферсоном Дэвисом трунить.
Однажды только я вам бросил вызов.
Хоть ваша кровь течет совсем иначе,
Чем кровь моя, — за веером своим
Еврей вам салютует, потому
Что вы — тот Юг, в который он влюбился,
Когда та девушка с глазами не-еврейки⁴⁶,
Черноволосая, с медовыми губами,
Та католичка гордая — впервые
Ударил французским каблучком
Ему по сердцу. Мы переменились
С тех пор, но незабвенную весну
Ничто не переменит, даже осень
Своим туманом. Этот хаос сердца
Нам не унять. Сознание, меняясь,
Все ж помнит половину той весны
И будет помнить до прихода стужи.
Нет, мистер Дэвис, не равняю вас
Я с нею, вы — не ночи над заливом,
Не фонари над Новым Орлеаном,
Не белое вино в хрустальной чаше
И не миндаль в цвету, от солнца сонный, —
Но все-таки вы — Юг, и по делам,
И по словам, по мыслям и по нраву.

В вас хрупкость и выносливость камней,
Изысканность, но вкупе с совершенством.
И руки не изнежены, не слабы.
Патриархален ум, но справедлив.
Рабовладелец щедрый, джентельмен,
Что благородством вовсе не кичится,
Но им и пренебречь не позволяет.
И все ж — и все ж мне кажется, что вы
Похожи слишком на Кальгуна. Слишком
Характер ваш натянут туговато;
Мне кажется, что в ваших пальцах — чуткость
Ученого; хоть говорят, что голос
Ваш сочетает арфу и трубу,
Лишен он дара согреть людей.
Тот дар и поглубже голоса
Умеют черпать из простой земли,
Которую вы топчете, но в руки
Не набираете. По-моему, у вас
Есть все, кроме способности к успеху,
Вся честность, кроме честности бескрайней
Земли. Таланты все. И только нет
В вас солнца гениальности. И все же
Я б не хотел, чтоб были вы иным,
Хоть ясно вижу я, каков вы есть.

И нет лишь... о медовая весна,
О ты, темноволосая, с глазами
Арийскими! Ответьте, христиане:
В час, когда жены молятся за вас
И Юг, — как молятся они? Не тем ли
Баюкающим голосом, в котором
Какой-то отзвук колокола слышен,
Что затонул во Франции когда-то,
И теплый плеск вдоль всей речной косы.
С моей молитвой ваша не сравнится,
Ее нельзя сравнить с моей молитвой. ”

Авраам Линкольн, в носках превышавший шесть футов,
Словно ореховый прут, узловат, суховат, жестковат,
Со слишком большой пятерней для лайковых белых перчаток,
С умом, как мешок из енотовой кожи, набитым
Ворохом старых преданий, легенд, небылиц,
С лицом, точно пашня, обветренным и некрасивым,
Авраам Линкольн, кто в рубаше ночной и в ночных
Туфлях таскался, туда и сюда, по священному Белому дому,
И все же — героев поклоннику, юному Хэю⁴⁷ казался
Прекрасней, точней, величавей любых изречений Плутарха,
Резцом нанесенных на римскую бронзу; Линкольн,
Шут захоластный из прерий, фигляр неуклюжий,
Провинциальный юрист, неотесанный политикан,
В штатном масштабе фигура, а все ж в сорок лет неудачник,

Хоть и хватило б его честолюбья на двадцать
Цезарей, и несмотря на такую же редкую честность,
Как человек, что себя самого не жалеет,
И вопреки доброте, и простой, и широкой, как ветер степной,
И несмотря на железную веру в себя, —
Этот Линкольн, ныне став президентом по милости счастья⁴⁸,
Дугласа, разъединения и политических дряг,
И немногих речей, по сравнению с которыми даже
Вебстера монументальная громоподобность
Сходна со звуком того барабана, что лопнул, —
На заседание приволочась кабинета,
Сел неуклюже, нескладно — и сидя вот так,
Он не казался уже и высоким и странным,
Хоть и в достаточной мере он был необычен.
Был ему тесен в плечах его новый суконный костюм,
А новый блестящий цилиндр еще не был потрепан
И мятую форму не принял той старой и памятной шляпы,
В которой ходил он в Спрингфилде, набив ее кучей записок.
Он очень устал. Всю неделю искали теплых местечек
Его осаждали, как мухи, что летней порой осаждают
Тощеголовую и терпеливую лошадь.
Дети болели, и Молли⁴⁹, о них беспокоясь, была резковата,
Но Молли он знал и внимания не обращал.
В доме мужчины всегда наследят, а женщины любят ковры.
У каждого правды клочок, да и этого хватит по горло.

Вот полюбуйтеся на мой кабинет. Тут и Сьюард и Чейз⁵⁰.
Оба хорошие люди, и мне потерять их накладно.
Но Сьюарда Чейз ненавидит, а Сьюард на Чейза озлоблен,
И каждый считает, что должен он быть президентом,
А вовсе не я. Когда Сьюард прислал мне однажды
Письмо, он об этом фактически мне заявил.
Я думаю — очень чувствительный к чести своей человек,
Об этом проведая, послал бы обоих их к чорту.
Я так поступить не могу — они свое делают дело.
Уж больно огромная лошадь — Союзные Штаты,
Не станешь седло ты менять каждый раз, когда трет оно где-то;
Пока ты уверен, что впору седло, ты обязан
Терпеть неудобство и лошади не раздражать.
Я мальчиком, помню, по городу шел и все думал —
Когда бы болталась в мешке моем тыква одна,
То было бы трудно нести, но поскольку две тыквы
Распределились в мешке — создалось равновесье.
Сьюард и Чейз — две такие же тыквы мои.
А что до меня — подвернись кто-нибудь, кто докажет,
Что лучше меня он управится с делом моим, —
Что ж, пускай мое место займет. Посильней тут вспотеешь,
Чем правя упряжкой, в которой семь мулов упрямых!
Только я человека такого не встретил еще,
И пока я не встречу его — и кто знает, случится ли встретить —
Управляю тут я, а не кто-то другой. Если это
Чейз и Сьюард не знают, то будут со временем знать.

Что в Монтгомери думает Джефферсон Дэвис про Самтер,
Мне узнать бы хотелось. Должно быть, работает мысль
У него напряженно и быстро. Он очень способный,
Вне всяких сомнений. Мы с ним родились по соседству –
Нас разделяло миль сорок, и разница менее года
Меж нами – немного вперед забежал он,
Обогнавши меня и в карьере, и кажется мне –
Если верным считать все то, что о нем говорят,
И из двоих нас себе выбирать президента
И во внимание принять рождение, среду, воспитание,
Образованность, в жизни успехи и опыт служебный –
То, мне кажется, из десяти
Вы раз девять его предпочтете. И все же я должен
Как бы то ни было – дольше его продержаться.

Мысли такие мгновенно в его голове пронеслись.
Затем он к делам перешел. Тысяч семьдесят пять добровольцев⁵¹
Надлежало призвать под знамена.

Удлиненные строчки стихов как стальные вытягивай тросы,
И давайте прославим все то, что унижить нельзя похвалой.
Эти злаки, что рвались вперед, чтобы их раздавили колеса.
Обернулось, что спало в душе, закоснелой кровавой мечтой.

Нет, не шелковый флаг, и не крик, и не лозунги всех патриотов,
Не шумливые визги газет, не речей кровожадная страсть, –
Нет, в сердцах молодых пушкарей прозвучала упрямая нота,
Они знали орудья едва, они падали мертвыми в грязь.

Они шли, как косяк осетров, к занесенному льдом Кеннебеку,
Им навстречу швырявшему смерть в серебристый крученный сумбур,
Так стекаются к горным ручьям молодые олени набегом,
А на них еще бархат рогов и блестящая изморозь шкур.

Собирался и Север, и Юг, грянул зов боевой против зова,
Оба призраки ныне для нас – барабаны на стенах висят.
Но они были первой волной, что по-юному к смерти готова,
Приосанясь, как будто на бал, в битву шел за солдатом солдат.

На мальчишках мундиры блестят! Этих пуговиц блеск золоченый!
Их девицам дарили они за цветы и малиновый сок,
Непривыкшие к усталости злой, к маршировкам на стуже каленой,
К бредовой духоте лагерей и ко рже, разъедавшей клинок.

В наше время вступали в войну тоже бравым охвачены духом.
Знаем мы, как смыкается круг, и как дух начинают терять,
Как пшеницу дано погубить, точно мусор, глупцам или шлюхам,
И пшеницы налившейся гнев мы воспеть не дерзаем опять.

Искажен и почти позабыт (то же самое видели все мы,
Нам запомнилось после и до, когда водит слепого слепой)

Тот стремительный юности взлет до того, как прогнили эмблемы,
Он был гордою куплен ценой, чересчур дорогою ценой.

Так и с ними случилось. У них со знакомыми нашими сходство,
Невзирая на бороды их и особый покрой сюртуков.

Письма милым писали они и гадали — как все обернется.

Разве, гневным испугом объят, хоть один отступить был готов?

Это — Мэн и Флорида, Нью-Йорк, и Род-Айленд и Джорджия это,

И охотник на белок из чащ, и с винтовкою новою клерк,

Муштровали, учили их там, и опять за весною шло лето.

Спотыкаясь, до смерти дошли: у Булл-Рана⁵² их полдень померк.

Вингейт сидел в одну из ночей
При свете луны и блеске свечей.
Брови над Байроном хмурил он,
Сердцем в ночную тишь погружен.
А полночь дышала уже глубиной,
Ветром, сном, луной, тишиной,
И тысячи шорохов жили в углах,
Как в старых лесах, старых домах.
То без причины доска заскрипит,
Дрогнет листва, прошумит в ветвях,
Мышь за обоями пробежит,
Медленно время стучит в часах —
И все сливается в звук сплошной,
Как будто вздохнул великан под землей.
Звук этот более сонный, чем сон.
На полку Байрон уже водворен.
Вингейт подходит к окну. Хорошо б
Как призрак пройти средь лесных чащоб,
Чтоб испытать острие штыка
Полярной звезды, что так далека.
Он постоял перед рамой ночной,
Следя задумчиво за звездой,

КОТОРАЯ НА НЕБЕСАХ ДРОЖАЛА,
СЛОВНО ОСА С СЕРЕБРЯНЫМ ЖАЛОМ.
ЗВЕЗДА СИНЕНОСАЯ! ВОДРУЖЕН
БЛЕСК ТВОЙ У ЯНКИ НА ШЕЛКЕ ЗНАМЕН.
МЫ ПРОТИВ ТЕБЯ ПОДНЯЛИСЬ, МЫ ОГНЕМ
УЧИТЬ ТЕБЯ ВЕЖЛИВОСТИ ИДЕМ,
В МИРТЕ ВЕНКОВ, СКВОЗЬ ГУЛ ПОГРЕМУШЕК,
С ПЕСНЕЙ, ЗУБАСТОЙ, КАК ПАСТЬ ЧЕРЕПАХ,
С МУЗЫКОЙ ДИКСИ⁵³, С ПЛЯСКОЮ ПУШЕК,
С ЛИЛИЕЙ ЛЕТА ТИГРОВОЙ В РУКАХ —
МЫ ТЕБЯ СТАЩИМ С ПОЛОТНИЩ РВАНЫХ,
ЧТОБ УТОПИТЬ ТЕБЯ В ВОДАХ САВАННЫ!

Хоть клич боевой был по нраву ему, —
Чуть вздрогнул он, сам удивляясь тому.

Тут его серый мундир шерстяной,
Тут сапоги его блещут смолисто,
С шелковой кистью пояс цветной,
Ржание в стойле Черного Свиста,
Сумка из веера для мелочей,
Дар материнский — Божие Слово
Рядом положено с саблей суровой,
Еще не изведавшей плоти ничьей, —
Игрушки войны, что с иголки новы.
Смотрел он на них, по-мальчишески рад,
И все ж был задумчив монмаутский взгляд.
Название само — Черноконное войско —
Для дамского слуха звучало геройски!
Любил и Вингейт в нем хвастливые звоны,
Любил он красавиц, шшивавших знамена,
Любил он, как пахнут и седла, и кони,
Когда он со всеми скакал в эскадроне:
То в легком галопе ты шпорою звякай,
То весь напрягайся пред самой атакой!
Он все ощущал это остро до боли,
Как гончая в беге, как сокол на воле.

**НО ЧТО ЖЕ БЫВАЕТ С ЛЮДЬМИ НА ВОЙНЕ?
ЗАЧЕМ ОНИ ВСЕ ИДУТ НА ВОЙНУ?**

С минуту он думал: не в рабстве тут суть, —
То плутнями янки пытались раздуть,
И даже не в штатных правах суверенных,
А в чем-то неясном, должно быть, священном.
Вино, аромат или голос в ночи,
Лицо, озаренное блеском свечи,
Клуб пыли, извилины желтой реки,
Во что надо верить, всему вопреки,
Коль скрыто — должно быть оно величаво,
И мертвые строят живую державу.
Зерно прорастает с песчаного дна;
Юг — женщина — влагой речною омыта,
Белее, чем хлопок цветущий она,
И дики и сладки, как цвет померанца,
На грудь ее темные пряди струятся —
Кто больше, чем край мой, достоин защиты?
**ЗА ДИКСИ В БОЮ — И Я ПОСТОЮ,
ЧТОБ ЖИТЬ ИЛЬ ПОГИБНУТЬ ЗА ДИКСИ!...**

А может, на Севере кто-то другой
Вот так же стоит под упрямой луной,
В сомнениях страстных он смотрит на них —
На груды игрушек своих боевых.
Сиянье из них серебрится такое,
Такой глубины и такого покоя,
Что кажется — то картонаж бутафорный
Из сказки какой-нибудь мертвой и вздорной.
А видит ли он — очень скоро там ляжет

Тень паука на коня, на коня и на конника,
Мягкая серая тень, что тихонько
Ткет свою пряжу?
Нет! У меня лишь зрение расколото,
Проклятье это мне лишь одному.
Другие знают муки жажды, голода,
Но знают все — „зачем” и „почему”.

Я могу всю полночь выпить разом,
Пообедав, голод ощутить,
Потому, что мой двоится разум,
Храбрость и сомненья вяжут нить,
Так сплелись, что не разъединить.
Это плоть моя и кровь и пот,
Это мой позор и мой оплот,
Я один рожден, и потому
Суждено и жить мне одному.

Салли Дюпре, Салли Дюпре,
Глаза, что ни с серым, ни с темным огнем,
Зачем вы мерещитесь ночью и днем?

Глаза — вы, как море с мерцаньем его потаенным,
Где золото падало с тонущих шхун в темноту,
Подводные гномы ползут там по зыбям зеленым,
Чтоб только прижать это золото к холодному рту.
В пещерах на дне, под своим водяным небосводом
Кольцо драгоценное гномы из слитков скуют,
Хотят они море венчать с королем-мореходом...
Морские глаза, вы похитили душу мою!
Вы взяли ее, я не знаю, куда мне идти,
Так много дорог, а какие мне выбрать пути?
И слишком уж много постелей, где спал я без слез,
Чтоб в час расставания с ними без слез обошлось,
А с ширью морской можно только венчать короля.

Зачем же ты сердце взяла у меня?
Не я — справедливость, и верность — не я.
Я создан, как флюгер-петух над трубой,
И мной забавляется ветер любой.
А ты — как обточенный морем гранит,
Что молча один свое горе хранит.
С женщиной проще пустой,
Легко она любит и мило.
Лица твоего не возьму на войну я с собой,
С собой не возьму я перчатку, что ты обронила.

Салли Дюпре, Салли Дюпре
С телом и сердцем из пены морей,
Ни ночью, ни днем не забыть мне о ней.

Так размышлял он в усадьбе своей родовой.
Злость и любовь в нем бурлили, в одно сплетены.

Все он пытался узор разгадать роковой,
Слитый из мужества, смерти, любви и войны.
И вдруг все исчезло, и сон наступил наконец.
А завтра в поход — значит, месяца на два в горячке
Гнаться за янки и гнать их, как стадо овец.
Мир заключат, как начнутся Мэконские скачки.

В постель он улегся. Тонуло все в лунном луче,
Который искрился, как иней, на спящем мече.

В лачугах всю ночь духота, духота, но теплынь.
А к запахам можно привыкнуть. Хотя и стоял
Там воздух густой, точно черное масло, и пахнул
Капустой и шкварками, потом работ полевых,
Беспамятным сном, — все же были замазаны щели,
И низкая крыша могла защитить от дождя.
Не то, что вон те развалюхи, что держит Захарий,
Который рабов мамальгою кормит весь год,
А на Рождество угощает их тухлой свиной.

Но выскочка, жмот он, и барского нет в нем на грош,
Вингейты — те бары, заботятся те о своих.
Лачуга рабов их получше премногих лачуг.
А вас посади в нее — вы бы сказали, что хлев.
А прочности стен позавидовать мог бы виллан.
Но те, кто в ней жили, не зная другого закона,
Чем имя Вингейта, которое было закон, —
Те были ей рады, и ей, и огню в очаге,
И крыше — защитнице от темножильного ветра.
Тепло было их животам, нагруженным едой,
И их до краев наполняла друг к другу любовь,
Им нравилась хижина, нравилось рядом лежать
И в зимние длинные ночи, когда в очаге
Так медленно сучья сосны узловатой горят,
Бросая танцующих ведьм и чертей в потолок,
И в летние краткие ночи, вернувшись с полей,
В часы, когда ноет назревшее сладостью тело,
Порою зачатья детей и зачатия песен.

„Не спишь ты, мой черный?”

„Все думаю, женщина, я.”

„Мой черный, мой миленький, нечего думать тебе,
Несчастье от дум — за плечами, как призрак, они.
Ложись мне на грудь головой — а про думы забудь.”
„Моя голова на груди твоей, женщина. Грудь
Твоя так мягка и сладка, как в Писании утро,
И так же нежны твои груди, как два голубка
Царя Соломона. Но все ж не могу я не думать.”

„Так что же, мой черный, я больше тебе не мила,
Ты что ж, разлюбил меня, если ты взялся за думы?”

„Люблю тебя, женщина, я, хорошо мне с тобой,
С тобою я, словно Мисах⁵⁴ в раскаленной печи,
С тобою мне мнится, что Господа Бога я сын.
Но думаю все я о том, все мне хочется знать,
Как это все было бы, если бы стал я свободен?”

„Мой черный, молчи ради Бога!”

„Но, женщина, ты

Послушай!”

„Мой черный, молчи, припади мне на грудь,
Ты можешь попасться солдатам за эти слова,
Они засекут тебя черной змеею бича,
Сова принесет на крыле им, что ты говорил,
Такое опасно болтать!”

„Но я, женщина, должен,
Я в сердце ношу это.”

„Так позабудь эту блажь,
Я в жизни не слышала таких слов от тебя.
Ну разве плоха наша хижина?”

„Нет, не плоха.”

„Плоха разве пища? Иль старая миссис строга?”
„Харчи хороши, да и старая миссис добра,
Я старую миссис люблю.”

„Ну, так что ж ты болтаешь,
Чумазный болван!”

„Чую, женщина, просто я чую.
В поход старый масса, наш Вилли, назавтра готов,
И масса наш Клей едет с янками тоже подраться,
Все едут они, видит Бог.”

„Ну и едут, так что ж?”
„А янки как им надают?”

„Что в башке твоей, негр?
Ни капли ума! Посмотреть я хотела бы, как
Какие-то янки справились с массой Вилли
И массой Клеем!”

„Тут, женщина, правда твоя!”
„Ну вот.”

„Но я вижу, как все они едут и едут
На битву подобно Навину, Давиду подобно, —
И мне захотелось на волю. А дум у тебя
О воле совсем не бывало?”

„Ну, как не бывать,
Я думала часто — когда старый масса помрет,
То, может быть, старая миссис на волю тогда
Кого-то отпустит из нас.”

„Но тогда уже мы
С тобой постареем, на что нам и руки тогда,
Как наши ребята на воле растут — не увидим,
И силы не хватит у нас, чтобы сеять маис.
Хочу я на волю теперь, когда сила во мне.”

„И горше могло быть тебе и без воли твоей,
Что делал бы ты, если б нами Захарий владел?”

„Я думаю, что я убил бы его.”

„Ради Бога,
Мой черный, уймись, замолчи!”

„Я молчать не могу.

Есть, женщина, очень немного таких вот, как он,
Но так они мерзки, что жить не захочешь на свете.
Ужель ты не слышишь, что чувствую, женщина, я?
И я говорить не боюсь, не боюсь я солдат,
И нет во мне злобы. Я старую миссис люблю,
И старого массу, и всех их, кто в Доме Большом,
И негром других ни за что бы я быть не хотел.
Но все уезжают, но все уезжают они
С конями, со скарбом и ружьями. Всадники машут
Руками, копыта стучат, и я слышу, как едут они,
И слышу я гул колесниц, шум реки Иордан,
Что катит и катит и катит по сну моему.
И воли хочу я. Увидеть, как дети мои
Свободно растут, и увидеть исход из Египта.
Я вольным хочу быть, как волен орел в небесах,
Как волен орел в небесах.”

Разбросаны железные опилки
По желто-голубой и пыльной карте
Кривоугольных штатов, — тьма опилок —
Мужчин и женщин — маленьких, но сбитых
По кучкам и разбросанных повсюду
На стеганом лоскутном одеяле,
Чьи лоскуты — Вермонт зеленый в соснах
И Джорджии тяжелый краснозем.
Тут вы столпились густо, словно роем
Пчелиным перед ульем — это ульи
Селений, городов — а там вы все,
Как семена — отдельно, как попало
Повыпадали из карманов ветра,
И разбросало вас.

Но вот уже
Упал на вашу карту камень грома —
И все опилки движутся, дрожат
Под натиском слепой и страшной силы,
Испытывая холод притяженья
Звезды из пепла с тлеющим углем.
И карта потревожена уже,
И, скучившись, пришли по ней в движенье
Червеобразно длинные ряды
Опилок боевых.

И если впрямь
Твой, солнце, враг для этого украл
Энергию звезды перегоревшей —
Пусть сердцевина абсолютной стужи
С границ последних отблесков вселенной
Ему навеки заморозит вены.

Но если тут виной порок какой-то
В самом металле сердца, то тогда
И мы, и наши дети искупить
Должны вину пред этою кровавой
И старую бедою, иль оставить
Притворство, что то наша кровь и плоть.

О жизнь, как ты тревожна и странна,
Как яблоко сладка. Ты сильнорука
И солоно-горька! Милльон влюбленных
В тебя — как вал морской, себя дробят
О грудь твою скалистую, и с шумом
Гремящим, гордо восклицая, вспять,
Как море, отстраняются, отхлынув
В подножье отступающей волны.
Они собой червей сражений кормят
Не только на войне; но в промежутках
Между идущей и бегущей вспять
Волною — слышны голоса влюбленных,
Как крики чаек.

Джек Дифер, бочкогрудый пенсильванец, —
Рука его на окорок похожа,
И ею может он свалить быка, —
Из мяса и из сала здоровяк,
Жевавший мысли медленно, похожий
На битюга — из рук жены, проснувшись,
Освободился. На дворе рассвет
Был красен, как его большие щеки.
Он потянулся и зевнул гигантски,
Откашлявшись, а волосы жены
Растрепанной лежали кукурузой.
Жена со сна в него воззрилась слепо:
„Джек, неужели наступило утро?“
В ответ кивнув, он начал одеваться.
На миг она в постель зарылась глубже,
Затем вскочила, сбросив одеяло.
Они не говорили, сев за стол.
Еда была для них серьезным делом.
Но дважды взглядом он окинул кухню,
Как будто сияясь заучить на память.
Да и жена, начавши печь блины,
Сожгла один иль два из-за того,
Что надпись „соль“ читала на солонке.
Сын с ними ел, не говоря ни слова,
Совсем еще был сонный.

А затем,
Когда уже коней впрягли в повозку
И сын на козлах вожжи взял, готовясь
Их Джеку передать, — не сразу Джек
Взял вожжи.

Солнце тут уже взошло,
И молоко рассветного тумана
Над фермой расплесканным лежало.
Джек тем же, чуть недоуменным, взглядом
Смотрел на доски красного амбара,
На тучные, богатые поля,
Которые едва стряхнули зиму,
И новый год в них новый начал труд.
Мальчишка должен будет кончить сев.
Подул он на ладонь, уставясь тупо
В лицо жены. Откашлявшись, сказал:
„Ну, Минни, прощевай. Не нанимай
На жатву батрака, не написав мне.
А если вновь придет громоотводчик,
Скажи, что нам не нужен их дурацкий
Громоотвод.”

Пытался он припомнить
Еще дела, но не припомнил дел.
Она вдруг обняла его за шею
Большими красноватыми руками.
Ее поцеловал он неуклюже,
В повозку влез и тронул лошадей,
Когда она уже зашлась слезами.

Вверху, в горах, где боровы худы,
Острохребетны, как индейцы, дики,
В апреле лавр цветет — и если ночи
Там холодны, как водяная пыль
Над горными ручьями — солнце в полдень
Достаточно, чтобы вогнать вас в пот.

И водятся престранные там люди —
Худые долговязые мужчины, —
Забытые, потерянные зерна,
Рассыпанные первой волной
Стремившихся на Запад, и случайно
Пустившие в глубоких щелях корни
Там, где разросся этот чертов лавр.
Тут сохранили буковую скрипку,
И речь стародавней и соленой
Баллад английских говорили тут⁵⁵.
Речь нашей первой, нашей бесшабашной
Невежественной юности, хлебавшей
В те годы кукурузный самогон.
Тут берегли ружье и сквородку,
И старую запальчивость, и старый
Обычай мстить, и убежденье в том,
Что лучше чужака убить на месте.
Но если не застрелят чужака,
То окружают гостеприимством горцев.

У девушек там быстроцветна юность,
Как рододендрон — юность пионеров,
И с черными зубами — старость их.
Но если кто мечтал о пионерах —
Их тут найдет такими же, как раньше,
Быть может, сыновей их или внуков,
Но тех же самых — остров пионеров
В том мире, где уже им нету места.
Первооснова, каломель, скала
Всех клановых пороков и достоинств
Со звуком скрипки и жестоким Богом.

Вот самый наш последний гарнизон!
Они обстреливали первый поезд,
А также обстреляли первый форд.
Но это не спасло их. Вымирают
Они с годами, иль образование
Приобретают — что одно и то же.
Не лейте романтических слез над ними!
Но радио когда возьмет и купит
Последний самогонщик, и дикарка
Последняя, что рыщет в чащах зайцем,
Цивилизуется, по почте заказав
Готовую одежду — то исчезнет
Америки какая-то частица,
И фильмам всем ее не воскресить!

Они, что нынче странны и ненужны,
Не поражали так в шестьдесят первом,
Еще до фордов, до эпохи фордов.

Ружье через плечо — и Брекинридж
Лука скользит через лесную зелень
По направлению к городу. Юнец
С притушенным огнем в глазах, нескладный,
Чьи ноги, наподобье мокасин,
Шушукались с извилистою тропкой
Он в город шел, и в драку лезть не думал,
Но, как всегда, он был настороже.
Когда он стал, чтоб зачерпнуть воды
В ручье меж обомшелыми камнями,
На миг могло казаться — он беспечен,
Но стоило за ним чуть хрустнуть ветке —
Он весь ушел в ружье и в жесткий взгляд.
Прошло мгновенье длинное, как смерть,
Пока он понял, кто это.

„Эй, Джим“, —
Сказал он, опустив ружье. И лавр
Чуть шевельнув, Джим оказался рядом.
Двоюродные братья друг на друга
Взглянули — и казалось, что их ружья
В натянутом молчании смотрят тоже.
„Лука, ты в город?“

„Да, как видишь, в город.

А ты?”

„И я как будто тоже в город.”

„Похоже, что за белками?”

„Как знать.

А ты идешь за белками?”

„Я тоже

Охочусь, может статься.”

„Белок мало

Поблизости от города.”

„Да, мало.”

Джим колебался. Взгляд его был остр,

А жилистой рукой затвор он гладил.

„Мы, может быть, пойдем немного вместе.”

Лука не шевельнулся. Взгляд во взгляд.

Но равнодушно он заметил:

„Кэлси,

Я слышал, в эту ввяжутся войну.”

Джим медленно кивнул.

„Я тоже слышал.”

Следил он за рукой Луки на спуске.

„Я тоже, может, воевать пойду”, —

Сказал он и скользнул рукой к курку.

Лука маневр заметил и сказал:

„Мы этих Кэлси жалуем не очень.”

Глаза его на мушку опустились.

Джим улынулся. „Да и мы не очень”, —

Сказал он, руку водворив на место.

Теперь они отправились вдвоем.

Не проронив ни слова, шли с полмили.

Джим наконец спросил, слегка помявшись:

„Ты знаешь, с кем мы будем драться там?

Я слышал — с англичанами, не правда ль?”

„Да нет”, — сказал презрительно Лука.

Он сдвинул брови: „Я, по правде, сам

Не очень разбираюсь, кто они, —

Признался он, — но факт, не англичане.

Какие-то бродяги-чужаки,

Послышалось мне — янками их звали,

Но это не индейцы.”

„Все одно, —

Успокоительно промолвил Джим, —

Для нас, ведь, только важно, чтобы Кэлси

Сражались на противной стороне.”

Был полдень, и рота солдат подходила к вокзалу.

Их в городе ждали. Стояли на улице толпы.

Портреты Линкольна и Хэмлина, лозунги, флаги.

Дурные мальчишки орут, на деревья взобравшись,

Хорошие мальчики в чистеньких воротничках
С блуждающим взглядом повисли на крашенных белых калитках,
Им хочется тоже орать, как Четвертого июля.
Жестянку с шутихами кто-то к хвосту привязал
Дворового желтого пса; завизжал он и с шумом пустился
По улицам.

„Вот, посмотрите — Джеф Дэвис бежит!” —
Послышался выкрик. И все засмеялись, и дети,
Друг друга тузя и визжа, задыхались от смеха.
„Смотрите — Джеф Дэвис бежит —

— вот он, старый трусливый Джеф Дэвис!”
Но замер вдруг смех, и опять разразился он странным,
Нежданным — то резким, то полупридушенным воплем,
Когда услышала толпа, как перед строем солдат
Хилсборский оркестр заиграл „Джона Брауна тело”⁵⁶.
Я СЛЫХАЛ ЭТУ ДУШУ ТОЛПЫ, ЧТО СО СТРАННЫМ УНОСИТСЯ
СТОНОМ,
ОН ПОХОЖ И НА СМЕХ, И НА ПЛАЧ, И ОН СТАВИТ В ТУПИК
МУДРЕЦОВ.

Я СЛЫХАЛ ЭТОТ ГРОМКИЙ ОРКЕСТР.
„ДЖЕФ ДЭВИС, ТЕБЯ МЫ ПОВЕСИМ НА ЯБЛОНЕ КИСЛОЙ!”⁵⁷.
Двойной перебой барабанов, двойное визжание дудок.
„ДЖЕФ ДЭВИС, ТЕБЯ МЫ ПОВЕСИМ НА ЯБЛОНЕ КИСЛОЙ.”
Удары звенящих цимбал, корнетов гортанные зовы.
„ДЖЕФ ДЭВИС, ТЕБЯ МЫ ПОВЕСИМ НА ЯБЛОНЕ КИСЛОЙ.
НА РИЧМОНД, СОЛДАТЫ, СОЛДАТЫ, НА РИЧМОНД, ВПЕРЕД!”
„Эй! Вот они строем идут! Эй! Эй!”
И шли они... перед оркестром ступал барабанщик,
Вертя с набалдашником жезл, и важен он был, как индюк.
За ним трубачи и солдаты. Был вид барабанщика брав.
Но мальчикам нравился больше всего капитан.
Он выглядел, как капитан на картинке, точь в точь,
В наплечных ремнях и при сабле, с суровым лицом,
Не просто он Генри Ферфилд, — он теперь капитан;
А Генри Ферфилд с беспокойством на саблю смотрел
И Бога молил, чтоб случайно не выронить сабли,
Забывая о том, чтоб на строгом лице у него
Действительно строгость была, а не просто надутость.
„Эй! Вот они строем идут! Вот Джек, а вот Чарли. Эй! Эй!”
Тугое и новое знамя несет знаменосец.
Ряды и ряды и ряды новобранцев идут
И машут, одетые в узкие синие формы,
И плечи уже им натерли их новые ружья.
Всего-то военные формы им дали неделю назад.
Три месяца, день изо дня, муштровали их в штатском.
„Вот Чарли! Вот Хэнк! Эй! Эй! Эй!”
На Ричмонд, ребята! И трижды Линкольну ура!
И трижды ребятам ура! А Дэвису три у-лю-лю!
И паршивым мятежникам!”
„ДЖЕФ ДЭВИС, ТЕБЯ МЫ ПОВЕСИМ НА ЯБЛОНЕ КИСЛОЙ!”

Джек Эллиат, шаг отбивая, за синими спинами видел
Расплывчато-мутные лица. И все эти лица он знал.

Вот старая Кобб с бородавкой и в ситцевой шали,
Вот куций Джордж Фримэн, вот сестры изящные Такер,
И все они машут, кричат — и внезапно все странными стали,
Совсем изменились — он лиц этих вовсе не знал.
Как будто лицо у толпы — одно, а не множество лиц.
Шли в такт его ноги в строю, но ему показалось,
Что ноги совсем не его, что высосан начисто мозг.
Но впрямь уходили они, и шумел им вослед городок,
И Генри Фэрфилд впереди со своею шел саблей;
Все было таким, как он тысячи раз представлял
В последнее время, но иначе все ощущал он.
„На Ричмонд, солдаты, на Ричмонд, на Ричмонд, вперед!”
Вот мать и отец. Вот сестра его Джен. Вот их дом.
Джен машет флажком. Он смеется и их окликает,
Но крик его, в горле застряв, звучит, точно голос чужой.
Все слишком поспешно, все слишком в большой толкотне, —
Совсем по-другому храпящих коней Фазтон
Кидает на черные волны. А тут — это просто минута
Поспешно-немая, когда механически ноги
Шагают в строю и не чувят земли под собой.
Белеет лицо у толпы. Красножилый и потный затылок
Пред ним. „Все на Ричмонд!” — качание синих плечей,
Крик, флаги, и кто-то целует его — Эллен Бэкер —
В слезах она, рот ее мокр, целоваться не хочет он с ней.
Чего она лезет? Вокзал. „СТОЙ!” — слышится. Мама и Джен.
У машиниста в петлице флажок. Через весь паровоз
„На Ричмонд, вперед!” — тут и там понаписано мелом.
Не время теперь говорить. И мама смертельно устала.
Ах, лучше бы мне не идти! Нет, я рад, что я тоже иду.
Проклятый оркестр заиграл „Джона Брауна” вновь.
Хоть бы они перестали — уж лучше бы ехать скорей!
Ряды приказали сомкнуть. О Боже, кто выпустил Нэда?
Я им говорил, чтобы заперли Нэда в подвале,
Но выпустил кто-то его, а может быть, вылез он сам, —
Уж очень разумный он пес. — „Не смей, говорят тебе, Нэд!
Хорошим будь псом, отойди.”

„ПРОЩАЙТЕ, РЕБЯТА, ПРОЩАЙТЕ!
ДЖЕФ ДЭВИС, ТЕБЯ МЫ ПОВЕСИМ!”

И взвыл паровоз. Поезд тронул, набитый битком.
И Нэд увязаться хотел, но его не пустили,
Его отпихнули ногой — он даже не понял, за что.

В совсем другой колонне Керли Хеттон
Уже натер мозоли на ногах
И застонал от мысли, что он должен
Тащиться дальше — ноги у него
Не для похода, — ноги знали это.
Кубышкой ноги, сам, как колобок,
Большое добродушное лицо,
Округло-изумленно-голубые
Глаза, похожие на кукольные глазки, —

Уставясь на дорогу, ненавидят
Ее за то, что так она длинна
И так пыльна.

Его не огорчало
Все остальное. Он не возражал,
Что сделался мишенью вечных шуток
Всего полка. Привык давно он к шуткам –
Над толстяками принято трунить.
Должно смеяться толстое дитя,
В мальчишек толстых вечно тычат пальцем.
Но даже и с ходьбой, и с толщиной,
Пожалуй что, совсем не так уж плохо
Он на войне забавной этой жил,
Когда мы примем во внимание все,
А в частности одно из обстоятельств.

И вспомнил он: два месяца назад
В гостиную он у 'Везерби в усадьбе,
Где новую звезду девицы шили
На новый флаг для первых добровольцев.
Он до того почти не думал драться, –
Он слишком был ленивым. Если хочет
Виргиния откалываться – дело
Ее, хоть скверно разбивать Союз –
Семидесятилетнее хозяйство.
Но представлял легко он чувства тех,
Кто был худым и ненавидел янки.
Немало знал он симпатичных янки,
Но люди ему нравились вообще,
Хоть он стеснялся девушек и женщин.
Любил их вид, любил он их походку,
Их голоса, хорошенькие рты.
Но что-то каждый раз его стесняло,
Когда он рядом с ними был.

Он слишком
Был толстым, добродушным и уютным,
Застенчивым – для романтических грез.
Фарфоровые куклы на камине
Ждут тонких настоящих кавалеров, –
Тщеславны все фарфоровые куклы,
И к толстым купидонам все они
Безжалостны – не исключая Люси
Все эти годы, а она из кукол
Фарфоровых – прекраснейшая в мире.
Поэтому, когда она сказала,
Он не поверил этому сперва,
Но серебром и пламенем и сталью
Она была в дни новых звезд и флагов.
Блеск стали и огонь – для вражьих орд,
А серебро – для тех, кто их прогонит.
И он у ней на знамени и в сердце,
Хоть все еще не верит, несмотря
На письма все, носки и поцелуй,

Который получил он на прощанье.
Но факт был фактом, и объект насмешек
Стал наконец мужчиной, стал влюбленным,
Любимым стал фарфоровою куклой,
Прекраснейшею в мире. И за это
Он был готов идти на край земли
И десять перебить миллионов янки.
„О Боже, после свадьбы нашей – ночь
Прохладная над садом – в синем платье
Сидящая там Люси под большими
Всплывающими звездами.” В лице
Его забавно отразилась гордость,
Любовь и боль от стертых ног. Сосед
Подметил и расхохотался. – „Керли
Решил, что время осушить стаканчик!
Тут жарко станет, Керли, толстякам!”

Над домом, где Генри⁵⁸ живут, по вечернему красному небу вороны
летают и каркают.

К постели прикована Джудит. Она наблюдает за ними сквозь стекла
туманные старых очей.

Июль – точно фермер, иссушенный солнцем, дубленый (пора для
Виргинии жаркая),

Он пилит сухие стволы пилою-цикадой, скрипящей во мгле
тепловатых ночей.

Но руки у Джудит прохладны, хотя середина лета, хотя опаляющий зной,

Прохладны, немые и хрупкие, гладкие, как пожелтевшие ткани,
как потускневших колец холодов.

А годы идут у кровати, как будто падают воды, как будто вращают
колеса мельницы водяной.

Она на судьбу не пеняет, лежа в спокойной дремоте, и вспоминает юность,
вслушиваясь в поток.

Было похожим время на петуха на красной заре – и было похожим
на стрелок усталых ход.

Сколько она повидала, помнит тела и лица, как старились молодые,
вереницу рождений, смертей.

Она уже знает, что скоро должна все это оставить, она не боится умчаться
с потоками этих вод.

Но уходить не хочет, пока земля, вся в морщинах, висит, как усталый
ребенок, у ней на груди, и покамест есть молоко для земли у ней.

Наверно во сне умрет она, ее затопил сейчас уже старости смертный сон.

(Военный горн у Потомака, тебе не достичь ушей ее, медью лирической в
толпящейся тьме звеня).

Но это совсем не важно. Своим чередом хозяйство пойдет. Похоронят
дети ее в самом лучшем платье. И плуг будет также ровно в борозду
погружен.

(Но почему не терпится вам, боевые кони Шенандоа, затапывать эти
ничтожные искорки – последние брызги огня?)

Здесь ничего нет – только ручей перед домом Генри, ферма, в постели
женщина, людей деревенские лица.

Для вас ничего тут нету. Ла Хэй Сент⁵⁹ казался тоже тихою фермой,
казалось – вокруг нее мирный край.

И Лексингтон⁶⁰ выглядел тоже обычным поселком, похожим на сотни
скудных местечек, где люди должны трудиться.

И в Бленхэyme⁶¹ урожаи выращивали на славу, пока не пришли солдаты,
испортившие урожай.

И в сумерки красный вечер вливается, и вороны вернулись к себе
на ветки, горячие всходят звезды медленно на небеса.

Теперь на холме прохладней, и в лагерях прохладней, там, где солдат
желторотых ждет неуютный привал.

Где Север и Юг – слепые борцы двух огромных армий – сошлись к
забытому дому, точно железные клещи с обеих сторон висят,

И Джонстон уже из Долины усталые гонит бригады, чтобы они поспали,
покуда на Борегаара Мак-Дуэлл еще не напал.

На бой у Булл-Рана явились взглянуть конгрессмены,
Бесплатные любят спектакли смотреть конгрессмены,
Они захватили с собой своих жен и коляски,
Они захватили с собой бутерброды и речи,
Они захватили цилиндры и преданность делу,
А кое-кто даже с собою взял чуточку виски,
(А нет утешительней вещи, чем чуточка виски,
Когда конгрессмены на солнце, на самом припеке!)
С ораторским ртом и с большой бородой конгрессмены,
Побритые гладко, солидные в вебстерском стиле,
На бой гладиаторов вышли взглянуть конгрессмены,
Подобно богам Илиады укутаны важно
В священное облако мудрости – одеколона, воды туалетной,
Бесплатных сигар, демократии, голосованья –
Все это внушительный вид придает конгрессменам!

(Открыты ворота, и в бронзе торжественным маршем
Выходят бойцы на арену смертельного цирка.
„ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЦЕЗАРЬ!” – вздымается клич, потрясая
Над ложею Цезаря тканей натянутых пурпур).
„ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЦЕЗАРЬ!” ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, :
конгрессмены!

Идущие умирать
Приветствуют вас, конгрессмены!"
Одиннадцать штатов –
Нью-Йорк и Род-Айленд и Мэн,
Коннектикут и Мичиган, и поднявшийся Запад
Приветствует вас, конгрессмены!
Пестры, как фламинго, в пурпуровых фесках зуавы
Приветствуют вас, конгрессмены!
Юнцы-новобранцы, еще в своей штатской одежде
Приветствуют вас, конгрессмены!
Второй Висконсинский, в сером сукне домотканом
Приветствует вас, конгрессмены!
Стрелки Гарибальди с пером петушиным на шапках –
Приветствуют вас, конгрессмены!
Охайский второй, в бедуинских холщевых повязках –
Приветствует вас, конгрессмены!
Седой Гейнцельман⁶², со своею бригадою Шерман⁶³,
И Риккет, и Гриффин⁶⁴ в громах обреченных орудий,
И Сайкса бывалые, крепкие кадровики,
Что вместе с пехотой морской прикрывали отход,
Бернсайд и Вилкокс, и Мак-Доуэлл, и Портер, и вся
Лавина густой неумелой толпы ополченцев –
Мальчишек в желтых и красных зуавских штанах,
Которые в ранцах тащили банки с вареньем,
Которые грезили стать генералами сразу,
Вразброд шагавшие роты, где каждый солдат
Был прежде всего избиратель и сам по себе,
Нестройные эти полки, где каждая рота
Не так, как другие, – по-своему шаг отбивала,
И новых бригад неуклюже-громоздкие массы,
Что станут, разъявшись на части, червями войны,
Огромная армия эта, готовая драться,
Но неискушенная вовсе в приемах войны,
Которым успели ее обучить вполовину,
Готовая гибнуть, как юный солдат на картине,
Пока еще есть у сраженья знамена и сабли,
И в панике также готовая слепо бежать,
Приветствует вас громовым и раскатистым криком –
Привет тебе, Цезарь! Приветствуем вас, конгрессмены!
Привет вам – богам Илиады – вершителям боя,
Коляски вы взяли с собой и свои бутерброды,
Чтоб дух наш поднять!

Вы явились на битву с речами
И в тогах, что пахнут героизмом и одеколоном,
Вы сами – народ, и вы – подлинный голос народа.
Окончится бой, и в колясках своих вы умчитесь
В укромное место, летя сквозь лавину бегущих

Разбитых отрядов, бросающих в панике ружья.
Пришли поглядеть на бои гладиаторов вы,
Но как мудрецам подобает глядеть — с возвышенья,
И вы не увидите длинной людской полосы,
Как палые груши разбросанных всюду солдат
У дома, где Генри живут, не увидите, как
Дыханьем сухим, пожирающим Джексон⁶⁵ дохнет,
Подобно гранитной стене подавляя атаку:
ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЦЕЗАРЬ! Приветствуем вас, конгрессмены!
Вы дымом сигарным укрыты, как облаком боги,
И если от нас вы не так же легко удалитесь
И богоподобно, как вы появились пред нами,
То это неважно.

Однажды задира Джо Хукер,
Которому создал так много излишних врагов
Его необузданный едкий язык, — заявил:
„Кто видел когда-нибудь мертвого кавалериста?“
Правдива ли фраза или нет, но острее иглы!
Никто не слышал, чтобы даже и он говорил —
„Кто мертвого видел хоть раз конгрессмена?“
А был у него исключительно острый язык.

День выдался жаркий и тихий. На маленьких фермах,
Которых так много раскидано в этом краю
Дубов и заборов, извилистых речек и сосен, —
Кто рано проснулся, те стали в дверях и глядят
Минуто-другую на длинные тени рассвета.
Где тени — всегда холодок, но стекло синевы
Сейчас уже пышет жарой, и такой, от которой
Становятся волосы дыбом у вас на руках.
А люди вздохнут и опять возвращаются в дом.
„Похоже, что день будет знойный, ребята“, а в мыслях
Холодного кваса кувшин, что стоит у плетня.

Чуть свет Джудит Генри проснулась. Был старческий сон
Коротким у ней, а терпенье ее было долгим.
Ждала она нехотя завтрака, смутно дивясь
Тому и сему. Тут какие-то люди вчера
Просили воды. Она слышала — это солдаты.
Кто знает, быть может и так. Домочадцев ее,
Видать, это очень волнует. Но ей ни к чему
Тревожиться из-за солдат и подобных вещей.
Волнуется из-за всего чересчур молодежь.
Придет ли кому-нибудь в голову здесь воевать?
Ночь славно прошла у нее. Быть хорошему дню.

В полутора милях, где Каменный мост,
Из пушки уже северяне открыли стрельбу.

А в милях шести распланировал битву Мак-Доуэлл⁶⁶,
И план был хорош, если можно планировать битвы.
Там вылазку он намечал, а тут фланговый марш,
Чтоб смять левый фланг Борегара, его окружив,
Учтя, что у Джонстона⁶⁷ есть восемь тысяч бойцов,
И Патерсон⁶⁸ в нескольких милях их должен сдержать,
И в случае, если они ускользнут от него,
Не все еще будет потеряно.

Если заняться
Стратегией и деревянные кубики двигать
По карте, то славно все выглядеть будет. Отлично
Себя деревянные кубики будут вести.
Искусство войны – словно кубики, двигать людей
И ставить их в нужное место в назначенный час.
Но время пройдет, пока кубиком станет солдат.
В поля и в ручьи и во рвы превращаются карты,
И кубикам будут мешать. Застревают они
В кустах. Устают, отдыхают и рвут ежевику,
Нельзя их рукой ухватить и поставить на место.
Как точно и ровно цепь кубиков слева заходит,
Другую цепь кубиков взяв в окружение и сн яв.
Все это так ясно на карте, так ясно в уме.
Но медленно по назначенью доходят приказы,
И медленно кубики-люди меняют места,
А сдвинувшись, времени много теряют в пути,
И звезды теряет свои генерал. Умирают
Вне правил военной стратегии кубики-люди,
И все потому, что привыкли людьми они быть,
Они не привыкли еще быть частями складными.
Мак-Доуэлл – отнюдь не дурак, не задира тупой,
Он знал свои карты, он знал, что войска не готовы
Ни с той, ни с другой стороны. Но уже конгрессмены
С народом мечтали о бое, их руки давили
На плечи ему, понуждая к решительным мерам.
Он знал, что он в этой игре свою голову ставит,
Как Борегар с Джонстоном головы ставят свои.
Итак, он играл, как умел – и теперь не лежит
Почетно под куполом крутым на Риверсайд Драйве⁶⁹.
А если бы Грант в этот день был на месте его
С такими же картами – очень возможно, что Грант
Сыграл бы немногим удачнее.

Эрвин Мак-Доуэлл –
Поэтому ныне забытый почти генерал,
Вступивший в игру, но в игре не нашедший удачи
И случая снова сыграть не имевший уже.
И все же удачливых он игроков не порочил
Ни разу, ни после в записках двусмысленно-колких.
Но если на грустных полях могут лавры расти –
В районе Булл-Рана, Каб-Рана и Кэт Херпин Бенда –
Тогда работающий твой дух заслужил свою долю
Тех лавров за то, что ты честно играл, как умел,

И чувствуя холод насильно навязанных карт,
Ты жизнью солдат не швырялся как дурень драчливый,
И двадцатилетье спустя оскорбленно не корчил
Ты Наполеона. Тем временем Эрвин Мак-Доуэлл
За фланговой длинной своею колонной следил,
Что шла Воррентаунским трактом в рассветной прохладе.
Штабным он сказал: „Господа, это крупные силы!”

Большая ружейная батарея начинает брызжащий злобой разговор
с каролинскими отрядами Эванса. Ряд серых мундиров, вовлеченных в
стычку, кинулся вперед на другом конце поля Булл - Рана — бойцы не-
вольно пригибают голову, когда над ними в воздухе проносится паровоз-
ный рев, и ждут, чтобы впереди, в дубовой роще замелькали синие мун-
диры.

Борегар, чье бретонское сердце было схоже с французской гравюрой
С панорамой сраженья на саблях, под которой написано: „Слава”,
Милый, пылкий, причудливый, яркий, как его необычное имя,
С тихим лысым Джо Джонстоном вместе к Митчелс - форду летели
галопом.

Небольшой генерал, педантичный, с виду — школьный учитель,
упрямый,
Точно горный кремль — наступления не всегда проводил он удачно,
Но зато отступая в сраженьи — как затравленный волк был опасен.
Тень косая, что чует капканы и ловушки с отравленным мясом,
Останавливаясь по дороге, чтоб на первую прыгнуть собаку,
Подбежавшую неосторожно до того, как поспеет охотник.
Грант сказал о нем как-то:
„Я испытывал вечно тревогу, если Джонстон за линией фронта;
Не тревожился я вполонину, если это был Ли предо мною.”
И друзей целовал он, как Нельсон, как уже мы давно разучились,
И мог вызвать „ура” у отрядов, отступавших шестую неделю.
И другой современник — о нем же, уже после войны, отзываясь,
Озадачен был тем же сравненьем, неизменно на ум приходящим,
Когда судят о Сдержанной шпаге, — когда споры о Ли затевают:
„Да, великим был Ли генералом, и к тому ж человеком был добрым,
Но не помню, чтоб мне захотелось заключить его нежно в объятия,
Ну, а Джонстона очень хотелось!”

Эти меткие два замечанья
Эпитафией славной могли бы послужить для шотландской могилы,
Если б все ограничилось этим.

Но не все ограничилось этим.
Принялся, как другие, он напоследок строчить мемуары,
Объясняя, что он совершил бы, если б только не случай, не Дэвис
И не дюжина злых поворотов колеса генеральской фортуны.
Тут сказала другая натура, тут сказался шотландский репейник,
Но под старость все это случилось.

Мне его бы увидеть хотелось
О ту пору, как быстрым галопом он бок-о-бок скакал с Борегаром,

Когда школьный учитель с бретером совещались о линии фронта!
Джексон к левому флангу направлен — ожидается слева угроза,
Борегар был однако уверен, что удар нанесен будет справа,
Так по плану его выходило — по толковому плану, но если
Уже сдвинулись кубики с места, то они будут двигаться дальше.

По-старому в доме Генри часы на кухонной стенке, обшарпанные и коричневые,
без четверти десять на них.
Но Джудит Генри не слышит боя часов, а слышит, как рев нарастает в небе,
как будто обрушились бревна, сложенные в штабеля.
Ее переносят с постелью в овраг у Садлейской дороги — там безопасней, и,
может быть, бой, проходя стороною, оставит ее в живых.
Из гнезд вылетают вороны, напуганы странным гулом, и, как почерневшие
листья,
носятся в небе с криком, кружась, суетясь, юля.

А там, в Сентервилле, солдаты трехмесячных сборов —
Там полк Пенсильванский, Ньюйоркская там батарея,
Им слышится грохот орудий, открывших пальбу.
Однако они на три месяца только солдаты,
Сегодня как раз их призыва окончился срок,
Они бы сражались вчера иль на прошлой неделе,
Тогда они были на службе — теперь уже нет.
Окончен их срок, и для них никакого нет смысла
Сражаться тут дольше, чем им полагалось сражаться.
Собрав свои вещи, решили они разойтись по домам
И тихо ушли от растущего рева сраженья.

Лука Брекинридж, притаясь у заставы, увидел,
Как чучела в синих тужурках, в широких штанах
При треске винтовочном падают на земь, как белки.
Сиял он, когда ему пуля порвала рукав.
Доволен был он, хоть военную службу ругал:
До черта приказов, и честь отдавать надо всем,
До черта кругом офицеров, которых нельзя,
Когда они грубо с тобой говорят — пристрелить,
Нельзя потому, что они — офицеры! Не дурь ли?!
Зато он вот эту стрельбу хорошо понимал!
Когда бы не эти вонючие подлые пушки —
Нечестно по людям палить из огромнейших жерл,
Но если о пушках забыть — это славная драка!
Он взял высоко... надо снизить... теперь в самый раз...
Хоть трудно промазать в людей для того, кто привык
По белкам стрелять. И, сощурился, почти он не слышал
Начальника голос. Весь лес перед ним был набит
Проклятыми Кэлси, которых он должен ухлопать,
И все эти Кэлси, как чучела — в синих тужурках.

Он этим прекраснейшим зрелищем был умилен.

Первая синяя волна под началом Бернсайда отбита от заставы: она немного пятится, затем, справившись, вступает в схватку со свежей бригадой Портера.

Би и Бартсу спускаются с плато, на котором стоит дом Генри, серые и ореховые ряды топчут срезанные пулями дубовые листья, шлепают по воде, переходя вброд ручей на ферме Йонга.

Высокий чернобородый Би проезжает на крепкой лошади. Его длинные черные волосы развеваются.

В красных рубашках артиллеристы Имбодена⁷⁰ расставляют ору — дия у дома Генри, чтобы открыть ответный огонь по гаубицам и пушкам Риккета и Гриффина.

Воздух — как лист железа, который беспрерывно и глухо сотрясается.

Шиппи — невзрачный солдатик со взором крысиным —
Видел, как кто-то бежал впереди и размахивал саблей.
Следом за ним все бежали на воющий звук,
Что протекает холодной водой по хребту.
Боже, теперь я пропал! И крысиные глазки
Мечутся так безнадежно по всем сторонам.
Если б он мог ускользнуть, если б только он мог
Вид показать, что он ранен, а после отстать,
Спрятаться где-нибудь тихо за дубом большим.
Только ничто не поможет. Ничто не поможет.
Час его, видно, настал. Никуда не уйти.
БРАТЦЫ, В АТАКУ! КОНЧАЙ ИХ ШТЫКАМИ, РЕБЯТА!
Тут он увидел ограду. За мирной оградой
Серые пятна людей, а несметные пчелы
Жалили воздух. О Боже! Капрала в висок!
Он не стрелял, с перепугу стрелять он не мог,
Ноги его понесли, их ничем не сдержать,
Нечем сдержать и мочи, что бежит по ногам.

С трудом скользя с отлогого холма
У дома Генри, Керли Хэттон глянул
На синеву спокойную, что висла
Высоко над грядкою низких сосен.
Как безмятежна заводь неба! Вяло,
В изнеможеньи сонном, он представил —
У Везерби в усадьбе, Люси белых
И жадных лебедей у пруда кормит.
Бьют крыльями они и тянут шеи,
А в волосах ее — дремотный запах.
— РЕБЯТА, ПОДТЯНИСЬ! НЕ ОТСТАВАТЬ!
МЫ В БОЙ ИДЕМ! Его кубышки — ноги
Пошли еще быстрее. Люси — Люси —

На этот раз разбиты бригады Би и Бартоу — весь день повторяется то же самое — сражение и бегство — сражение и бегство — в этот день одержит победу тот из противников, кто сможет вынести боль от тисков на мгновение дольше своего врага.

Борегар и Джонстон спешат на линию огня — Мак-Доуэлл уже направился туда.

Шахматисты опять обратились к маленьким чурочкам на трясущейся доске — к фигуркам, которым не под силу видеть всю доску.

Кубиковый план провалился, никакого плана больше нет, а есть только запачканные кровью, бьющиеся кубики — окровавленные и почерневшие люди.

Джек Эллиат с трепетом в сердце услышал, как грохают пушки, Когда их услышал впервые. Он знал — скоро в дело их бросят. Старался он битву представить. Они победят, без сомнения. Но что он почувствует? В жизни он мало еще убивал. Лишь уток да кроликов, правда, но утка и кролик — не люди, Еще не убил человека никто у него на глазах. Не видел он, как умирают, ну разве что дядюшка Амос, Но дядюшка Амос был старый. Он видел раз красную жижу В грудном оперении утки, но этим он не был смущен. На миг тошнота подступила, когда он припомнил об этом. Потом, на земле очутившись, с локтя они лежа стреляли, Но это нисколько не страшно — стрелять, как стрелял на ученьи. Стрелял ли противник в отместку — ответить он, право, не мог. Был каменный мост перед ними, мятежники, может быть, были За этим мостом, и кто знает — он, выстрелив, может, в кого-то Из них угодил, хоть не очень на это похоже.

Поодаль

Кашлянув, повернулся солдат и, грохнувшись навзничь, затих. И отзвуки этого кашля с минуту под ложечкой где-то Джек Эллиат чувствовал. Впрочем, и это прошло, и казалось, Как будто обычно и просто поодаль упал человек. Кругом все казалось спокойным, когда бы не щелкали ружья И не сотрясался бы воздух от дальнего грохота пушек. Потерь у них не было больше, и через короткое время, Поднявшись, пошли они дальше. Мятежники, если в замостьи И были, то, видимо, больше мятежников не было там. И вновь зашагали солдаты, идут, а куда — неизвестно, Вперед маршируют, — солдаты всегда маршируют вперед. Одно было как-то неловко — уйдя, оставлять человека, Лежащего в травах измятых, — он кашлянул рядом тогда, На синей его гимнастерке краснело большое пятно. Пятно, как на утке убитой. Почти он не знал человека, Но все-таки было неловко его там оставить лежать.

Разбитые остатки полков Би, Бартоу и Эванса текут назад в неглубокий овраг за рощей — сломанные кубики, разнесенные в щепы войной — две тысячи потерявших голову людей, которые откатываются под

своими дрогнувшими знаменами и при хриплых проклятиях и окриках своих офицеров, как овцы в узком проходе.

Би, объятый яростью, пытается их задержать, он привстал на стрелках, высокий, как дерево, а синий поток Севера переливается через край оврага и все течет и течет.

Он замахивается саблей – вспыхивает игрушечный блеск – он укалывает на серую плотину на краю оврага – серую плотину из виргинцев с мушкетерами наперевес, – стоящих молча и наготове.

– СМОТРИТЕ, РЕБЯТА, ВОТ БРИГАДА ДЖЕКСОНА СТОИТ, КАК ГРАНИТНАЯ СЕНА! СТРОЙСЯ ЗА ВИРГИНЦАМИ!

И они выстраиваются за виргинцами – там и Джонстон, и Борегар – шотландский школьный учитель хватает знамя и несет его, и собирает вокруг себя Четвертый Алабамский, а французский бретер собирает солдат взрывчатыми вспышками красноречия – его конь убит под ним, но он снова в седле!

И серый гранитный вал сдерживает напор, как тугая плотина, пока усталые солдаты сзади нее переводят дух – и чудаковатый, любящий сосать лимон бывший профессор тактики⁷¹, который видал, как Джона Брауна вешали в домашних туфлях, и вознес пресвитерианскую молитву за его окаянную душу, обзаводится новым прозвищем, которое останется за ним, пока стоит его профиль, вырезанный на гранитной горе⁷² – прозвище, у которого тот же звук, что у камня о резец.

Тебя наконец переносят, в растерянности и смятении, обратно в твой маленький домик, где в каждом бревне, Джудит Генри, ты знаешь каждый сучок.

Опасное это место, но нет уже мест безопасных, и ты между двух артиллерий, и шум неотступный доходит до ослабшего слуха, и в раковине постели ты гулу моря внимаешь.

В доме продырявлены стены, и в кухне часы коричневые наглухо заткнуты пулей, и красные капли варенья сползают по полке буфетной, там, где осколком снаряда отбит у буфета кусок.

Но равнодушные пушки не ищут тебя, Джудит Генри, они мимоходом толь: – ко тебя едва задевают, а большего и не надо, чтобы стремительно ранишь пять раз незащищенное тело, и беспомощно ты умираешь.

Черный Свист бил землю копытом.
Вингейт его тронул – и конь затих.
Казалось – бульдоги грызли сердито
Железные кости в миле от них.
Над лесом повисла дымная тьма,
Без пламени все затянуло чадом.
Будто гуденье шло от холма,
Будто рожала женщина рядом.
Так стоял черноконный отряд,
С утра не зная, что делать с собою.

Где-то в железный обруч стучат,
А тут об исходе гадают боя.
Бристол уже видел себя в мечте
С девчонкой-сластеной на койке узкой.
Шепли игральные кости вертел,
Хлестко ругался Стюарт по-французски.
„Mille diables”, а янки гром порази!
Сколько еще нам торчать в грязи?
Коттер запел, усмехаясь чуть-чуть:
„Хочешь пожить — в кавалерии будь!”
„В конном Стюарт и Вэд Хэмптон отряде,
А янки запросят вот-вот о пощаде!”
„А Бо потерял нас!”
„Без этих острот!”
„Когда пожелает — тогда и найдет!”
„С шести мы до двух уже точим тут ляды.”
„Виргинские это все выкрутасы:
Не верят они никогда джорджианцам,
А мы, как виргинцы, умеем сражаться!”

Говор тревожный бурлил в эскадроне,
Даже неладное чуяли кони:
Фыркали, прядали возбуждены.
Слышно „ура” — только с чьей стороны?
Помятся янки? Отходят ли янки?
Люди гадают, томясь на стоянке, —
Пусть бы вперед, или вспять, иль в кровать
С девкой какой-нибудь — только б не ждать!

На адъютанта на потной кобыле
Взгляды их злые направлены были.
Этот, видать, побывал уже в деле,
Порох понюхал под грохот шрапнели,
И оттого у них взгляды горят
Злостью и завистью малых ребят.
Слышит Вингейт — по команде походной
С места сорвался отряд, как стрела.
Саблю Вингейт прицепил посвободней —
Грудь ему стала для сердца мала.

Уже от Керли Хэттона осталось
Одно сухое горло с парой черных
И обожженных рук, что непрестанно
Стреляют из горячего ружья.
Зачем стреляют — он уже не помнил.
Отряд, взбежав, изрытый занял холм.
На время там, стреляя, удержались,
Но люди в синем их с холма прогнали.
Потом они прогнали этих синих.
Там был разбитый дом. И на суку
Ворона. По ухабам бегать трудно.

Горячее, тяжелое ружье.
Какая-то была когда-то Люси,
И знамя, и на знамени звезда,
Диван плетеный около глициний,
И негр носил прохладное питье.
Но это все уже не существует.
Остались только жажда и жара,
Крик, грохот, вопль из почерневших губ,
Обтрепанная, мертвая ворона
На дереве обтрепанном. Когда-то
Была особа — некто Люси — с крупным
Значением. И больше нет ее.
Опять на холм! Как он устал чертовски!
Вдруг чувствует, что он бежать не может
И должен вырвать. Даже это трудно.
А трудно потому, что кто-то рядом
Скулит без передышки — издает
Противный стон подстреленной собаки,
И это Керли действует на нервы,
И Керли что-то пробует сказать,
Чтоб этот стон унять невыносимый,
Но не выходит: это сам он стонет.

Джек Эллиат, к гуще боя опять приближаясь,
Увидел ту сторону всхолмья, где Керли лежал, и увидел
На миг два разрушенных дома, на чучел похожие трупы,
Которые так и застыли в каких-то неряшливых позах.
И вновь на короткое время услышал он звук завывавший.
От звука нагнуться хотелось, но если нагнешься — неловко.
Весь мир для него сейчас — шум и дым и пороха вкус,
И снова и снова, сквозь дым, на миг проскользнувших
Картинок чудовишных молнии мозг прорезают —
И все же навеки врезаются в мозг.
Болото лежит gobеленом, сплетением живых и мертвых;
Еще от руки ткача gobелен шевелится,
Там — давка на ярмарке смерти.

И снова команда слышна.
И вот они вновь отступают подальше от черного дома.
Написано в книгах: „Бригада, которой командовал Киз,
В сражение вступить попыталась в том месте, где дом Робинсона;
Попытка была запоздалой и слабой. И влево по флангу
Бригада к Янгс-Бранч отступила, и в день этот больше участия
В сражениях не принимала.” Джек Эллиат так это видел:
В поле горящем раскинулась ярмарка смерти,
Где странные толпы бросались туда и сюда, и пьянчуги
Лежали так странно забывшись, сильнее, чем от сна или попойки,
И от завывавшего звука хотелось пригнуться и сжаться,
А за высокой травой, позади, остался мертвого кашель.
Там медленно кровь по одежде его расплзлась, подобно
Тому, как она расплзлась по утке с простреленной грудью.

Имбоден ранен, у Джексона прострелена рука, пушки Риккета и Гриффина на плато, где стоит дом Генри, переходят из рук в руки: артиллеристы были перебиты у своих орудий, как только они приостановили огонь, приняв наступающий тридцать третий виргинский полк в тусклом дыму боя за один из своих полков.

Уже почти три часа — южане стягиваются для последней атаки — налево бригада Элзи, только что прибывшая из Шенандоа, проходит узкой колонной сквозь дубовую рощу возле Садли-Род на помощь серому борцу — синий борец покачнулся и попятился на нетвердых ногах.

Атака охватила плато — Бартоу убит, черноволосый Би смертельно ранен, но атака продолжается.

Опять наступил момент, когда фронтовая линия Союза похожа на крепкий полумесяц — полумесяц, ошетилившийся стальными остриями — а теперь это уже полумесяц из песка, а затем растекающийся, рассыпанный песок.

Сперва никакой паники. Просто пришел момент, когда людям уже неважно, и они начинают расходиться по домам. Паника наступает позже, когда они начинают давить и топтать друг друга.

Джефферсон Дэвис, прискакавший из Манассаса, подъезжает с тыловой стороны к месту сражения. Спокойный седобородый незнакомец невозмутимо сообщает ему, что битва проиграна, и Юг потерпел поражение. Однако Дэвис едет дальше, его близорукие глаза выедают пыль; в его начитанном мозгу, быть может, возникает плутарховская картина смерти на щите — и он успевает увидеть, как последние синие отряды исчезают за холмом Булл-Рана, и успевает услышать последнее угрюмое ворчание их пушек.

Джудит Генри, твой дух, Джудит Генри, наконец отделился от тела, представлений покоя или страха уже не осталось в механизме разрушенном мозга, который умел создавать представления так живо.

Дух перепуганный, выгнанный из дому грубо насильем бесцельным, — успокойся! Не ты один — и другие, дома лишившись, пошли в надвигавшийся мрак этой ночи. Как темный мешок надвигается ночь, как Сатурн, равнодушна к генералам и войнам, к победе или к позору.

Война приходит на время, на время приходит и мир. Скоро руки землистые пахаря вынут врытый последний осколок ядра и последний погнутой патрон из замученной выбитой нивы.

И в воскресные ясные дни будет слышно шуршанье туристов, приезжающих памятник видеть у дома, что снова отстроен; будут смутно гадать, покупая цветные открытки, какою была ты, когда ты жила, и о чем были мысли твои в час, когда ты узнала, что станешь ты мертвою скоро.

В горле Вингейт ощутил комок.
Тронул коня, что от пота взмок.

Чуть придержал, на скаку отдыхая.
Как он устал! И жарыща какая!
И конь, и всадник смотрят в закат,
Каждый покою мгновенному рад.
В мыслях Вингейт скрепляет куски
(Так вот из кожи шьют башмаки)
Всех переделанных мелких дел
С тех пор, как тот шар на востоке рдел.
Вот их отряд неприкаянно ждет.
Вот ненавидящей ярости взлет.
Как водопад, атака ревела,
Ринувшись вниз на синий песок,
Мыслей не стало – было лишь Дело,
Казалось – рукою водил клинок.
Сбил Бристол, налетевши карьером,
Янки, убившего Фила Ферьера.
Сабля череп ему рассекла,
Мозгом забрызгав кожу седла.
Коттер один исходит ругней,
Молится Богу Коттер другой,
Но в криках ругани и мольбы
Оба косят, как смерти серпы.
Стюарт о лорде Рандоле пел,
А Ховард Брук был, как свечка, бел.
А рядом отец, как бес в пелерине,
Разит, цитируя строчки латыни.
У пленных больной, ошалелый взгляд
И губы потерянных мальых ребят,
И над всем этим – пушки, гром канонад,
Готовность к смерти, полет вперед
И цвет победы, что жалит и жжет!

Казалось все сном, напряженным и резким,
С особенным цветом, особенным блеском.
Вингейт, других обогнав, ускакал.
Один он. Запад кроваво ал.
Утопанный путь. Холма перевал.

А на дороге, во всех кустах,
Янки оставили впопыхах
Ранцы с вещами, носки, рубашки,
Тут патронташ, там дырявая фляжка,
Ружья и кружки в пыли у ног,
Штык, медальон, рассеченный сапог,
Где по разрезу кровь запеклась.
Месиво груши, втопанной в грязь.
Кто ее грыз? Кто носил медальон?
И как сюдадохлый кот занесен –
Шерсти мешок с оскаленным ртом,
Красная пасть, с перебитым хребтом?
Разве войну затевают с котом?
Вингейт спохватился: себя он поймал
На том, что он янки вопрос задавал,

Хоть им не услышать наверняка,
Но все же... Закрыл он глаза, пока
Не ощутил, что прошла дурнота.
Вздыхнул он. Вечерний ветер прохладен.
— Матери хоть бы черкнуть пол-листа.
— Фляжку от янки послать бы Аманде.
Но тут ни за что он ее не возьмет,
Где всласть ухмыляется дохлый кот.

В сосновом лесу, чист и далек,
Звездой падучей запел рожок.
Клей, вздрогнув, коня повернул своего
И на звук этот прямо погнал его.

Вновь Керли Хэттон приоткрыл глаза.
А миг назад он шел военным шагом
То вверх, то вниз, с холма на холм огромный.
Сводило горло жаждой. Что-то выло.
Вдруг наступал просвет — и он лежал
В какой-то длинной комнате, набитой
Людьми, в церковно-странной полутьме,
Где лампы, как гнилушки на болоте,
Где что-то вечно шелестит, как лист
Сухой в порывах жалобного ветра.
Нет, нет, там только раненые стонут:
Воды. Воды. Воды. Воды. Воды.
Он лижет губы, дождь на крыше слыша.
Воды. Воды. Воды. Воды. Воды.
О ТЯЖЕСТЬ СТРУЙ! О ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ НОЧНОЙ,
ХЛЫНЬ НА МЕНЯ! ОСВОБОДИ! ОМОЙ!
ОЧИСТЬ ОТ БИТВ. ПЛОТЬ ОСВЕЖИ МОЮ.
Я ТАК ОТ ЖАЖДЫ СЛАБ, ОТ БОЛИ САМ НЕ СВОЙ,
ОТ РАНЫ И ЖАРЫ УЖЕ ГНИЮ.
Мелькает красный доктора рукав.
Вслед смотрит Керли, говорить пытаюсь,
Но слышен только шепот. Это церковь.
Тень кафедры он видит и алтарь,
Как в дымке. Он был ранен. Разместили
Всех раненых в церковном помещеньи.
На миг пред ним лицо возникло Люси —
И тонет, убывая, улыбаясь.
В другой он думал церкви под венцом
В лицо ее глядеть. Взамен того
Он умирал. Так странно умирать.

Целую ночь, начиная с трех, с времени мертвых, льет дождь, тяжело набегая
непреодолимым черным потоком, как будто все небо валится темною
грудой.

Целую ночь живые и мертвые спят под дождем неподвижно на поле, хирурги работают в церкви, слышатся раненых стоны, куски полков и отрядов раздробленных ищут друг друга, стараясь слиться в единую : мощь.

А утром хоронят павших солдат, и дождь еще льет, и от этого порох сыреет, который так нужен, чтоб дать над могилой три залпа, и пока роют могилу, — ее дно становится лужей — вода натекает в нее отовсюду.

Целый день южные армии мертвых хоронят своих под звуки промокших насквозь барабанов дождя; день-деньской трубит охрипший рожок, и воду сливает трубач из рожка, и снова его вытирая, клянет несконча — емый дождь.

Войско Союза, всю ночь отступая, бежало,
Как лошадиный табун, испугавшийся тени,
Шло, спотыкаясь, дрожащим потоком людей,
Что были храбрыми раньше какое-то время
И, может статься, когда-нибудь вновь похрабреют.
Только сейчас это — дети, и гонит их ночь,
Страхом слепым заражают друг друга они.
Раз уж кидаются в бег — люди, под стать лошадям,
Будут бежать до предельного изнеможенья,
Если не схватит узду твердая чья-то рука.
Не было тут ни могучей руки, ни узды.
Тут пробивались без всадников кони сквозь гущу толпы,
И конгрессменов кареты, пытаясь пробиться,
Образовали затор на дороге в Кэт Хэппин.
Сайкс и армейские части прикрыли отход.
Две-три бригады еще сохраняли подобье порядка,
Но остальные — их тщетно пытались сдержать в Сентервилле⁷³.
Со штабом усталым Мак-Доуэлл ведет совещанье.
Но раньше еще, чем приказ к отступлению отдан,
Солдаты расходятся — бой проиграли они.
Теперь возвращались они в Вашингтон, возвращались
К палаткам своим и кострам, к своим письмам от Сюзи.
Они уходили домой, в свой Вермонт или Мэн или Охайо.
Пусть знает об этом, кто хочет, а им наплевать.

Тем временем Джонстон стоял с Борегаром на поле сраженья,
И Дэвис, в пути запыленный, к их группе примкнул.
Победа их так потрясла, как врагов потрясло поражение!
Толпа их побилла другую с оружием толпу;
Могли они взять Вашингтон: им стоило только
Руку вперед протянуть, как за яблоком к ветке.
Когда бы им знать! Но об этом тогда они знать не могли.
Как призрак, пугали их Севера свежие силы,
Что их от манассаских складов отрезать грозят.
Они прекратили погоню, вернее — попытки погони.
В войсках у них был беспорядок, солдаты устали,
Момент был упущен, и только упрямейший Джексон

Эту возможность нутром ощущал, как псалом боевой
Иль фразу из правил тактических Наполеона.
Хирургу, что рану ему перевязывал, буркнул
Он коротко: „Дайте мне свежих солдат десять тысяч –
И завтра же с ними я буду в самом Вашингтоне.”
Но во-время дать ему этих солдат не могли.
Он занялся тем, что трехдневным снабдил рационом
Бригаду свою, что звалась „Гранитной стеною”,
И ждал. Но приказ наступать не пришел никогда.
Богу послушен он был. Был он оружием Божьим,
Избранным Им для того, чтоб врагов победить
Именно в этом бою. Если б людей и оружие
Бог пожелал ему дать – он бы во славу Господню
Занял теперь Вашингтон – Бог того не пожелал.
А под сомнение не ставят Господнюю волю.

Ну, а пока что, в часы ожидания следил он,
Чтобы прилично кормили „Гранитную стену”,
Или с присущей ему добротою суровой
Делал попытки Имбодену он доказать,
Что тот неправ, богохульствуя. Многое можно
Пылом сраженья оправдывать, но богохульству
Даже тогда извинения нет никакого.
Пастору он поспешил написать в Лексингтон
И на строительство школы воскресной для негров
Чек приложил, что давно обещал, но послать не успел за делами.
В этом письме нет ни слова о битве Булл-Ранской, –
Лишь замечанье о „дне утомительной службы”:
Он и не мыслил, что можно писать по-другому.

Уолт Уитмен, неофициальный наблюдатель на службе у вселенной,
прочел о поражении в своей бруклинской комнате. Картина боя встает
перед ним более явственно, чем бумага, на которую он смотрит. Он ви-
дит, как побежденная армия хлынула по Пенсильванскому проспекту
под моросящим дождем: несколько полков держат строй и идут безмолв –
но, с хмурыми лицами; остальные – промокшая, голодная толпа, плету-
щаяся на сбитых в кровь ногах и засыпающая на ступеньках домов, на пу-
стырях, забиваясь в подвалы, слишком усталая, чтобы помнить бой и сты-
диться бегства.

Никто ничего не говорит – ни приветствий, ни криков из окон;
из толпы не летят насмешки сторонников Юга – половина толпы втайне
сочувствует делу южан – даже теперь – теперь более, чем когда-либо.

Две старые женщины, седые, стоят весь день под дождем, раздавая
кофе, суп и хлеб проходящим солдатам. Слезы текут у них по лицу, ко-
гда они режут хлеб и разливают кофе.

Уитмен видит все это духовным оком – слезы тех двух старых
женщин, странное выражение на лицах солдат, неспящих и спящих, капа-
ющий, дымного цвета, дождь. Смутно и глубоко в его сердце что-то ше-
вельнулось и сдвинулось, и он по очереди превращается в них всех – в
побитых солдат, усталых женщин, в мальчика, что тихо спит вон там, все
еще крепко прижимая к себе мушкет. Длинные строки стихотворения

начинают набегать на его сознание, как набегают, вздымаясь и долго грохоча, волны на берег Монтока.

Хорас Грили⁷⁴ написал Линкольну из Нью-Йорка истерическое письмо — он не спал семь ночей — „на каждом челе начертано мрачное, жгучее, черное отчаяние.“

Две недели назад он трубил: „Вперед на Ричмонд!“ Но тогда война была темой для передовицы — триумфальным парадом Союза, торжествующего над мятежниками. А теперь была битва, и было поражение. Теперь он молит о перемирии, о национальном соглашении — о чем угодно и почти на любых условиях — лишь бы прекратить эту войну.

Многие думают, как он; многие красивые слова становятся пустопорожними, как череп оратора, череп создателя войны. Они вызвали дьявола лозунгами и передовицами, но где заклинание, которое одолеет его? Кто свяжет выпущенного злого духа?

Один Линкольн со своим неуклюжим терпением, осаждаемый тысячами советов, — один он не ошеломлен и не заражен безумием, бегущим по улицам, как собака в августе, которая боится сама себя и пугает всех, кто попадается ей на пути.

Поражение — это факт, но и победа может стать фактом. Если идея хороша, то она переживет поражение и даже, может быть, переживет победу.

Его огромные терпеливые работающие руки начинают снова месить тесто Союза; он подбирает обрывки и лепяет их вместе; он подметает в углах и щелях и собирает по лоскуткам потерянное мужество и лосмотья веры.

На этот раз тесто не поднялось — может быть, оно взойдет в следующий раз. Богу наверное пришлось испытать и отбросить очень много пробных миров, прежде чем у него получился такой, который был годен хотя бы на то, чтобы покрутиться одну минуту; то же самое бывает и с идеей, и с делом.

Неправильно слова о Линкольне соединять со словами о звезде — это старый, истертый образ, клочок блестящей мишуры, клочок мертвой поэзии — он засыхает и разлетается, когда прикасается к человеку. И все же, если вам угодно, у Линкольна была своя звезда — за ним следовала, как призрак, звезда прерий.

А там, на Юге, другой человек, совсем на него непохожий, но такой же стойкий, гонимый другою звездой, в которой нет ничего мишурного, и тот, кого прозвали „эвакуационным“ Ли⁷⁵, начинает расти ввысь и отбрасывать более длинную тень.

КНИГА ТРЕТЬЯ

У Питтсбургской пристани мутно течет Теннесси,
К намокшим и темным столбам присосавшись водою землистой.
Огромнейший край, что не знает порядка поныне.

Твоя это песня, Джек Эллиат, только твоя!
Край мрачных и мутных и вздувшихся рек,
Край бронзовых диких индеек, печеных сомов,
Причалов, где хворост навален, причалы сгнивают, как хворост,
Край каши молочной, край чащ непролазных.
Гвинейский петух, что в курятнике не был ни разу,
Сбежавший на волю, чтоб там свои шпоры растить.
Ни Север, ни Юг – ты свой корень особый грызешь
Во рту крепкозубом – не корень ли дикого лука,
А, может быть, белый куста земляничного корень,
Который здесь тверже, чем в Истерн-Спринг земляничные корни.
Бродяга, в ушах у которого плещет река,
С добротной и грубой во рту кукурузной лепешкой,
Горячей еще от костра, еще с привкусом хвороста в ней.
Безлюдье с большою звездой, затерянной в соснах,
С коричневой мутью река, с ее шумом извечным,
И глушь, несмотря на трамваи и на тротуары.
Речнй этот шум не унять никакому трамвайному звяку,
У где-то затерянной в небе луны одиночества не отобрать.
Тут ночь чересчур велика, широка, одинока для человека.
Железнодорожною сетью охвачен простор,
И все ж он бескраен, тревожен.

Когда ж прозвучит
Отрывистый свист паровоза, вонзаясь в деревья,
Растущие густо, неряшливо-мощно, без всякого плана
Вдоль двух планомерно уложенных ребер стальных –
С коричневых вод отзовется гудком пароход-привиденье.
Там в шестидесятых годах еще были косматые дебри,
Большие пространства, заросшие лесом густым,
Не знавшим еще топора и, как выхухоль, диким.
И где-то средь дебрей расчищенный леса клочок,
И хижина сложена из неотесанных бревен
В двух криках и вопле – одном от ближайших соседей.
И в хижине ночью ее обитатели слышат
Деревьев хорал, а насилиу на день или год
Трудом спиноломным и потом отброшенный лес
Ждет случая, чтобы вернуться, и сруб неказистый
И пашню с посевом ползучей травой задушить,
Зелеными соками пламя залить в очаге,
Зеленым псалмом, завитками чуть видных зеленых побегов,
– Твоя это песня, Джек Эллиат, только твоя! –
Тут с воплем пронзительно-гордым проносится поезд,
И женщина в платье холщевом подходит к дверям,
Пучок у нее на затылке зачесанных кверху волос.
Ребенок босой ухватился за юбку.

А поезд проходит,
И вслед ему с медленным смотрят они удивленьем,
Ни пафоса, ни героизма во взгляде у них,
А лишь удивляются медленно поезду вслед.

Джек Эллиат в лагере около Питтсбургской пристани –
Песчинка в морях теннессийской армии Гранта –
Томился по дому, и старые припоминал
Коннектикутские заборы.

Вокруг было все слишком ново,
Запущенный край чересчур, чересчур замутненный
Большими разливами рек; чересчур грубовато
Из крепкого дерева эти края вырубал
Широкий топор.

После битвы Булл-Ранской отпущен
Из армии был он, и было так славно ходить
С лицом ветерана, и розовенькой Эллен Бэкер
Про битвы рассказывать и добавлять, что как только
Представится случай, – поступит он в армию вновь,
Туда, где он сможет подраться, – рот ее, мокрый от слез,
Ему целовать не хотелось, потом он привык.
Зачем ему было вообще отправляться в Чикаго?
Зачем ему было вообще слушать этот оркестр,
Что медью по улице Запада брякал, и снова
Бежать и записываться добровольцем? Зачем он
Рассказывать начал о битве Булл-Ранской вот этим
Зеленым и диким ребятам из Иллинойса
И Айовы, что говорили особым жаргоном,
Подтяжки зовя помочами, словами ругаясь такими,
Что щелкали резко, как бич у погонщиков мулов?
Булл-Ран впечатление на них произвел на неделю,
Но после прозвали его они „Джеком Булл-Ранским”...

Небось марширует опять с своей саблею Генри Фэрфилд,
И весь его прежний отряд марширует за ним
Там, где у Мак-Клелана в армии Джек был солдатом,
Где берег знакомый Потомака, на безопасном
И дружелюбном Востоке. О доблестях их
Там пишут газеты, и пишут о том, что весной,
Как только просохнут дороги – весь Юг раздробит,
Как синяя молния, „Маленький Наполеон”.

А тут он затерян подобно горошине, кинут
По воле случайности на произвол, в безнадежной войне,
В войне теннессийской, без помпы газетной и лоска,
Пришелец с Востока единственный в целом полку,
Меж фермеров из Иллинойса с их руганью странной,
Таких же чужих, как мятежники, грубых таких же,
Как эти просторы вокруг.

Он хотел перевода
Обратно в свой старый отряд, где говор восточный,
И где называть его „Джеком Булл-Ранским” не станут,
Не станут смеяться, что бреется слишком он часто.
Об этом писал он домой – знал отец одного конгрессмена,
Но из этого так ничего и не выйдет – отсюда
Ему не уйти, он останется „Джеком Булл - Ранским”,
Пока не закончит войну, и он будет месить эту грязь –
Враждебную грязь Теннесси, пока не отвалятся ноги,

И чина капрала ему никогда не дадут.
От западных лиц, от войны и от грязи его воротило,
И он ненавидел свою иллинойскую форму.
Ему было жалко себя самого. Сознавал он
Сквозь жалость к себе, ее смутную мягкую дымку,
Что он на поверку действительно храбрый солдат,
И знай это люди – они бы отметили как-то.

Твоя это песня, Джек Эллиат, только твоя!
С тех пор, как Мак-Дуэлл в Булл-Ране лил кровь, миновало
Уже девять месяцев – тяжело подкованных месяцев –
Джек Эллиат толку от месяцев этих не видел.
Что значит шум ветра для пыли, гонимой по ветру?
Но странные вещи и люди наверх поднимаются ветром,
И множество образов, вспыхнув у нас пред глазами,
Тотчас исчезает при вспышке –

вот Шерман колочебородый,
Он пробовал многое, но на беду свою склонен
Он к честности был, и счастливой звезды не нашел.
Он – бывший солдат – то банкиром был, то адвокатом,
То школу на Юге военную он возглавлял,
То был нерадивым директором маленькой конной железной
дороги;

Шотландско-ирландский драчун, говорливый и нервный,
Обидчивый, вспыльчивый, в сущности – передовой,
В гостинице Западной взад и вперед он по пыльным
Шагал коридорам с потухшей сигарой в зубах,
С собою самим говоря о войне до тех пор,
Покамест о новом своем генерале кой-кто
Не стал распускать уже слухи, что он сумасшедший.

Мак-Клелан, красивый, подтянутый, в прошлом был тоже
директор

Железнодорожной компании, сортом получше.
Удачливый юноша, дивное века дитя,
Глазастый и хваткий знамен продавец на войне,
С талантами и эгоизмом коммивояжера,
Великий делец, с той магнетической искрой,
Что сердце толпы зажигает, – но качества эти стубил
Наполеоновский комплекс, присущий подобным натурам.
Какой же торговец знаменами юный не грезил
О некой – совсем небольшой – треуголке, сочтя, что она
Ему подошла бы? Мак-Клелан считал, что ему подошла бы.
Но вот ревизоры пришли по прошествии года и дня,
Над книгами фирмы сухие сидят ревизоры,
Над цифрами в черных и красных колонках печально сидят
ревизоры,

И о треуголке мечта не растрогает их.
И после того, как уйдут ревизоры, правление фирмы
Со вздохом решит обойтись без торговцев знаменами. Грезить
Спокойнее о полинявшем цилиндре Линкольна.
Терпения требует эта мечта.

И все-таки, годы спустя,

В каком-нибудь бедном квартале торговца знаменами встретив,
Который о славе былой пожелтевшие вырезки носит в карманах,
Вам волей-неволей становится жаль треутолки,
В мечтах на короткое время надетой в припадке удачи и честолюбья;
И Джорджа Мак-Клелана все-таки жалко становится вам.
Все признаки были того, что героем он будет.
Героя был тип у него. И он мог эту роль
Сыграть без запинки. Создатель империи с виду.
Но вид таковых очень редко соответствует роли.

Судьба норовит выбирать из того, что совсем не подходит, —
Каких-нибудь младших берет лейтенантов
Из напояженных артиллеристов французских
И лысых сомнительных римских политиканов.
И дерева странный кусок ухватили сейчас ее жесткие руки.
Когда-то случайно, а не по желанию, в Вест-Пойнте он был,
Когда-то в четвертом пехотном полку он служил капитаном,
За доблесть свою в мексиканских приказах он был упомянут.
Затем, шестилетие спустя, принужден он был выйти в отставку.
На содержание открытого дома средств не имея,
Фермером стал он; был сборщиком денег по векселям; был приказ—
чиком в лавке,

Которую братья его в деревушке держали;
Старшим из братьев он был, но был неудачник он вечный,
Стружавший замерзшие шкуры с крестьянских саней,
Струтавший у печки, крепостью мышц поражая в сутулых плечах,
И по временам выпивавший, чтоб зимний озноб заглушить
И память кое о чем.

И это легко достигалось:

Стакан или два заставляли упрямый язык заплетаться,
И светлая кожа краснела под бурой щетиной.
Бедняга, обшарпанный Грант — капитан из Галены,
Что выбиться мог бы, да этому что-то мешало
Все время, хотя он был честен и крепко трудился,
Приказчик, не старый еще, — коренаст, молчалив, в полинялой шинели,
Когда про форт Самтер услышал, то сразу свои
Услуги военному он предложил министерству,
Заметив, что думает — мог бы командовать он,
И даже полком, но ответа ему не прислали.
Так много прошений военному шлют министерству,—
Нельзя ж писарей утруждать, чтобы всем отвечали.
Затем он в полку волонтеров размахивал тростью пред строем,
Взамен офицерского шарфа обвязанный красным платком.
Затем был в числе тридцати семи генералов бригадных,
С которыми Хэллек⁷⁶ тогда свысока обошелся,
Которых третировал так суетливый Фремон...
Но вот и февраль, и морозная вьюга,
Форт Генд и форт Донельсон⁷⁷ — из холодной реке
Стрельба с канонерок — и вслед за недолгой осадой
„Капитуляция полностью”, и ликованье газет.

Вот Грант — генерал-майор⁷⁸; и звездочки две у него;
Как это ни странно, он был равнодушен к газетам,

Хотя Джесси Грант слал в редакции дюжины писем
 О всех чудесах на войне, совершаемых сыном,
 И раз лишь добившись от этого сына сухого письма,
 Которое всякого б, кроме него, устыдило –
 Его оно не устыдило: он прежде всего был дельцом,
 И теперь, когда старший, Улисс, изумил всю Галену,
 В конечном итоге заделавшись важной персоной,
 Хотелось отцу-старiku, чтоб все уважали Улисса,
 А также попутно на сбрую добиться заказа
 От армии – для процветанья семейной кожевни.
 Ужасно он был удивлен, когда сын отказал.
 Упрямый мальчишка – как раз, когда всюду кишело дельцами, –
 Тот хлопок себе контрабандный подцепит, другой –
 Контракт на поставки военные; третий шерсть подцепил,
 Четвертый, глядишь, одеяла и обувь подцепит,
 Подцепит подводы иной, – рой расторопных грачей,
 Умеющих жирных червей земляных подцеплять, –
 На каждом шагу подцепляют клад золотой. А Улисс
 Никак это в толк не возьмет.

Немного найдется,
 Как Джесси Грант – таких чистопробных образчиков янки.

Дальше мелькают картины: Джефферсон Дэвис, под шум весеннего
 ливня,

По случаю инаугурации речь читает сухую
 Пред неокрыленной толпой. Теперь он и впрямь президент,
 Глаза устают еще больше, и портится нрав.
 Британский корабль был задержан в Багамском проливе⁷⁹
 Уилксом (командовал крейсером он северян);
 Двоих они сняли с борта, а корабль отпустили,
 И так подожен был длиннейший шипящий фитиль,
 В течение месяца чуть не начавший войны
 С Великобританией. Все же Линкольн и Сьюард
 Фитиль затоптали, южан отпустив во-свояси.
 Суда деревянные, – те, что стоят в Хэмптон-Родс,
 Плают и тонут, вздымая лохмотья знамен,
 Изведавши новый и странный укус броненосный
 Машины, обитой железом и все же плывущей,
 Носящей название Мерримак. Весь Вашингтон
 И Север охвачены паникой, но через сутки –
 Когда в Белом доме смотрит Линкольн из окна –
 Не видно ль дымка, означающего поражение, –
 Спесиво пыхтя, броненосец опять норовит
 Разгрызть костяки деревянных и хрупких фрегатов.
 Но вдруг он отогнан другою дырявой диковинной штукой,
 На остов которой цилиндр надет жестяной, –
 То М о н и т о р был. То был первый бой броненосцев⁸⁰,
 И старые все корабли-ветераны на свете погибли –
 Те мер э р, П о б е д а, П л е я д а,
 Б о н о м Р и ш а р, З о л о т а я л а н ь и С е р а п и с⁸¹,
 Галеры Антония и Карфагена галеры,
 Суда, на которых фигуры Мадонн в позолоте стоят,
 Викингов длинные струги, на всех парусах от погони сирен галиоты,

Арго – корабль аргонавтов, купцов корабли, и гордость ахейцев –
Выходят в открытое море сплошной деревянной стеной,
Плывущей за призраком необозримым ковчега,
Под набухающей тучей своих парусов-привидений.
Вокруг побелел океан – один за другим они тонут.
Зеленая влага течет сквозь обшивку бортов,
По выскобленным и прославленным палубам льется,
Идут они – вниз – вниз – вниз, в русалочьи гроты,
К морскому идут скрипачу на лужок и к тронам из раковин тусклых,
Где пьет Дэви Джонс⁸² неиссякаемый ром
С морскими коньками своих затонувших мечтаний.

То, Эллиат, песня твоя – и если, напрягши все силы,
Стоит наготове Потомака армия, чтобы
Прикончил мятежников „ маленький Наполеон ”,
И если вот-вот наступает великое время для Ли,
И если среди массы зеркал, позолоченных кресел,
Под блеском газовых люстр,
С опухшим, болезненно-желтым лицом император⁸³
С усами нафабранными, с эспаньолкой,
Дает по-французски уклончивые ответы
Лицам с различными типами южных акцентов,
Но действенной помощи им не дает никакой, –
Он в общем готов правительство Юга признать,
Но если он в выгоде этого будет уверен,
А он в этой выгоде все еще не убежден;
И если в тумане Вестминстерских улиц
И на просоленных улицах Гулля и Ливерпуля
Такая же шла в потемках кротовья борьба
Конфедератов и унионистов –
Таймз северян проклинал, и думал мистер Гладстон⁸⁴,
Что через год может Англия Юг и признать ...
А Пальмерстон⁸⁵ вел в то время такую игру,
Что неясна и поныне, и Генри Адамс⁸⁶ опять
В своей образованности усомниться заставил,
Взявшись писать пропаганду для северян, –
То все это Эллиат видит в тумане сплошном.
И если он спит, то не снится ему
Ни Грант, ни Ли, ни Линкольн,
А снится ему, что он дома опять,
С геройскою раной, которая вовсе не ноет,
В мундире, который не полон укусами вшей,
И с саблей – совсем, как у Генри Фэрфилда, чтоб перед Эллен Бэкер
похвастать.

Поскольку военные карты и кубики что-нибудь значат,
То вот как дела обстоят:

на одной из широких западных рек
Пустынная малая пристань. Портовый пакгауз.
Дороги бегут от пакгауза. На стыке их – домик почтовой конторы.
Дошатая церковь в трех милях от берега – ее называют часовой Шайло,

В буграх и изломах равнина,
Ручьи, подходя с трех сторон, образуют тут треугольник,
И в каждой его стороне примерно мили четыре.
И в треугольнике этом, от самой вершины его и до основания,
До пристани самой — тридцать три тысячи собрано вместе солдат.
У кой-кого опыт военный, а есть и совсем новички —
Тут вся Теннессийская армия Гранта.

А вниз по реке —
Армия штата Огайо в двадцать пять тысяч солдат,
Командует ею Дон Карлос Бьюэлл.

Против этих двоих
Стоят Борегар и Альберт Сидни Джонстон,
А с ними армия в тысяч сорок бойцов,
Включая епископа с сильно воинственным духом...

Джонстон намерен разбить в пух и прах
Армию Гранта еще до того, как успеет придвинуться Бьюэлл,
И, разгромивши, обозы свои напоить в Теннесси.
Ему удалось свою армию тайно продвинуть по диким тропам,
И вот она только в полутора милях от войска Союза.

Джонстон высокого роста, весьма энергичен,
Есть седина в его светло-каштановых прядях,
Он синеглаз, и глаза его схожи с шотландским мечом,
Отблески стали в них блещут во время сраженья.
Старый вестпойнтский питомец с лицом Гамильтона,
Старый, опытный в битвах кавалерийский полковник,
Которому чин генерал-майора Линкольн предлагал,
И слухи ходили, что Джонстона даже могли
Главкомандующим Северных армий назначить.

Он выбрал отставку

И позже со штатом своим откололся. Трудно решить,
Чем бы он стал. Его иногда называли „greux chevalier”, —
Как, впрочем, и многих других называли тогда, —
На это падки южане, в них есть ваверлейская жилка⁸⁷,
А также одним из любимчиков Дэвиса звали его,
Из тех оловянных вестпойнтских солдатиков, коих
Предпочитал во всех случаях Дэвис
Почетным полковникам или политикам ловким.
Ричмондский „Инквайер” о нем был неважного мнения.
Солдатам он нравился больше.

Одно только можно сказать:
Он Гранта враспloh захватил из-за странной какой-то ошибки,
Случившейся раз и не повторявшейся вновь,
И неподготовленную и беспечную армию Гранта
Почти что к реке оттеснил.

Но, увлекшись порывом
Своих наступающих рядов, он кровью истек
От раны, которая смело могла бы зажить.

А затем,
Пока, разбегаясь, поддавшись блефу атаки, солдаты Союза
Вопили, что кончено все, — подошел с подкрепленьем Бьюэлл,
А там и Лью Воллес поспел, и нож, что был всажён

В рану наполовину, в нее до конца не вошел.
И ночь опустилась, сражения гомон затих ...
И снова бульдог ухватился зубами за кость.
Назавтра, собрав подкрепления, отбросил назад Борегара,
Себя объявив победителем.

В книгах и те, и другие
Твердят, что они победили — кто в первый же день, кто днем позже,
На это у тех и других оснований есть уйма.

Остается узнать только мнение всяческих мертвых
О том, какие же кубики верх одержали в этой сомнительной стычке.
От столкновения кубиков три с половиной тысячи мертвых осталось,
Но с мнением мертвых в судах не считаются вовсе,
И их показания не смогут покоя смутить исторических книг.
Однако сейчас только вечер, и битва лишь завтра.
Джонстон с Борегаром созвали совет корпусных командиров
На питтсбургском исколесованном тракте. Поход затянулся,
Солдаты в походе шумели и слушались плохо.
Согласно законам войны — Грант давно уже предупрежден
И им приготовил ловушку. Их прямо ведут
В открытый капкан северян — так считал Борегар,
И так он сказал — и он был без сомнения прав
Согласно законам войны ... В одном лишь была неувязка:
Ловушки там не было.

Шерман донес по начальству,
Что был неприятель за линией войск обнаружен,
Что будет, возможно, постов перестрелка — не больше.
И Хэллеку Грант в тот же вечер послал телеграмму:
„Я нападения возможность почти исключаю.“

Вот вам генералы. Свой взгляд изложил Борегар —
И он опровергнут.

Спустилась апрельская ночь.
Пытаются выспаться люди, пока еще можно.
Им в пять поутру предстоит уже встать и сражаться.

Джек Эллиат менее всех ожидал нападения.
Он в пятом часу пробудился, в упор ослепленный
Длинным рассветным лучом через дырку в палатке.
Он выругал луч и попробовал снова уснуть,
Но так и не смог, хотя очень он сильно устал.
Его что-то грызло с момента, как он пробудился,
И спать не давало.

А день занимался воскресный.
Наверное дома вот-вот зазвонят с колокольни,
И девушки в церковь пойдут по-воскресному, в белых нарядах.
А впрочем, не время еще — вероятно, закутавшись, выйдут
В пальто и в калошах — как яблоки, розовощеки.
И девушку видеть ему захотелось такую, чтоб волосы мыла,
А не плоскогрудую бабку, жующую желтый табак,
Иль девку в голубеньком шелковом грязном халате

С флажком на подвязке. Девушку Джеку хотелось увидеть.

Но вот про флажки на подвязках вдруг стало ему любопытно:
Ведь если мятежники вступят — подвязки придется менять?
Какая-то шлюха-бедняга — тут близко, вниз по реке —
Себя разукрасила татуировкой южного флага:
Она патриотка была ... Она в голос так выла,
Когда в эту местность вступили войска северян,
Что бандерша девку в подвале должна была прятать.
Он, верно, ужасно испорчен, что мыслями занят такими
В воскресное утро. Он лучше бы в церковь пошел,
Когда б тут была хоть какая-то церковь — грехи замолить.
О морозные колокола, звенящие в инее тонком
Под небом Коннектикута — освежите язык
Мне снегом и серым прохладным цветком — дождевою водой —
Он должен подняться. Он больше не может лежать тут
И слушать, как Бэйли и все остальные храпят.
Во рту пересохло — он должен напиться воды —
Но только б не мутной речной — налейте мне дождь на язык!
Пои меня, дождь пуританский, холодной и сладкой струей!
Он стал сапоги надевать и на Бэйли взглянул.
У Бэйли была борода — ему тридцать второй уже шел,
Погонщиком Бэйли был в прошлом, а ныне — капралом,
И Бэйли неспавший похож был на глупую лошадь,
А Бэйли заснувший похож был на грязный мешок.
И Джека в насмешку полковником он называл,
И как-то с другими качал его на одеяле;
О татуированной шлюхе рассказывал Бэйли,
И Бэйли был Джеку противнее всех остальных.
Чтоб он не проснулся, Джек выбрался, крадучись, вон.
Еще было рано, и только что солнце взошло.
День ясный такой. Небо ясно. И воздух хранил
Еще то цветенье — не яблонь, не персиков, нет,
Цветенье плода, состоящего только из света
И чистой воды — благодарно он свежесть всосал
Трепещущей, только что в небе рожденной зари.

Спит лагерь. Спят все эти длинные цепи палаток.
И Джек мог их видеть насквозь, — он представил себе
Всех спящих в палатках — завшивевших, грубых, отвратных мужчин,
Нагруженных сном, точно мягкой свинцовой поклажей.
Они неподвижно лежат с оленятами сна вперемешку,
Теснясь, как детеныши к теплым бокам материнским,
В дремотной тиши, в тишине теплоты, а меж тем
Сон смотрит на спящих агатовым взглядом оленя,
Будить их еще не желая.

И Джек был один,
Он это увидел, на миг их увидел такими,
Он был одинок и свободен, и был потому
Он волен любить, как и волен он был ненавидеть.
Но он ни того, ни другого не делал, а только стоял
Над ними, как сон, равнодушно взирая на них.
Подымутся скоро они — и он снова их возненавидит.

Но в это мгновение он — сон. Он — солнечный свет,
Упавший на шерсть олененка, который застыл
У края зеленого леса, уставясь на утро.

И он ненавидеть еще их не мог в этот час.

Поблизости кто-то в лесу взял охапку веток сухих
И начал их быстро ломать, сначала одну за другой,
А после и дюжину сразу; потом топорщища тяжелые с треском ломаются
пошли,
Вспять Эллият кинулся. Рот разрывался от громкого крика,
Хотя он не слышал ни звука из рта своего, но он видел —
Сосновые белые тонкие щепки летят во все стороны от топорщищ-
невидимок.

На миг те, что спали — запутались вместе в палатках,
Поднятых дробом, запутались, точно рыба в сачке из брезента;
Но вот они кое-как выбрались, строиться стали,
Волосья у Бэйли торчали и сонно и гневно,
Кричали кругом офицеры, что им полагалось кричать.
Их всех захватили врасплох, они вновь понесут поражение.
Пока еще им все равно. Но скоро их кровно коснется.
У Бэйли штаны не застегнуты, и не нашел он рубахи.
Джек думал сказать это Бэйли, да некогда было уже.
Казалось ему, что глаза у него, как стекло, потому что
Высматривал он, не взлетают ли в воздух сосновые щепки.
Теперь под кипящий котел они подложили шутихи,
А мимо бежит человек, и с руки его капает красная краска,
Он руку несет на руке, причитая, как будто
Несет он не руку, пробитую пулей, а куклу.

Огрел офицер его шпагой плашмя. От удара
Клуб пыли над курткой поднялся, и вдруг лицо человека,
Что маскою ужаса, плохо надетой, казалось,
И сделанной, точно из желтого воска,
Стало пристыженным чем-то, зардевшимся, но продолжал он бежать.
Мгновенно все это случилось, когда вперед они шли.
Увесистый молот зарю раздробил на куски.
Нигде никаких оленят. Один нарастающий шум,
И слышно сквозь шум, как поет, фальшивя, как в церкви,
Мрачным голосом Бэйли —

„ Был я ткачом и жил сам по себе,
Ткацким я занят был де-е-лом -”

Теперь офицеры вокруг уже лаяли, точно лисицы.

Когда проходили они мимо крайней палатки,
Джек увидал, как лицо — озадаченно-красное —
Выглянув из-под навеса, глядело украдкой.
Так смотрит медведь из берлоги. Еще накануне
Лицо это было подпившим, а ныне глядело
Колонне вослед, выражая тупую великую мудрость.

„ Был я ткачом и жил сам по себе,
Ткацким я занят был делом.”

Джек Эллиат вновь оказался за чьей-то палаткой.
Как раз перед тем он в лесу побывал, и он помнил,
Как он прижимался к стволу с непомерно корявой корой,
Пока он — день целый иль пару минут —
Шомполом звякал и тыкал в ружейное дуло.
Пришлось отступить им — в лесу удержаться они не смогли.
Джеком Булл-Ранским его называли, и вот привелось отступить им,
И Бэйли, и всем остальным, с ними должен был он отступить.
Но с ним — это дело другое, ему это все нипочем,
Весь этот красный пязг неистойой спешки
Иным представлялся ему — пусть Бэйли и все остальные бегут куда им
удочно,—

Он старый солдат. Он останется здесь, чтоб сражаться.
На бегу, о веревку споткнувшись, он чуть не упал,
Но Бэйли его подхватил.

„ Они тебя стукнули, парень?”

„ Нет, вовсе меня не задело ”, — Джек Эллиат резко ответил.
Как смел этот Бэйли его своей лапой касаться,
Ведь Джек совсем не бежал!

И вдруг он увидел: в палатки

Врывались чужие, кричащие серые люди,
И сердце у Джека в горошину сжалось.

„ О черт!” — он сказал,

В отчаянии забывая патрон. Он ведь старый солдат.
Он не бежит никуда; наоборот, он свершит
Тьму героических подвигов прямо под носом у Бэйли,
Пусть только дадут ему время на это, хоть малое время.

Огромная лошадь взвилась над стеною палатки —
Взвилась и повисла на миг, как вымысел бреда,
Как визг замороженный, полный копыт.

Он направил удар

Прямо в голову лошади и увернуться хотел
Из-под крупа ее, когда рухнула навзничь она,
Но на миг опоздал.

И когда поскользнулся и падал —

На лице он у Бэйли наклеенный смех увидал:
Смех до слуха еще не дошел — а уж грохнулась лошадь,
Сотрясая вселенную.

Боли тупой миновали минуты,

И розовоусый толстяк молодой
Заорал ему в ухо: „ Эй, янки, сдавайся!”
И перед глазами его возбужденно размахивал дулом.
Джек ему слабо кивнул. Толстяк закричал: „ Эй, ребята,
Я зацапал двух янки!” По-детски сиял он улыбкой!
„ Ну-ка, янки, оттягивай лошадь — под ней еще янки другой!”

До вечера пленных колонна плелась по дороге.
Джек Эллиат в ней отупело шагал. Задубело
И ныло все тело. От боя они удалялись,

Но все еще слышать могли сотрясение боя.
Казалось — ворчали мосты, по которым катились гигантские камни.
Из пленных кой-кто с конвоем пытался шутить,
Кой-кто шел в молчаньи, кой-кто затевал разговор,
Как будто хотел всему миру поведать о том, как он тут оказался.
Один сокрушался, что пятку натер, а другой говорил:
— А все ж Миссурийский Десятый чертовски хорош!
— Послушайте, ну и штуkenция вышла, ребята, —
Хватился один, — я в палатке забыл свой табак!
Да видано ль дело, чтоб так свой табак потерять?!

А Бэйли,, Ткача ” напевал, временами смолкая,
И в странном каком-то восторге тогда говорил:
„Как мы драпанули! Как здорово мы драпанули!”
Джек Эллиат долго ни слова ни с кем не сказал.
Так вот какова ты, война! Вот каков Фазтон,
Та бронзовая колесница, что катится в небе.
Если есть еще в теле душа, то ему
Она кажется тощей, костлявой, больною индюшкой.
Смысла нет ее даже кормить. Временами пытался
Накормить ее мыслями он, но они были схожи с гнилой кочерыжкой.
Да, что правда, то правда, — они драпанули чертовски!
Вот и все. Может армия выиграть иль проиграть,
Но они стопроцентно уже драпанули! Им снова
Наложили. Опять наложили ему.

Уж он не старый солдат,
И даже Джеком Булл-Ранским он быть перестал. Потерял он
Часть себя самого. Это часть вся в рваных кусках,
И он видит ее — она брошена где-то в палатке,
По соседству с табачною пачкой и грязной шинелью.
Он толкнул руку Бэйли какое-то время спустя
И немного смущенно спросил: „ А куда мы идем?”
Тот в ответ усмехнулся не зло. „ Ну, полковник, в Коринт, вероятно.
Поначалу в Коринт, а потом и в какой-нибудь чертов лагерь для плен —
ных.”
И он сплюнул на землю. „ Там будут погано кормить, — он сказал, —
Мамалыгой одной, да копченкой. Они не едят по-людски.
Ничего не едят они, кроме копченки и мамалыги,
И до чертиков мне надоест и копченка, и мамалыга!”

Джек на Бэйли взглянул. Что-то в нем изменилось.
Он легко констатировал факт: „ Ты штаны застегнул, — он сказал, —
Помню, утром они незастегнуты были.”
— Да, оно так и есть, — озадаченный Бэйли ответил, — когда ж я их
застегнул?
Они занялись этой загадкой, пытаясь ее разрешить,
Она долгое время казалось им важной весьма.

Ночь настала. Колонна все шла. Но Джек Эллиат с Бэйли
Понемногу продвинулись в хвост, замышляя побег.
Конвоиры не менее пленных устали, и было их мало.

Двум легко было прыгнуть в канаву у края дороги
И удрать, если выбрать на то подходящее время.
И вопрос обсуждался притушенным шепотом изнеможенья.
Вот сейчас — повернем — нет — конвой приближается к ним —
Вот еще поворот — нет — светло на мгновение стало
От мелькнувшей звезды, и опять потемнело. Вершина холма —
И подножье холма — а они все шагать продолжают —
Дождь пошел, морозящий сперва, а потом побыстрей,
И у Джека слипались глаза, и шагал он во сне,
И тяжелый был сон, точно вырезан из листового свинца
Парой ножиц тупых — тут к Джеку притронулся Бэйли;
Джек почувствовал в черепе треск усталых костей,
Высекающих искру — и ноги шагать перестали,
Он дыханье на миг задержал —
И плюхнулся прямо в канаву с ужаснейшим шумом,
И плечи втянул, так и чувствуя призрак штыка.

Но когда поднял голову он, то колонна уж скрылась из вида.
Сам себе он не верил, что им удалось убежать.
Убегать было надо, как Харперский Ежедневник
Изображал на картинках бегство из плена: прямые, как палки,
На конях грушевидных сидят человечки, стреляя
Замороженным пончиком крема бегущему в спину.
Но они убежали.

Жизнь снова вернулась к нему
Необъятной волною сторающих звезд. И ему захотелось
Петь, кричать. Из канавы
Он выбрался шумно и стал рядом с Бэйли.
Неужели когда-то он ненависть к Бэйли питал?
Быть не может! Он любит Бэйли превыше всего на земле!

Ускользнувшими лисами шли они к лесу украдкой.
Умудренными лисами шли к потаенной норе,
К земляному навалу, и к сладкому сну, к его теплым оленьим бокам.
И тогда-то ужасный конфетно-паточный голос
„ Стой! — вскричал сзади них — Стой!“ — и взрывы слышались сразу,
Жарясь на сковородках чутунных, рвалась кукуруза —
Наобум, ошалев, побежали — треск сломанных веток —
Звуки схватки — и полузадушенным голосом Бэйли отчетливо
крикнул:

„ Дуй вовсю, Джек, тебя не поймают!“

И дул он вовсю.

Время шло, точно дождь. Время шло и сливалось с дождем.

От кошмара проснулся Джек Эллиат и протянул
Руку — тронуть стенку у койки своей. Но не было стенки.
Тогда он прислушался, не прозвучит ли храп Бэйли.

Но он услышал,
Как сладко, пресыщенно струи дождя по бесчисленным веткам текли,
Грузно свистнула капля, упав на примятый листок.

Дождь — несметный и птицеголосый, кричащий, как мокрый кулик
И как тысяча вымокших черных свирелей. Дождь, воздвигающий
Из скользящих слез одинокую башню,
Странный и полужестокий, как светлое горе дриады.

Джек плотнее прижался к стволу, вспоминая, что мог.
Он бежал уже годы и спал уже годы — и все ж далеко до рассвета,
И казалось жестоким, что больше не будет рассвета,
И казалось жестоким, что Бэйли пропал. Он свершить собирался
Героических подвигов ряд перед Бэйли. Но это не вышло.
Бэйли вместо того его спас. А сам Бэйли пропал.
Джек почувствовал — что-то внутри его тоже пропало.
Это было страшней поражения, страшнее дождя —
Потерял он частицу себя — частицу отваги.

Дождь косой сквозь промокнувшее сердце уже просочился;
Джек подумал с восторженным ужасом: — это Валгалла!
Я давно уже умер — лежу я в покоях Валгаллы —
Я упал сюда с неба, обрушился вместе с конями,
Расплескавшими солнечный шар. Мне закрыли глаза
Вязью каменных рун, и спать положили в гробнице,
Где извечно живые потоки текут
У ствола Игдразилиа и корни вселенной питают.
Слышу — вороны с облачной крыши кричат,
Слышу, как пузыри подымаются в чистом потоке,
Слышу — старые боги в языческом небе орут,
Когда ястреб-Валькирия закоченевшие комья
Мертволицых героев с криком в Валгаллу несет.
Это зал Нибелунгов. Я должен разбить
Этот камень рун у меня на глазах. Я должен бежать,
А не то я погибну.

Он спал. Дождь все шел.

Мелора Вайлас, вставши при свечах,
В дно жестяного таза погляделась.
Как хорошо бы зеркало иметь!
Теперь, когда пришла весна, Мелора,
Став на колени над прудом в лесу,
Тень в глубине воды могла увидеть —
Внимательные карие глаза,
Лицо сердечком. Так она смотрела
В глаза, и на нее глаза смотрели.
Казалось — вот начнется разговор:
„Какая ты? Кто ты?“

Но глубь стекла
Ломалась рябью — тень, дрожа, скрывалась.

Будь зеркало у ней, она бы что-то
Узнала, — то, что было очень важным,
Как чувствовать всей кожей, что ты жив
В погожий день; насыщенное нечто,

Как мудрый сон, и острое, как жало.
Но ей без зеркала об этом не узнать!
И не видать ей зеркала, пока
Они скрываются. А их судьба — скрываться,
Покамест не окончится война.
Таков уж батя. Все они в дороге ...
Семнадцать ей, а сколько мест видала,
И сколько шляхов. Батя вечно едет.
Все, кто ей был знаком, скитались тоже.
В фургонах пыльных тьма детей и кур,
Пил, топоров, лоскутных одеял
С изображеньем розы иль восхода,
И бабушкин комод из махагони,
Фарфор побитый, миски, пара ложек
Серебряных — все это позади
Усталых лошадей по штатам катит.
В других местах земля всегда получше!

Но в следующий раз — конец бегам!
Осядут прочно в следующий раз!
На новом месте и комод почистят,
И мать насадит сад, как ей хотелось!
Но все напрасно. Вновь они в дороге.

Ей нравился Канзас! Туда б вернуться!
Ей нравилось, как ветер пахнет там,
Но батя не хотел к вольноземельцам.
Когда ж стрельбу открыл сторонник рабства
И лучшего у них убил коня,
То батю допекло. Сказал он что-то
Насчет „чумы на оба ваши дома”⁸⁸
И прочь помчал, и здесь они укрылись.
Когда его не спросишь о войне,
Он, знай, свое городит про чуму.
Ей батей называть его не след, —
То речь переселенцев, — надо звать
Его оцом, как мамка ... мать желает.
Но трудно это все запоминать.
Мать много говорит о прошлых днях,
О бабушкином доме на Востоке;
Да есть ли вправду тот Восток? Мелора
Востока никакого не припомнит,
А только помнит пыльную дорогу.
Хоть знала — было шелковое платье
У мамы — мама на балу была;
Хранится снимок — мама с батей в странных
Нарядах, по-восточному одеты.
Семья их белой рванью не была,
Мелора и читала, и считала.
И Макбета, и Оливера Твиста,
И Бьюлу прочитала. Больше всех
Понравилась ей Бьюла⁸⁹. Бате Макбет
Подходит больше. Ей понять хотелось,

Что приключилось, когда мать жила
У бабушки еще, носила платья
Из шелка, а отец читал латынь.
Как началась их кочевая жизнь,
И как жилось бы в бабушкином доме?

Но это так давно, так непонятно ...
Ей даже полюбились жить в бегах,
И даже интересно, когда ружья
Весь день плюются в небо, как вчера,
А Бент в лесу укрылся от призыва;
Когда ты знаешь: армии вокруг,
Как неуклюжие коровы, бродят,
Пыхтят и топчут мир копытом грязным,
А ты в укромных зарослях затерян.
Сегодня в небе вновь стрельба. Должно быть,
Занятно видеть армию большую,
Но батя ей взглянуть бы не позволил.
Что больше бы хотелось увидеть
Ей — армию иль зеркало — не знала.
Но зеркало обычно брало верх:
Его, ведь, можно у себя оставить.

В тот день Мелора боровов звала.
Обычно их зовут два раза в месяц
И корм дают, чтоб слишком не дичали
И осенью пришли б, когда их режут.
Хоть и без корма было им неплохо!
Кормясь в лесу мускатным виноградом
И буковой корой, они жирели,
И отдавало мясо их орехом.
Ей нравилось, что это не ручные,
Не сонно хрюкающие в грязи,
А боровы свирепые, как Макбет!
И молодого кабана она
Назвала Макбет. Как он задира
Дункана, вялого, с седой щетиной!
И от корыта гнал его.

Билл Сайкс

Там был, чернуха Бьюла, Феджин
И леди Макбет с жалобным подвизгом.
Помогут свиньи в книге разобраться!
Наливши поила, в рог сложив ладони,
Готовилась она их звать. Бывало
Ей в этом батя помогал и Бент.
Сегодня нет их. Мамка занята.

Она стояла тонкая, прямая,
А Макбеты — с той стороны загона.
Она позвала: „Свинки, свинки, свинки!”
Так боровов не кличут, но они

Звук чистый, ясный, громкий различали,
Как будто бы о белоствольный ясень
Звенело серебро. „Эй, свинки, свинки!
Эй, свинки, свинки, свинки, свинки, свинки!”
Раздались копошащиеся звуки
В лесу. „Скорее, свинка!”

То был Банко –

Пуглив и жаден.

Ловкий Плут – худой,
Чернявый, хитрый, влез двумя ногами
В корыто до того, как Банко сделал
Движенье в нерешительности жирной.
„Скорее, свинки!” И блестящий зов,
Казалось, плыл стеклянным пузырем
Куда-то далеко и нес в себе
Серебряную чистоту и белый
Ствол ясеня, и Эллиат в лесу,
Отчаявшись и сбившись с ног, услышал
Желанный этот зов – как эльфов зов,
Протрубленный из крошечного рога,
Чтоб всадника в сверкающей броне
В зеленый холм волшебный заманить.
Он шел навстречу музыке: „Эй, свинки,
Скорее, свинки!”

Кабаны толкались
И хрюкали. Старается считать их
Мелора, и глаза ее серьезны,
Коричневые, как под дождем орехи.
Они все тут. Но надобно проверить, –
Подумала, и позвала, и что-то
Задвигалось в лесу. И удивленно
Она глядела в лес. Такой ее
Джек Эллиат за свиньями увидел.
Как темный жеребенок, с головой
Приподнятой, звук незнакомый ловит.
Она ж увидела, как вылезает
В наряде синем путало из чащи
С ногами деревянными – кричала
Полуиспутанно ему она –
„Не подходи к хрюкам!”

Но он не слышал,
Не слушался. Из зала Нибелунгов
Он спасся.

И держась за загородку,
Чтоб не упасть, она ждала. „Не смей
Сюда идти, они тебя убьют!”
Но он уже, свиней минуя сытых,
Забор перескочил. Она, взглянувши
На странное лицо его, спросила:
„Ты хочешь есть?” Какой-то звук гортанный
Издав он, усмехнувшись, и упал,
Стараясь дотянуться до нее.

Снова чист и снова сыт,
Снова полон сил.
Разве память сохранит,
Как я мертвым был?

Исцелен бальзамом я,
Рана запеклась.
На груди моей змея
Сонно улеглась.

Разве память сохранию,
Как я под землей
Замерзал, кормя змею
Раною живой?

Брось обиду бередить,
Шрам царапать в кровь:
Рванный саван, может быть,
Пригодится вновь.

Боль и холод вновь придет
С голодом-змеей,
Станет ноши тяжкий гнет
Вновь твоей судьбой.

Воскрешенным дураком
Пред людьми не стой!
Лазарь встал — и был потом
Снова взят землей.

Так снова Джек Эллиат к жизни приплыл и к теплу
И к запаху пищи горячей. Шла ночь, и он слышал,
Как дождь, что пробиться не может, тряс низкую крышу,
С шипением капли кидая в открытый очаг.
Но дождь был бессилён. Дождь заперт был в небе, как в клетке.
Дождь капать не мог на него.

Он, разнежась, лежал
Голодный и тёплый и двигаться так не хотелось.
Ни смел, ни умен, но доволен — как в коконе тесном личинка.

Высокая женщина кашу варила в чутунном горшке,
И каши был запах прекрасен. И форма горшка
Казалась прекрасней, чем урна, которую нимфы морские
На дне изваяли из мрамора, что затонул,
Цвета холодной морской розоватой волны.
А женщина эта великою Норной была
И мир новозданный прекрасный варила в горшке
Из чистых паров и из светлых нетронутых соков,
Шар новый земной из сквозных янтарей — кукурузы светящихся зерен:

Сферическое совершенство. Вся жизнь теперь стала прекрасной.

Вот девушка в комнату входит быстрою легкой походкой.
Внимательно смотрит он на нее. Молодая, худая,
Уверенно держит головку на тоненькой шее.
Тяжелые волосы схожи со шлемом из бронзы,
Что стыла в отливочной форме с изгибом, и этот изгиб сохранила.
И девушка ношу тяжелых волос носила легко.
Слеплены ладно и руки, и ноги, и в теле была
Та врожденная легкость, та кровь, что птицу в полете несет.
Увидав, что открыты глаза у него, подошла,
Не дичась, но не слишком участие свое проявляя.

Они повстречались глазами.

А старшая женщина мир свой кипящий мешала в горшке.
„Ну, — молвила девушка, — лучше тебе?“ Он кивнул.
Глаза их меж тем говорили: „Мы новое что-то увидели. В клетках
глубинных,

В том месте, где тикают смутно ничтожные часики сердца,
Мы что-то увидели. Это не свет и не тьма —
Облик новый, и новое что-то. И может быть, значит оно,
Что тугой отодвинут засов. Может быть, ничего и не значит.“

Но вот она делает правой рукой отстраняющий жест.
„А кто ты такой — не сказал ты, ты просто упал,
Придется тебе рассказать, — батя, верно, захочет узнать.“
Тень прошла по лицу у нее. „Не захочет держать тебя батя.
Все ж какое-то время придется тебе оставаться у нас.
Ты еще не годишься для долгой ходьбы, это всякому ясно.“
„Ты как будто на Сьюарда-сына похож“, — вслух размышляла Мелора.
„А порою бываешь ты на Оливера, пожалуй, похож ...
Не пойму ... А как звать тебя?“

Эллиат вытянул руку

К возвратившейся жизни — и тихо назад к себе эту жизнь потянул.
Он припомнил: Джек Эллиат он. Где-то он запутался.
Двадцать лет он лежал в покоях Валгаллы, в смертную обувь обутой.
Эту самую девушку он видел с кабанами,
Ее милого громкого голоса звук до него донесся в лесу,
Этот звук его вытащил вновь в мир тепла и варящейся пищи.
Себя самого потерял он кусок — кусок своей жизни.
Его надо найти, но сейчас —

„А тебя как зовут?“ — прошептал он.

Скрытники знают тайные эти чашобы,
Чашобы, укрыться чтобы.
Мягко ступай — даже снег тут совсем особый.
Дождь по особому колет, словно игла,
Мягко ступай, будто облако, еле ступай, будто некий
Шепот воздушный под взмахом крыла.
Дай заградить свои веки
Синим мускатным двум виноградинам,
Из виноградников тайных украденным,

А то не найдешь никогда ты поляну затерянную
И со следами тайного пира скатерть расстеленную.

Скрытники здесь живут.
Они нащупали тут
Край отщепенцев, приходят сюда тайком,
Чтоб ежей запекать в глиняный ком,
Детей и злаков растить упрямый и дикий приплод,
А мир пускай мимо идет,
По временам маршируя и гневно бряцая оружием,
Проходя мимо скрытых тропинок, топчется пусть неуклюже.
Мягко ступай, как шепот ступай, все слова затая,
А то никогда ты
В дупле не увидишь твари мохнатой
И пляски теней у лесного ручья.

Скрытников тут очаг,
Ковчег из ивовых и сосновых коряг,
Тихие тут места.
Хочешь позвать — позови, но пусть будет сладким твой зов,
Точно клеверный мед, что процежен серебряным ситом,
Пусть он витает пыльцы мотыльковой нежнее,
А то беглецов не отыщешь, как не ищи ты,
Раз позови, позови в другой,
И если зов настойчивый твой
Мглой окрашен лесной, отзывается дикой повадкой —
Заметишь, если удачлив твой взгляд,
Тех, кто о мудрости знать не хотят,
Шелковых лент не хотят — ткань лесная прочней, зеленее;
Увидишь детеныша с рожками, что вскормлен оленьей маткой,
Увидишь — идет к тебе легкость сама цепочкою легких шагов,
Девушку встретишь, в лице у которой ленивая страсть разлита.

Неделя прошла. Джек смотрел и обдумывал разные вещи.
Жизнь снова вошла в колею. Он здоров и окреп.
Видел он тут старика со сгоревшей мечтою в глазах.
Он в юности, видно, сорвался с большой высоты,
А может, из бездны поднялся с усилием страшным;
Он был беглецом, поломавшим заборы в полях,
Чтоб вымыслы жизни проверить на пробном камне скитаний.
И было заметно, как странный тот камень врезался
В лицо ему жесткостью всею. Но было и нечто,
Мелькавшее и исчезающее по временам,
Но что на безмолвный вопрос не давало ответа.
Не дорога ли цена за то, чтобы камня коснуться?
Джек Эллиат не понимал.

Он становился втупик:

Рваться на Запад в погоне за тучными землями — это понятно;
Но, эти земли добыв, полагается обосноваться,
В школу детей посылать, от соседей закрыться забором.
А если случится война — воевать на своей стороне.

Но не дело и тем и другим, как Меркуцио, сыпать проклятья
И прятаться в глушь.

Был старик совершенно неправ,
Но слабости не было в нем. Это было особенно странно.
Будь слаб человек — вот тогда все было бы проще простого.

Вот женщину эту куда было легче понять.
И женщина нравилась Джеку, и нравился парень лохматый, нескладный,
Проживший так долго в лесу, укрываясь от армий,
Что сделались острыми уши его, как у белки,
И что-то в движениях его от дерева было, что веткою машет.
Парень, конечно бы, должен был драться за Север:
Выходит, что он дезертир. Но как-то здесь все по-другому.
Разницу эту нельзя объяснить на словах.
Но чувствуешь кожей ее.

Здесь все по-другому,
Как под дождем в Нибелунговом зале в бреду.
Только без страха. Здесь медленно льется покой.

Надо бы в полк возвратиться ему поскорей.
Тут он не может остаться. Он всем им мозолит глаза.
Должен вернуться он в строй. Но куда идти — он не знает.
Могут они указать ему к Питтсбургской пристани путь,
Только не знает он, армия — там, или нет.
Даже не знает он, кто победил в том бою.
Если мятежники, — в плен его снова возьмут,
Чуть он на место открытое выйдет.

Но надо рискнуть.
Здесь он не может сидеть и влюбляться в Мелору.
Вниз по тропинке кривой спускалась Мелора,
А перед нею шла длинная тень. Было то время,
Когда из закатного золота жар уже вышел,
Но, остывая, оно еще серым не стало.
Тот промежуточный час, когда не отлив, не прилив.
Когда начинает цветок закрываться, но все же еще не закрылся.

Он видел — волшебную голову так высоко
Мелора несет — а за нею закатное золото вниз уплывает.
И видел он длинную тень ее тонкого тела.
Ближе к нему подойдя, услышала, как он напевает —
Он думал, что он позабыл уже песню ткача:
„И только и было моей вины,
Что я полюбил красоту.“

Остановилась Мелора, прислушалась. Джек замолчал.
Спросила: „Ты что там поешь?“

Он ответил: „Дурацкую песню.“
„Мне нравится. Спой-ка еще.“

Но он петь ее дальше не стал.

Они друг на друга смотрели — примерно их фут разделял,
Обе их тени слились и стали единою тенью.

Она приложила к обеим щекам свою руку, слегка их потрогала:
Будто она остудить их хотела.

Мягкий и мерный толчок,
Необъяснимый, как необъяснимо рождение звезды,
Грозный, точно крик плоти последний —
По жилам его пробежал и ударил.

На тени уставился он.
Тогда прошла она в дом и тень захватила с собою.
А он все стоял и смотрел
На то место, где тени их соприкоснулись.

Они шли в лес, а вслед смотрел Джон Вайлас.
Шли за водою к дальнему ключу,
И между ними звякало ведро.
Он жестким ртом насмешливо твердил
Слова старинной детской прибаутки —
Как Джек и Джилл пошли с ведром к колодцу.
Но взгляд не жестким был — был шире, дальше.
Пускай идут. Да, Харриэт ворчит,
И Харриэт права — но пусть идут.
Кто ищет и находит дикий камень —
Не женится, детей не зачинает,
А женится — идет на риск большой.

Мы оба постарели — я и Фауст.
Мы ползаем вокруг стволов дуплистых,
Где дьяволята яркие минувших
Дней юности ушли обратно в землю,
Как колдовство, растаявши. И в наших
Жезлах волшебных, дряхлых, потускневших,
В металле ржавом наших заклинаний
Остались все же крепость и упрямство,
Чтобы из камня высечь эликсир
Или с богами ссору вновь затеять.

Все так знакомо: девочка и мальчик,
И эта юность, этот мед в крови.
Внезапно пламя. Царственна опасность.
Я знаю, что из этого выходит,
И выльется во что, и как потом,
Гораздо позже, в самой сердцевине
Расколотой чудесной этой лжи,
Саму себя снедающей, лежит
Малюсенькое истины зерно,
Которое не растворили все
Кислоты философии. И я
Не вижу средств против меча, как только
Сам меч, и я лечить не стану жизни
Ничем — самую жизнью печат жизнь.
Я слишком стар, чтоб торговать бальзамом.
Я слишком мудр и слишком неразумен,

И слишком долго я бродил по лесу.
Обычай мира — уж не мой обычай,
И мне его повадки не подходят.

Я знаю эту девочку насквозь,
Как будто вовсе с матерью ее
Не спал. Ей дикий камень сердце тронул,
Который деньги превращает в пыль
И строит отщепенцам дом из веток
Ольхи у безымянного ручья.
Она забудет то, что не забуду,
И, может, будет знать, что мне — не знать,
Но до тех пор, пока в ней дикий камень
Силен — да будет ей он пробным камнем,
Чтоб лик двойной добра и зла она
Своими бы увидела глазами.
И если переборет в поединке —
Свободна будет; если ж сражена—
То все-таки щита чужого тяжесть
Ее не гнула.

Дочь моя и я —
Мы с жизнью не торгуемся: даем,
Когда хотим, и то, что мы хотим;
И раз отдав, мы не берем назад.
Но если уж схватили мы звезду —
То руку только чудом разожмут нам,
И все же на звезде свои следы
Рука оттиснет. Так уж мы привыкли.

Как поступить мне с мальчиком — не знаю,
Но между ними стать я не хочу.
Он крепче, чем он думает, — намного.
— Я взял жену из дома — полной чаши.
— Я взял жену из местности приятной.
— Я отнял у жены приют и кров.
— Я потащил жену скитаться с ветром.
— И вот теперь мы, Фауст, постарели.
Да будет так.

Был человек один —
Меня б он понял: он наполовину
Был иволгой, наполовину лисом.
Не Эмерсон, а тот — с пруда в Волдене.
Но он сызмальства к птицам пристрастился,
А женщины иль дочки не имел.

Наполненным стоит ведро на камне у края родника.
Но о ведрах они забыли вовсе.

Родник был зеркалом,
Прохладным и дрожащим — в нем смутные и белые их лица.
Как удивительно, что лица так похожи,
И в то же время чужды и безмолвны.

Мелора обернулась
И голосом обиденным сказала: „ Пора идти домой.”
„ Еще чуть-чуть, Мелора!”

Из родника к ним что-то поднималось
В серебряном дыму, серебротканно,
И, ветром развеваемое легким, окутывало медленно обоих.
„ Еще чуть-чуть, Мелора.”

Они уселись на бревне над родником,
И все еще глаза Мелоры были прикованы к воде.
Она колени обняла руками.

„ Уедешь ты,” — она ему сказала,
Смотря в стекло туманное. „Ты скоро уедешь.”
Вплотную подступало серебро и впитывалось в тело,
Пронизывая плоть легчайшей, ясной пылью.
Как пахли волосы ее — он слышал.
У них был запах ветра, запах листьев.
Он слышал запах этой белизны —
Нетронутой и чистой плоти запах.
Глубокий беспощадный аромат. Он яростней, чем сон.
Он сладостней, чем долгий сон под солнцем.

Он тронул за плечо Мелору.
Она его руки не отстранила, но все еще глядела на родник.
Потом неторопливо обернулась.

Рты, отражаясь в роднике, слились
В один дрожащий вместе с рябью рот.

Мелора у себя в отдельной комнатухе —
Они недаром жили на Востоке,
Они — не белая какая-нибудь рвань —
Дала дождю волос своих пролиться
Потоком, наводнением по телу,
Как по березе белой. Очевидно —
Она не та, не девочка, как прежде,
Она березы белым сердцем стала,
Завешенным руном наполовину,
Которое из света южный ветер
И бронзового воздуха соткал
На световом своем веретене.
Ее заостренно-отчетливые груди —
Как будто две победы молодые
Во тьме глухой. Когда над головою
Она простерла руки и дала
Руно струиться ниже, к самым бедрам —
Блеснуло тело, как родник под солнцем.
Себя сегодня нечем убавлять,
Но ей сегодня и не надо песни, —
Так много мыслей пробежало мимо
В короткую неспешную минуту
На маленьких, совсем бесшумных ножках.
Но им не изменить ее. Ничто
Теперь не изменит ее. Когда-то

В глухом окне ночь зимняя чернела,
Она ж — ребенок — усыпляла страх
Стихами детскими, обрывком песни.
Она их помнит, старые те песни,
Но в эту ночь она уснет без песни,
Иль с той, что слышит по ночам земля
После того, как яркий день огромно
Ее обнимет. Так гораздо лучше.

Она себе твердила: „ Я не знаю.
Не в силах думать. Я должна бояться,
Испытывать сомнения. Где они?
Как странно, не похоже ни на что.
Как будто две больших руки толкают
Тебя куда-то — ты должна идти.
Пусть ты безумна, но должна идти.
Так мать ушла. Теперь я понимаю,
Как было ей тогда. А это сладко.
Как рифмы это, и как боль. Как чувство,
Что птичье сердце у тебя в руке
Колотится. Как рост детей; как будто
Тебя насквозь осколки света режут,
И сердце ждет серебряную пулю.
Оно не очень радостно, но — сладко.
Должна идти я.”

Полуудивленно
По телу узкой провела рукою.

„Ты можешь на двенадцать стеблей красной
И желтой кукурузы разделить
Плоть бrenную и временную эту,
У разных рек сажая по стеблю.
И все ж, когда жнецы с возами летом
Придут — зерно изменится опять
И станет телом женщины — пройдет
По лезвиям серпов несчетных, чтобы
Своей любви найти нагое тело.”

Она надела платье и сошла
Вниз, крадучись. Ее босые ноги,
Шепча, почти что не шумели. Спящий
Вздыхнул, во сне ребенок повернулся.
Она, дыханье слыша, дверь закрыла.

Высоко в небе, в тучах, шла луна.
Она с минуту на нее смотрела
И ртом пила луну с небесной выси,
И слышала, как жгучий чистый холод
Так лился с пальцев серебром телесным,
Что стало тело легкое ее
Мерцаньем света полого и сока
Холодного луны.

Трава у ног —

Прохладная — была ей так знакома.
Привычно дверь она в сарай открыла.
Дверь затворилась. Тьма была вокруг.

Джек Эллиат, лежа в соломенном теплом гнезде,
Впивался в душистую тьму озабоченным взглядом.
Он завтра уйдет. Отлынивать больше нельзя.
О неразумная жажда в ночи! Чем я жажду твою утолю,
Неразумное сердце? Отчего не даешь мне покою?
Видел женщину я, облаченную в прелесть листвы,
И губами я губы ее целовал, но я должен уйти.
Он уходил, чтоб найти кусок себя самого.
Он в палатке его потерял среди красного громкого шума,
Под связкой табачной. До тех пор, пока тот кусок не отыщет,
Не бывать ему целостным вновь.

Но вокруг меня голод
Вьется, словно лоза, раздавил мою узкую мудрость,
Сокрушил мои мысли.

Он не может остаться с Мелорой.
Он не может домой ее взять. Если б был он, как Бэйли —
Знал бы, как поступить. Он бы так поступил, как поется в песне ткача.
Он ночь напролет от туманной росы согревал бы Мелору,
А с рассветом ушел бы, чтоб эту историю после
Рассказать у костра на привале. Но он ведь не Бэйли.
Он представил, что так и умрет, не познавши Мелоры, —
С этим трудно смириться.

А может быть, после войны
В место тайное скрытников он возвратится, — кто знает?
А быть может, не скоро кончится эта война,
Надо жить вот сейчас — надо девочек брать, где они подвернутся, —
Ту, с флажком на подвязке, иль новую девочку — это
Все равно — у костра разговаривать весело будет о них —
Так ведется — мужчины и женщины — Бэйли и песня ткача —

Он услышал движение и шорох в густой темноте
И спросил: „Что это?“ Ответного голоса он не услышал.
Но что это — он знал. Легконогую тень он увидел,
Подошедшую к теплой соломе его. Тогда на мгновенье
Он почувствовал слабость, почти тошноту.

А потом
Его сердце такт марша пошло выбивать —
Не сурово, не нежно, но в ритме каком-то огромном.
„Мелора“, — сказал он, и вытянул руку, и чашу груди ее тронул.

Что о тебе сказать —
О грозной красе в доспехах?
Что мне о вас сказать,
Кони, летящие в небе?
Льющейся лавы полет,

Стук, точно ритм барабанов
Варварских, золотых,
Чтоб с пламенем пламя смешалось.

Ямой сверкающей — ночь,
Где время уже бессильно,
Где есть только мощный ритм
Навстречу крохотной смерти.
И море медленно вспяты
От лунной скалы отходит,
Объятия тела разомкнут,
И слов у любовников мало.

Что это за копье,
Стрела эта в водах глубоких?
Они ее не охлаждают,
Пока она цели не сыщет.
Что за биение крыл
В сердце косматом бури,
Этого солнца восход,
Что ни разу еще не всходило?

С неба тебя сволокли
И океаном разбили
За то, что ты день, Фазтон,
Нес, грохоча колесницей.
Но все еще кони твои
Из облака страстью пышут,
И торопливое пламя
Ты сеешь на зрелую пашню.

Что о тебе сказать—
О грозной красе в доспехах?
Танец ты — и не танец,
Мгновенный союз мечей.
Мы черную дверь на миг
Ломаем ударом света,
Но было и сплыло все,
И снова мы в жизни тонем,

В знакомом и верном — в реке
Яви и сновидений,
В мечтах, что плывут по воде,
В покое, что завоеван.
Пришел, ударил, прошел —
Кинжал, кинжал заостренный.
Дитя на планете спит.
Кровь засыпает снова.

Он совсем не уходит, он просто пошел по лесам.
Так сказал он себе. С ней монетку они разломил вдвоем.

На коре с нею сердце они вырезали.

И вырезал нож

Стиснутых два полукруга – беловатым пятном на зеленой коре.

И прозрачные липкие капли смолы из надрезов сочились.

Вот и все.

Очень скоро просохнет кора, омертвев,

И останется белое сердце на ткани живого ствола

И в дожди, и в снега – на всю зиму, чтоб в чаще по призрачной вспышке

Рослый призрак-охотник отыскивал путь, проходя

Легким шагом по тропке лесной, занесенной листвою.

И всю снежную зиму останется белым оно.

Много весен минует, пока зарастет белизна.

Что же сделал я в праздности, в сладостной праздности с лесом?

Я метку на дереве сделал ножом в знак того,

Что оно – моя собственность – в праздности, в сладостной праздности

Я приаду на волю выпустил, чтобы она

Оплела меня дикой лозой виноградной,

И лесною ползучей травой навсегда-навсегда привязала

К дебрям скрытников, к дому отверженцев, к месту пропавших.

И теперь, когда вольным так хочется быть, – я не волен.

Перешел он к практичным мыслям: тут были бы к месту

Проповедник, кольцо золотое, наряд подвенечный,

Только как это сделать?

И дал он тяжелым словам

Соскочить с языка: „Под угрозою дула венчанье”, – сказал он.

Это вовсе не так, да и так никогда не могло быть,

Но смертельно похоже на то.

Он представил: сконфужен,

Соблазнитель стоит со скучающим видом, в воскресном

Чистом воротничке, с голосящей беременной дурой. На ней из марли
фата.

Непохоже на них, но в сознании мелькнул этот образ.

Если б мог он уйти без того, чтоб ему уходить!

Если б само собою как следует все завершилось

Без колец и без прятанья.

– Я ничего себе парень, –

Он себе говорил. – Я не Бэйли, не стал бы я с девочкой спать,

Которая раньше ни с кем не спала до меня,

Чтоб после взять да уйти, и бросить ее.

Но это Мелора была.

Это не соблазненная девочка. Это запутано все.

Очень ясно, когда ты по этому поводу проповедь слышишь,

И неясно совсем, когда надо по этому поводу что-нибудь сделать.

Его мысли кружили, кружили – как крысы по клетке.

И одно было ясно:

ему до отчаянья комнату видеть хотелось,

Видеть красную скатерть с бахромкой.

Там вяжет жена почти что законченный шарф,

И читает газету отец в неизменных очках,

У которых изношены дужки, и под никелированной лампой

Та же девочка так же беззвучно спрягает латинский глагол –

„Амо, амас, змат” – и все в тишине.

Дриада, влекущая тонкой рукою ползучие лозы весны —
В этот миг я тебя ненавижу. Твою белую грудь ненавижу
И праздность, сокрытую сладкую праздность —
И вдруг он очнулся. Он двигался все это время сквозь сон.
Куда же зашел он? И он присмотрелся к деревьям и солнцу.
А может быть, он заблудился? Нет, вон и тропинка.

И медленно он повернул
К дриаде и праздности, к сшитой из марли фате,
К маловероятному пастору и к отрешенью от жизни.
Сегодня же вечером он ее спросит, где пасторов тут достают.
Но старик пусть не знает об этом, пока не уладится все,
А то превратится старик в отца из дешевенькой пьески,
Превратится в отца с накладной бородой и с ружьем,
Что орет, заряжая мушкет, и риторикой крик золотит.
Тут у него невеселый вырвался смех.
Допустим, что собственник-папа пристрелит его.
Тогда его имя на обелиске солдатском
Начертят ли после войны?

Надо б сделать особую надпись:
„ Джон Эллиат младший покоится здесь. Он убит
Отцом разъяренным за славное дело Союза.
Спите спокойно, герои!”

Споткнувшись, он огляделся.
— Пройдено столько, — можно дойти и до самой дороги, — сказал он.

Вскоре, пробившись сквозь чащу кустов, он увидел
Перед собою внизу большую дорогу.
Он вытер от пота лицо.
Дорога с холма к небольшому спускалась мосту.
Он был в безопасности.

Что говорила Мелора?
Большая дорога от фермы так милях в шести
На запад ведет. Он запад узнает по солнцу.
Должно быть, пока он дорогу искал, — миль двенадцать прошел.
Но обратно будет нетрудно идти.

Солнце было высоко.
Пора ему скоро назад. А пока что он лег
И с минуту смотрел на дорогу. И было приятно опять
Дорогу открытую — пыльную видеть дорогу,
Тот путь, по которому люди и лошади в город идут.
— Дриада в чаще лесной, так крохотны тропы твои,
Так неясны, извилисты, между цветов по траве пробегают.
Но хорошо набрести на дорогу опять —
Не сонную праздностью сладкой твоей.
Он глянул на мост: там двигалось облако пыли.
То всадники были, и странно запрыгало сердце,
Ему захотелось узнать поскорей, кто они? По виду — солдаты,
Но в серых или синих мундирах — не мог различить он в пыли.
Он спрятаться должен в лесу, прежде чем подойдут они близко.
Ведь он теперь скрытник. Но все ж он смотреть продолжал
Две долгих минуты, стараясь солдат разглядеть,
Пока не почувствовал боли в глазах. Один был желтобородый;
Держал он ружье свое по-миссурийски, да только

Полки миссурийские были на той и другой стороне.
Минута еще — распознает он их — и прочь отползет от дороги.
Вдруг кто-то толкнул его круглою палкою в спину.

И голос тягучий сказал:

„Хватайся руками за небо, а то я проткну тебя, янки.”
Руки его подскочили.

— Ну, ты — никудышный разведчик, — голос сказал
С тягучим пренебреженьем, — нет даже ружья у тебя.
Я мог бы тебя подстрелить уже минут десять назад:
Ты хуже медведя шумел, пробираясь в кустах.
Ты что, — до войны заворачивал, верно, корсеты?
Да можешь теперь повернуться.

И Джек повернулся,
Не веря тому, что случилось.

„Будь проклят я.” — парень сказал,
Лицо его было похоже на сморщенный лист, он был в серую форму
одет.

„Да ты же совсем молодой — да брось убиваться,
Хватают и наших ребят. Эй, Билли, — позвал он, —
Я разведчика-янки поймал.”

Топот копыт на дороге притих.
„Ну, води его”, — голос сказал.

Джек Эллиат, вниз
С небольшого откоса скользнув, замер пред лошадьми.
Он был ошеломлен. Разве все это с ним наяву? Но лошади были
Настоящие; серые люди на них были тоже люди взаправду.

Говорил худощавый старик с кислым высохшим ртом.
„Ну, какой он разведчик! Да это один из паршивых шпионов.
Да и выглядит он, как шпион. Лучше сразу на дереве вздернуть его.”
Глаза старика бродили вокруг, ища подходящую ветку,
Рот старика усмехался.

Джек Эллиат видел,
Как колеблются в воздухе две подвесные чашки весов,
И чашка одна из блестящего олова — в ней его жизнь и дыханье,
А другая черна. И тошнотное держат они равновесье.
Но вот задрожавшая черная чашка пошла опускаться.

„Ну нет, черт возьми! — огрызнулся парнишка с лицом,
Похожим на сморщенный лист, — Он, конечно, разведчик,
Откуда в тебе эта жилка свирепая, Бен?
Ты вечно кому-нибудь справить веревочный галстук спешишь!
А если на то уж пошло, — кто из нас захватил говнюка?”
„Ну, как знаешь, — другой отвечал и плюнул на землю. —
Как знаешь.”

„Только вот, — он сказал, пожирая голодными взглядами Джека, —
Хороши сапоги у него.”

Но морщинистолыщый парнишка
На предмет сапогов заявил, что сапог отобрать не удастся
Никаким арканзасским сомам у того, кто добыл их законно.

А другие, сидевшие в седлах небрежно, смотрели на Джека
С любопытством ленивым, жуя табачную жвачку.

Джек попробовал думать, но думать не мог.

Он был снова свободен.

Эти пустопорожние люди на пустопорожних конях

Возвратили свободу ему от дриад, от отцов, от дешевой фаты,
от Мелоры.

Быстро-быстро он стал говорить. Но себя самого он не слышал.

— Но я должен вернуться, — сказал он, запнувшись. Они засмеялись.

„ Ты со временем свыкнешься, — сморщенный парень сказал, —

Это вовсе не так уж плохо — больше драться не надо тебе.

А быть может, тебя обменяют. На лошадь вот эту садись,

Нет, сперва сапоги скидавай. Вот спасибо. ”

Он на шею повесил

Сапоги. „ Эх, хорошие я сапоги раздобыл ”, — он сказал

И с ухмылкой взглянул в направлении худого мужчины

С кислым ртом. „ А теперь тебя, парень, я этой веревкой немного
скручу,

Чтобы ты от ребят как-нибудь в кусты не подался.

Ухватись за лук, что есть мочи. ”

Кашлянул чуть худощавый.

„ Говорят тебе, — разочарованно он проворчал, —

Если б вздернуть его, все бы было значительно проще.

Наверняка он — шпион, а шпионов вешают все.

Нам идти еще так далеко, а он будет только мешать. ”

„ Да заткнись, — нараспев отвечал ему Джим Брекинридж, —

Можешь вешать всех янки, которых ты в плен заберешь,

Хоть на тряпке кухонной. Ты в плен еще армий не брал. ”

Худощавый замолк. И Джек Эллиат снова увидел:

Оловянная чашечка — та, что несла его жизнь —

К безопасности медленно вниз опускалась, а черная вверх поднялась.

„ Едем ”, — Билли сказал. Кони тронулись, пыль поднимая,

И какое-то время еще чуть заметное облако пыли стояло,

Но когда уже лошади прочь ускакали —

Рассеялось облако пыли, и снова дорога заснула.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Снова мы славу Вингейту запели,

Снова поем о Салли Дюпре,

И о сиянии луны в апреле,

И о сиреновой ветке в дожде!

Вновь — о славе вингейтова рода,

О миртовой ветке у самого входа

Для тех, кто домой вернулся с похода.

Чистый ночлег для гостей запыленных,

Пунш — для тех, чья жажда крепка!

А у кухарок разгоряченных

Варятся в сидре окорока,
И вызывают у Куджо ухмылки
Запаутиненные бутылки.
Последние вина — последние с датой
„ Двенадцатый год ” или „ двадцать девятый ”.
Трижды им мыс обогнуть было надо,
Чтоб клятвенно Брук-судья заверял,
Что это вино - душа винограда,
Что даже осадки превыше похвал!

Брук — судья с двойным подбородком —
Вздыхнул над запасом кларетов своих
И отослал их в больницу с короткой
Припиской: „ Я обойдусь и без них,
Но если вино отдадут дураку,
Что путает бренди с водою лакричной
И с обществом трезвости дружит отлично, —
Клянусь, что тогда персонал я больничный
Повешу на самом высоком суку!”

Хоть вина Вингейтов почти на исходе,
Но у Луизы прическа по моде
Наполеоновского двора.
(Есть и блокаду прорвать мастера —
Сообщают о модах, привозят шелка
Увесистей слитков, белей молока,
Чтоб бабочкой в шелке блистала Аманда.
Пусть сети расставил северный флот,
Но темная рыба сквозь сети идет.
В ночи глухие без всякой луны
Огни для теней совсем не нужны,
Ткани и порох везут контрабандой,
Штык для солдат, а для дам кринолин,
Опиум, бомбы, пироксилин.
И вместе с хинином, с картинками мод
Бок о бок история тоже плывет.
Пускай у Чарлстона северный флот,
Пусть город Байу⁹⁰ у ног коммодора,
Который на все торпеды плюет,
Пусть ту же затянуты сети узоры,
Но рыба сквозь петли все время снует.
От Вильмингтона до Рио-Гранде —
Вплоть до Багамских — Юг контрабандный!
Оттуда с товаром пускаются в рейсы:
Расходы окупятся — только пробейся!
Но ловят и топят их транспорт товарный,
А выскочат — Богу они благодарны,
Готовы вновь нагрузиться — и в путь,
Им хочется смерть за усы потянуть!
О шкиперах этих нам ведомо мало,
Их даже легенда слегка причесала!
С десятков портов отчаянный люд,
Такие от всех патрулей улизнут,

Сломать они клетку огромную рады
И ради наживы, и ради бравады.
Пять лет по ночам бороздившие пену,
Вливавшие кровь в истощенную вену,
Разбогатеть помогли заодно
Тем, кто вдруг стал непонятно богат:
Мухи на сласти всегда налетят,
Вкусы одни на войне и в аду —
Благие намеренья очень в ходу,
И спекулянтов всяких полно!)

В людских у рабов — шепоток и гуденье:
Всю зиму ходили крутом привиденья
Огромные, с лошадь величиной,
И негров пугали во тьме ночной.
Но вот и зимы уже песенка спета,
И солнце сияет доброй приметой,
Время настало пирам и делам,
Курицам жареным и вертелам.
И едет домой масса Билли — слышали?
У черта он выломал челюсть из хари
И челюстью тюкнул бригаду врагов,
Вот старый-то масса Билли каков!
Он саблей расправился с армией целой
(Тот Линкум от страха не умер чуть-чуть!)
И едет, уставши от бранного дела,
На скрипке сыграть и слегка отдохнуть.

У негров-детишек бархатный взор,
И дикий друг другу несут они вздор.
В Манассаса пушки сегодня игра:
Очищена с ивовых веток кора,
За янки погоня идет по пятам,
Грохочет из кожи кошащей там-там.
Ребята счастливы без причин,
Вот мертвым из них притворился один —
И все врассыпную! Но страх иль потеха —
Дрожат голоса их от древнего смеха,
Смех сине-черною розой цветет,
Смех негритянский — не только губами, —
Крутит ступню, сотрясает живот,
Кончики пальцев колет шипами.

Прямо по саду — и в двери — и живо
Смех приглушенной волною течет,
Вверх по ступенькам вползает приливом,
Темное море все лодки зальет ...
Теплое море — пахнет травой ...
В светлое зеркало плещет прибой,
Пока у сидящей на пуфе Аманды
Искоркой новой взгляд не сверкнет;
Ищет Луиза сережки-гранаты,
А рядом струятся смеха раскаты,

Пока в темноте самоцвет не блеснет.
И в кухне он плещет, где не протолкаться,
Где сахар последний добротный идет
На торт, антарктической льдине подобный.
На тетушке Бесс необъятный капот,
Души своей тетушка тратит богатства,
Волнуясь над снедью какой-нибудь сдобной.

Толстая Бесс всех старше на свете,
Но в глазах ее блеск, как на новой монете,
Бесс два поколения баюкала мирно
На сонном холме своей груди обширной.
От первого крика вингейтских детей,
С минуты, как только ребенок родится —
Ласкать и наказывать выпало ей,
И мертвым она им смежала ресницы.
Она массу Билли нянчила крошкой,
Когда ж старый барин свихнулся немножко —
Кормила, поила и мыла его,
Другого он знать не хотел никого.
Была матриархом и слабых, и малых,
Уютно, лениво и тихо болтала.
Имела она и своих детей,
Но белые — кость от ее костей.
Их в собственность не получила она,
Но принадлежала она им сполна,
И если дележ был не равных частей,
То в старости уж не доведаться ей.
Ей в холод и в дождь Вингейты дадут
Крышу над головой и приют.
Кто мальчик-пай, кто сорви-голова, —
Тепло ей, пока у них есть дрова.
Она для них нянька, врач и закон —
Заведен порядок такой испокон.
Для них и обузой и матерью став,
Ни тех, ни других не имела ты прав.
Так будет, пока не положат в гробу
Семейного деспота и рабу.

Станный цветок из семени зла,
Владычица тех, чьей рабой была,
Кому под силу распутать клубок,
Кто рук твоих тайну прочесть бы мог?
Они тебя сделали идолом черным,
Ты мифом была для них смехотворным,
И в рабстве держали тебя искони,
Пока это право имели они.
И все-таки было что-то такое,
Что вы поделили между собою,
Смутное что-то, но в нем таится
Золота подлинная крупница,
Та доброта души коренная,
Та — непродажная, не покупная.

Выросши из безнадежного зла,
Благостность крепкой, живучей была ...

На трех столбах, что крепко стоят,
Держался весь вингейтский уклад:
И ты одним столбом была этим,
Куджо другим, а Мэри Лу – третьим.
Мэри Вингейт, что так же тонка
И так же упорна, как сталь клинка.
Дочка Бристола, Вингейта жена,
Смертью ребенка потрясена,
Уже не оправилась больше она,
Но очень учтиво на боль глядела:
Боль возьмет верх – и погибнет тело.
Но тело пока побеждало недуг.
Она гордилась красой своих рук.
Изящные руки ее поколенья
Крепко сжимали бразды правленья.
Под бархатом чинным – сталь рукавицы,
Умевшая с твердостью распорядиться.

Она за работой, чуть свечи зажгут,
И ночью глубокой берется за труд –
Улаживать ссоры и неполадки,
Лечить ревматические припадки,
Следить за кухней и за пекарней,
За пивоварней, за мыловарней,
За выделкой свеч, за шитьем сорочек,
За поведением барышень-дочек
И за житьем негритянских лачуг –
Кто в них родился, кто умер вдруг;
Сьюку обувь давай попрочней,
А Джо – в холодную на семь дней.
А Джекоба, принадлежащего Дайси,
От порки избавить еще постарайся!
Следи, чтоб фруктовый сок без заминки
Как следует капал; следи за починкой
Исправной всех рубашек и склок,
За тем, чтоб дела переделать в срок.
Учтива и все ж чуть-чуть холодна,
Редко на слуг раздражалась она,
В ошибках себе отдавала отчет
И знала женскую роль наперед:
Как, властвуя, свыкнуться с ношей семейной,
А с виду быть розою оранжерейной,
Как будто небрежным жестом руки
В ход пушены прессы, котлы и станки;
Ей грех ненавистен, а грешник ей мил.
Ей надо следить, чтобы вовремя был
Обед джентельменам – дымящийся, плотный,
Пусть даже сама она ест неохотно,
И вечно хранить тот прельстительный вид,
Что под руку брать вас мужчине велит,

Но не прибегая к тем чарам презренным,
Что головы кружат другим джентельменам,
Когда уж хозяйкою ты после свадьбы
Живешь со своим джентельменом в усадьбе.

А годы спустя, когда уж немало
Живых и мертвых ты нарожала, —
Жалей дурака, проведай больного,
Оставь за мужчиной последнее слово,
Любовь к джентельмену умеи излучать,
Когда в сапогах он ложится в кровать,
И с тактом, присущим жене неизменно,
Заведуй плантацией всей джентельмена.
То кредо досталось от матери ей,
Тому же учила она дочерей.
Библию знала она назубок,
Знала, как бросить лукавый намек
В танцах, в нарядном атласном корсаже,
Чуть колыхая веер лебяжий.
И веруя в Бога жила она верой,
Что небо с землею — две разные сферы;
Конечно, на небе всех равенство ждет,
Но прежде, чем этих достигнем высот —
Знати годится водиться со знатью:
Богом и родом тот создан уклад.
Прочие ж нам, без сомнения, братья —
Но пусть за другими столами едят.
Во взгляде известная узость была,
Но был он и крепок, и прям, как стрела,
И он помогал ей стоять величаво,
Врагов ненавидеть при кротости нрава.
Она ненавидела Север, и были
Решимость и ненависть в ней Иоили,
Чьи руки сухие, сжимаясь от боли,
Искали хотя бы шатровые колья.
Та ненависть яростью женской страшна,
Похожа на дымное пламя она.
За дьяволов-янки, честное слово,
Она в судный день помолиться готова,
Но ненависть тут, на земле — не унять,
И пусть джентельмены идут убивать.

Они убивали, и гибли они.
Она была гордостью Юга в те дни,
Когда джентельменов разбитых — в ремонт
Брала, и чинила, и слала на фронт.
Пришлось ей хозяйство вести без мужчины,
Кирпич обжигать, когда не было глины,
Воспитывать храбрость из страха, и вместо
Пшеницы — отруби брать для теста.
И был ее веер для Юга подпоркой
В те годы разрухи и стойкости горькой.
В те долгие годы, когда было туго,

Была она честью и горечью Юга.

Всмотритесь в нее вот теперь, вот сейчас:
Такой ее видим в последний раз.
Вот дом ее взрывы качают в дыму,
Он крепок, но дрожь идет по нему.
Но это — конец, и конец всему:
И белой мукe и отборным винам,
И скрипке, звенящей мотивом старинным.
Последний наряд парижский у ней,
Последний скакун благородных кровей.
... Хлеб мамалыжный, жалкая кляча,
Болт со сломанной дверью висячей;
Слез отпечатки письма хранят,
Открытая рана на лет пятьдесят —
Это конец твой, Вингейт-Холл,
Последний ясный август пришел,
Смерть была тут, смерть прошла стороной,
Но это конец, конец роковой.
Пиши еще письма, надейся вновь,
Пищу усталым мужчинам готовь,
Жди, кулаки в напряжении сжавши:
В глазах имена расплываются павших.
Придет и апрельское солнце, и дождь —
Но этот день ты ничем не вернешь.

Счастье ее, что не видит взор,
Как в дерево острый входит топор,
Изо дня в день, уверенно, грубо
Жизнь подсекая вингейтского дуба.
Хлопоты в доме, и пир горою —
Домой джентельмены вернулись с убоя.
Окорок сварен, курицы грудой,
Бесс улыбается, пробуя блюда,
У Куджо салфетки с блеском отменным —
Он знает, как пить подавать джентельменам;
Аманда с Луизою входят в зал
Из серебристого блеска зеркал.
Везде разговоры, смех, суетня,
По лестнице вверх и вниз беготня,
Тут каждый щедр, не откажет ни в чем,
Тут смерти нет, тут жизнь бьет ключом,
Война — это место, что тут не в счет,
Мир и победа стоят у ворот,
Еще один бой — Вашингтону каюк!
Янки побиты! Незыблем Юг!
И скрипкам играть, и на свадьбах гулять,
И все по старинке пойдет опять,
И внуки пойдут, и старость придет,
И мужа плечо для тебя, как оплот,
Пусть хрупкие жизни часы скоротечны,
Но дома и рода обычая вечны.

Клей тихо подъехал к усадьбе своей,
Он облако видит сперва меж ветвей,
Белого паруса блеск за холмом,
Сахарный замок в сияньи немом.
Но вот мерцающий призрак, расширясь,
Из капли нектара расплылся и вырос:
Облако взбухло, парус бутром,
Домом гиганта стал кукольный дом.
Парки, конюшни, веранды, строенья
Сцеплены в головоломные звенья.
Но вот уж Вингейт воедино, всецело
Видит усадьбы и душу, и тело.
И дом предстает ему всей полнотой –
Большим кораблем – пловучей мечтой.
Все камни ведь мертвы – не видят, не слышат,
Но эти вот камни – живут и дышат:
Там славное имя в камне живет,
И дар переходит из рода в род.
Не дом, а камень то был колдовской
С своим самолюбьем, злобой, тоской.
Так будет, пока среди этих камней
Мешают потомки Элспет Маккей
Вингейтову глину со страстью своей.
Пока еще помнят ветер и омут...

Вингейт это видел теперь по иному.
Еще не прошел никакого он ада,
Вингейту залечивать раны не надо,
Всего побывал он в сраженьи одном,
Еще не размолотым был он зерном.
Всю зиму скакал под дождем Черный Свист,
Но свежи и конь, и кавалерист.
Гордо скакал Черноконный отряд,
Как янки скакать умеют навряд,
Но в памяти жив прошлогодний рассвет:
Что-то пришло, а чего-то уж нет ...
И даже теперь, когда дышит весной,
И сердце горит возвращеньем домой –
Что-то на ухо шепчет ему,
Хоть верить не хочет он ничему:
„ Это конец, это конец,
Поторопись – это конец,
Пей, пока бокал не разбит,
С милой целуйся, пока не убит,
Сейчас она любит, а в скорбный час
Выставит сердце твое напоказ.
А друг на побывку приедет твой –
И милая станет его женой;
Ведь это, голубчик мой, все равно,
Что пока ты – немолотое зерно:
Крупные камни долбят подряд,
Пока не добьются, чего хотят.
Сорви цветок, если он под рукой,

Коснись на счастье стены родной,
Ешь до отвала и пей до дна, —
У мертвецов еда невкусна.
Это не важно, что был ты другим,
Знался с будущим и с былым, —
Ветер войны все унес, как дым.
С былым и грядущим покончен счет,
Есть только миг, что быстро течет,
Спеши, спеши, конец тебя ждет,
Конец тебя ждет,
Конец тебя ждет.”
Клей смело встречал этот шепот в ушах.
Кони, устав, перешли на шаг.
Негромко, радостью жизни объятый,
Заржал, закусив удила, Черный Свист.
Вон там — на веранде — сиделись закаты,
Там вход от высоких магнолий тенист.
И хохот отцовский звенел во дворе:
„А ну-ка — ищите нас, янки, в норе!
С приездом, мой мальчик, в родные хоромы!
Черт всех побери! А мы все-таки дома!”
Закатных лучей прямо в сердце — сноп.
Он чувствует — Свист пустился в галоп.
Клей дома себя почувствовал вдруг,
И вот уж, не давши опомниться Клею,
Мальчишка поводья хватает из рук,
И Мэри Лу обнимает за шею.

Салли Дюпре и Вингейт говорят, и музыка рядом играет ...

Бал. Замечательный бал. Вы танцуете очень легко.
Аманда прекрасно танцует. Вы танцуете очень легко.
(Вы еще не забыли тот бал?)
Вы помните Фила Ферьера? Он был тут в прошлом году.
(Он со мной танцевал. Он умел хорошо танцевать. Он убит.)
Нас всех опечалило это известие о Филе.
(А долго ли ты проживешь и сможешь со мной танцевать?)
Да, Фил был прекрасный товарищ, и все мы Фила любили.
(Не надо о мертвых.
Сперва говорим мы о тех, кто убит, и пишем о тех, кто убит,
Их вещи родным посылаем, когда отыскать можно вещи.
Мы пишем вам письма о мертвых, мы пишем — его мы любили,
Он доблестно бился, он умер героем, и вот его сабля,
Его пистолет, его письма и связки его фотографий.
Вам будет приятно иметь эти вещи — они вам заменят его.
Но тянется слишком война.
И вы временами хотите еще говорить о тех, кто убит.
Но мы чрезмерно устали. Мы все еще шлем пистолеты,
Шлем фотографии и сувениры, когда удастся найти их,
Но слишком война затянулась,
Как раньше — уже говорить мы не можем о тех, кто убит.)

Нэнси сегодня пришла. Вы с ней уже танцевали?
 Она не хотела идти. Она молодец, что пришла.
 (Фил был с Нэнси помолвлен.
 Она проводила его. Ему локон на память дала.
 Они пожениться хотели, как только Фил возвратится.
 Потом она долго черное платье носила,
 Но раз она, утром проснувшись, увидела стену, солнечным светом
 обьятую,
 Платье надела с красными рукавами и красную шаль полосатую.
 „Фил был моим женихом, — сказала она, — ему б не понравилось,
 если б я в черном ходила.”
 До того она плакала много, но с тех пор она плачет не часто.
 Она с этим справится, я полагаю, и выйдет еще за другого,
 И будет права. Когда бы пришлось мне по милому траур носить,
 Я черного бы не носила.
 Я б в лучшем зеленом платье моем и в накидке ампир
 Дома гуляла б в саду, ощущая, как ветер
 Развеивает мои непорочные тряпки и ныне и присно.
 И после, когда бы с другим женихом обвенчалась,
 Я стала б хорошей женой, и детей своих сладким вскармила бы я
 молоком,
 А не ядом, хотя и такое могло бы случиться.
 Мой муж никогда б не узнал,
 Когда прикасался ко мне, когда я его целовала б, когда был бы
 ласков со мной,
 Когда я скруток его чистила б, когда говорили бы мы о платьях
 или погоде,
 Что в жены он взял
 Нечто, принадлежащее ветру,
 Ту, что слушает этого ветра слепой и всегдашний прибой
 На своих слишком легких костях.
 Не тихий, не быстрый прибой, но безостановочный и неумолчный,
 Непорочные тряпки мои развевающий ныне и присно.)
 Вновь приглашаются пары. Станцуем еще?
 (Отчего так упорно мы ненавидим друг друга,
 Хотя мы друг к другу привязаны чем-то таким, что нас врозь не пус-
 кает?
 Увидя тебя на другом конце зала — к тебе подойду я,
 И увидев меня на другом конце — ты подойдешь.
 И все-таки мы ненавидим друг друга.)
 Минуту еще подождем. Мне хочется только взглянуть.
 (Тебя ненавижу? Неправда, тебя я люблю. Но ты сам добыть меня
 должен.
 Крохи твои подбирать не хочу, и ты жалость мою не захочешь.
 Мне сперва сломить тебя надо, и ты сломить меня должен,
 Слишком сильны мы оба, и сдавшийся город любить мы не станем,
 ни ты и ни я,
 Поэтому ненавидим друг друга.)
 Как девушка та хороша! Волосы очень красивы.
 (Она — тот фарфор, которым ты хочешь казаться.)
 Да, очень красива. Зовут ее Люси Везерби.
 (Ненавижу я волосы эти и эту хрупкость фарфора.)

Она не из здешних, а то бы ее я запомнил.
 (Мне губы такие знакомы. Твой рот не такой.
 Твой рот — он и щедрый, и горький, и сладкий — и если твой рот
 Я раз поцелую — твоим я останусь навеки.
 Хорошенький рот у нее. Целовать его можно недолго.)
 Нет, Везерби с Шепли в родстве. Из Виргинии Люси.
 (Я рот этот знаю. И волосы эти я знаю,
 И знаю я кукол, которых ты любишь брать в руки,
 Тех кукол, которых брать в руки все любят мужчины.
 Но с куклой я в бой не вступлю ни за тебя, ни за другого кого.)
 Нам лучше начать танцевать.
 (Люси Везерби.
 Когда кончится танец, тебя я оставлю и с нею пойду танцевать.
 Мне губы такие знакомы — пустые, умелые губы.)
 Как хотите.
 (Люси Везерби.
 Я вылеплю куклу из воска — фигуру твою.
 Иголкой серебряной я небольшие ладони твои восковые проткну.
 Нет, этого делать не стану.)
 Славная музыка, — льется бравурно.
 (Льется бравурно, льется бравурно,
 И сердце вяжет нитью пурпурной!
 Это конец!
 Это конец!
 Спешите, спешите! Это конец.
 Пол под ногами блестит, как каток,
 Но вдоль он сломался и поперек,
 Щели растут из-под пляшущих ног.
 Но я — Вингейт, и мне все равно,
 Еще я не смолотое зерно,
 С тобой я, пока играет смычок,
 Но волю твою я могу пресечь
 Волей моею, острой, как меч.
 И никогда, никогда в твой сад
 Птицы мои не прилетят.

Ты — дружба моя и моя вражда,
 Ты — сталь, что мне не согнуть никогда,
 Из колодца у края света вода.

Но дом Вингейтов упасть обречен,
 Упасть обречен, упасть обречен,
 Развеянный сон в руинах печальных,
 И нам не успеть из разбитых корон
 Золота взять для колец обручальных.
 Дому погибнуть настал черед:
 Жесть заржавеет, доска стгнет,
 Сломанный бюст плющ обовьет.
 И после того, и только тогда
 Пройдет наша гордость, наша вражда,
 И мы с тобою заговорим,
 Как невеста с любимым своим.
 Тогда клинки обид наших резких

Будут блеснуть непорочным блеском,
Тогда мы без слов все с тобой пойдем,
И тайный хлеб преломим вдвоем
И вместе на ложе ляжем одним.)

Да, славная музыка — плещет она.
(Слишком быстра она, слишком пьяна,
В рубашке ночной я танцую одна,
Снежной метелью окружена.
Ты моя жизнь и любимый мой,
Ты моя распря, ты мой покой,
Ножи мы скрестили — мой и твой —
Не стану тебе безделушкой-женой.

Мы связаны — все мы поделим подряд —
Тихую заводь и водопад,
Но ты на вингейтской усадьбе женат.
Но дом Вингейтов упасть обречен,
Упасть обречен, упасть обречен,
Идол, выброшенный на слом.
Раньше его на куски раздробят,
Чем я сошью подвенечный наряд
И vyšью мой вензель на сердце твоём.
Пусть дом этот в травах рассыпется в прах,
Кролики — в залах, грязь — на шелках,
Пусть в вазах купаются стаи птиц.
И нашего гнева тогда успокоится пламя,
И наши печали тогда рассмеются над нами,
И наши ножи, что враждою отлиты,
Под деревом будут зеленым зарыты.
Мы клятв не даем, и мы клятвы даем,
И вот уже гордость забыта, она не причем,
И как херувимы, на облаке спим мы вдвоем.)

Люси Везерби, свернувшись в постели своей,
В сон уплывала, и рот ее улыбался.
„ Я сегодня была хороша. Я сегодня была хороша.
Мне идет голубое — под цвет моих глаз голубое.
Я должна быть всегда в голубом. Мне тех девушек жалко,
Что не могут носить этот сорт голубого. Ее зовут Салли.
Она слишком смугла, чтоб носить те цвета, что ношу я.
Я дала бы ей платье мое голубое, чтоб только взглянуть
На нее в этом платье. Бедняжка, она бы совсем
Неуклюжей была в этом платье.

Он с нею немного сперва
Танцевал — до того, как со мною он стал танцевать.
А уж после со мной танцевал. Он довольно приятный.
Интересно, надолго ли он остается. Он, кажется, нравится мне.
Я, кажется, буду красивой то время, что здесь проведу.

Люси Везерби — Люси Шепли — Люси Вингейт —

Юджи такой же ревнивый, каким был и Керли.
Беденький Керли, мне на письмо его матери надо ответить,
Но так трудно на письма ответы писать.

Она немного всплакнула

В мыслях о Керли. Теплые, легкие слезы –
Они не жгли ей глаза: от них она храброй себя ощущала.
Ей было уже трудновато Керли припомнить,
Но так полагалось – поплакать о нем временами –
На ночь всплакнешь – а потом продолжительный сон –
Теплый, без сновидений – а после него
Вновь ты проснешься красивой.

Вытерла слезы она.

И про себя она думала с трепетом, очень приятным:
„ Ты молодец, дорогая моя. Вправду ты молодец:
Только подумать – в Манассаской битве убит твой жених.”
Керли почти что не помнила больше она.
Попыталась во тьме она Керли лицо воссоздать.
Но то было делом нелегким – другие лица всплывали –
И Юджи Шепли, и мальчиков прочих виргинских,
А тут еще нового мальчика всплыло лицо со взглядом пронзительно
темным.

Мальчики в виде солдат, капитанов, майоров,
И старики-генералы, что треплют тебя по плечу,
Раненые в лазаретах – те души, что ангелом звали тебя, –
Целый огромный мешок прелестных волнующих мальчиков,
И за тебя они бьются, а также, конечно, за Юг и за правое дело.
Ты пламенно предана делу. Ты песни об этом поешь
И мальчикам, в армию не поступившим, посылаешь ты белые перья.
А умникам – раненым мальчикам шлешь ты букеты цветов.
С Севером ты ни за что бы на мир не пошла,
Пока остается хотя бы единственный мальчик, чтоб драться за Дело;
Они тебя ангелом Дикси зовут.

И конечно они

Дерутся за дело, но ты ощущала неволью,
Что бьются они за тебя – и когда умирали они за тебя –
А также за Дело и знамя они умирали –
С нежностью билось сердце твое. Ты готова была говорить,
Что с ними со всеми была ты обручена,
Даже в том случае, если не так это было,
И милые письма писать матерям их в ответ,
Хотя отвечать на письма – не легкое дело.
Она поуютней свернулась клубком. „ Скажи мне, подушка,
Что всех я прелестней, скажи мне, что я хороша,
Скажи, что милее меня никого ты не знаешь,
Скажи мне, что новый и милый тот мальчик вздыхает по мне,
Скажи, что та Салли не может в моем голубом показаться,
Скажи, что война не пройдет, пока не побьем мы всех янки,
Скажи, что не будет морщин у меня никогда, и будут всегда кавалеры.”

В ту ночь из усадьбы Захария раб убежал.
Это был с ухом разорванным дюжий детина по имени Спэд,
Он временами хромал из-за вывороченной ступни.
В шпрамах спина у него. Сам он черен, как ночью сосна.
Уже он пытался не раз убежать,
Так отметины он заработал свои, по которым его узнают,
Но в течение года последнего был он довольно спокоен,
И решили, что утихомирился он.

Когда он убегал,
Он вначале Захария думал убить, но мешали дурные приметы.
Он с ножом говорил, только нож не вспотел, не нагрелся,
И тогда он просто сбежал.

А когда он добрался до леса
И совсем оказался один, — он сперва испугался,
Но он целую ночь продолжал пробираться по звездам огромным
и мягко светящим,
Шагая как можно скорей своими косыми ступнями,
А когда рассвело — он решил, что пока в безопасности он.
На полянку он вышел. И тут он увидел, как красное солнце
Растеклось по деревьям.

Бросил он узелок
На траву и начал смеяться, смеяться, смеяться.
„Ай да Спэд, молодец, ай да Спэд!
Повезло тебе, раз ты добрался так далеко,
Никогда еще так далеко добираться тебе не случалось.
Видно, вправду Господь за тебя!”

Он поел и попил,
И Захария тут же лицо начертил на земле в виде круга,
И в тот круг наплевал. Тут он бабу вспомнил свою.
„Она утром сегодня уж, верно, навоется, Спэд.”
Он, об этом подумав, взгрустнул, но вскоре стал снова веселым.
„Как навоется вдоволь, так все хорошо обойдется,
Эти желтые бабы с печалью умеют справляться.
Я теперь заведу себе черную бабу, как уголь,
Мне вконец надоели на персик похожие бабы.

Я вырвусь на волю.
В этот раз все приметы, как надо. Я буду свободен.
Я на Севере буду свободен.”

В мечтах он на Севере видел себя:
Он был в шляпе-цилиндре и с бабою, черной, как уголь,
Как у белого, дом у него, и есть мул настоящий,
Он за деньги работает, им не владеет никто,
У него есть и кости, что счастье приносят, и деньги, и церковь,
И на улице белых — прохожие с ним говорят, повстречавшись:
„Мистер Спэд, добрый день! Добрый день, мистер Спэд.”
Он вслух рассмеялся, сказав: „Добрый день, мистер Спэд,
Вы станете вольным, да сэр, это так, мистер Спэд.”
На какой-то блаженный момент он себя уже чувствовал там.
Но внезапно застыл он от легкого звука, расширивши ноздри.
Неужели собаки уже?

„Боже мой, — он шепнул, —
Всемогущий Иисусе, не дай им опять меня сцапать,
Лучше сожги, но не дай им опять меня сцапать,

Поймают и станут меня они резать на части.”

Поблизости кролик шмыгнул.

Спэд на миг посмотрел на него круглоглазо и дико,

Сперва рассмеялся, но сразу же смех оборвал.

„ То, Спэд, старина, не какой-нибудь кролик простой:

Это знак, старина, – поскорее смывайся подальше,

Ноги в руки бери, мистер Спэд.”

Узелок он за плечи закинул

И скользнул в направлении деревьев.

Легким был узелок. Скоро проголодается Спэд,

И большие косые ступни скоро станут кровавы и стерты.

Но он шел и смеялся каким-то странным смешком.

„ Мистер Спэд, с добрым утром, я видеть вас рад, мистер Спэд,

Мистер Спэд, а как миссис Спэд поживает?”

Дома с высокой веранды глядит на дорогу

Салли Дюпре.

Появиться должны они скоро,

Когда они в прошлый раз шли – она им флагом махала.

Теперь она будет рукою махать иль платком.

Такое уж женское дело – уходит колонна –

И женщины машут – вернулась колонна – женщины машут опять.

А если ты любишь, то ты в промежутках живешь

По скучным часам, состоящим из длинных минут,

Идущих, как женщины в капорах, мимо. У каждой из них

Сухое лицо и с усилием сжатые руки.

ЧИТАЛА Я, МНЕ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОВЬ – ЭТО МИЛЫЙ
И НЕЖНЫЙ БОЖОК,

НА ПЛЕЧАХ ЕГО БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ.

НО МНЕ НЕ СКАЗАЛИ,

ЧТО ВПРАВДУ ЛЮБИТЬ – ЖЕЛТОГЛАЗОГО КОРШУНА НЯНЬЧИТЬ

ЧТО ЛЮБИТЬ – ЭТО КОРШУНУ В КЛЮВ СВОЕ СЕРДЦЕ СКОРМИТЬ,

ОТТОГО, ЧТО КАКАЯ-ТО СТАРАЯ СПЛЕТНИЦА ИМЯ ПОМЯНЕТ.

Но вот подъезжают они.

Ей вспомнилось, как увидела она их впервые.

Теперь они стали другими. Иначе держат поводья.

Стройно едут они. Они знают, куда они едут.

Окружает их слава теперь, но у Салли насчет этой славы

сомнения есть.

И все ж, сомневаясь, она ощутила в крови своей слезы,

Завидя, с какой они легкостью едут.

Он был среди них.

Салли смотрела, как он подъезжает, и коршун ей сердце клевал.

Думалось ей – „ Но они это любят, они, как мальчишки,

В лес убежавшие, чтобы картошку там печь на огне

В чаще глухой, куда женщинам ввек не добраться

И не сказать, что картошка черна и совсем подгорела,

Что можно значительно лучше варить ее дома.

Да, домой приезжать они любят. Да, любят болеть они дома.

Им снится домашний очаг, они пишут тебе, что хотят возвратиться домой.

И они приезжают домой на короткое время,
Приезжают и учат своих сыновей слушать тот же
Свист призывный под окнами, свист, что мальчишек зовет
К подгоревшей картошке в лесу.

О свистящая смерть —
Чем тебе досадили мы в месяц какой-то пустой,
В час какой-то бесплодный, что раньше нас умирать
Милые наши должны? И подумала: „ Нет, не вынесу этого я!”
И все ж, осознав, выносила.

Ее он увидел . И лошадь он повернул.
„ Если только сюда он подъедет, — я выдам себя, удержаться я не смогу.
Я не вынесу, пусть он не едет сюда.” Он подъехал.
Он хороший наездник, подумалось ей, когда руки ее холодели.
Я запомнить должна, как он едет. Лицо его стало острее.
От усов изменилось лицо. Когда был он далеко,
Мне лицо представлялось его гладковыбритым и глаза гораздо темнее.
Я должна заменить этот образ. Очень важно запомнить его
Таким, как он есть.

Соскочил он с Черного Свиста,
Его шпоры звенят на веранде. Салли стиснула руки.
„ Если я закрою глаза — он меня поцелует. Я глаз не закрою.”

Наступило прощанье, и Салли слыхала, как вежливо произносились
слова
расставанья.

Голоса замолчали. „ Нет, нет, это невыносимо,
Зажаты тиски до отказа.”

Ее воля сломалась на миг.
И, взглянув на него, она знала — ножи потеряли свое острие,
Жизнь начнется через мгновение, и жизнь будет вечной.

Дрогнуло что-то в глазах у него. Тонкий звук появился в ушах у нее.
Этот звук шел с дороги.

Миг рухнул и мертвый лежал между ними,
Как будто разбитый в куски.

Она обернулась взглянуть, кто убил этот миг.

Люси Везерби на светлопегой кобыле,
Поводья слегка придержав, хлыстом плетеным играла
И говорила о чем-то с Вингейтом-отцом, улыбаясь глазами.
Крутом них толпился отряд, и Юджи
Вставить хоть слово в беседу не удавалось.

Люси в черной была амазонке,
Розетку из ленточек ярких к груди приколола она, —
Красные, синие ленты — конфедератов цвета.

Ей кричали ура,
Ей кричали ура, проезжающей в лентах цветных,
И это убило тот миг.

Салли взглянула
В лицо обладателя новых усов, в то лицо, что ей нужно запомнить,
И сказала: „ Прощайте.” Лицо наклонилось
Над рукой и почтительно поцеловало ей руку,

И затем удалилось лицо.

Он был вместе с отрядом теперь.

Салли с минуту смотрела на эту картину.

Люси розетку из лент отколола с груди.

Салли увидела — дюжина рук потянулась к розетке,

Люси мило смеялась, трясла своей светлой головкой,

На Юджи Шепли взглянула, взглянула на Клея,

Затем знаменосцу метнула розетку из лент;

Усмехнувшись, он ленты цветные к древку привязал.

Снова кое-кто крикнул ура.

И двинулись кони.

Мимо Люси они проезжали. Люси им махала рукой.

И в глазах ее слезы стояли, она ободряла солдат.

Салли всадника с лошастью вдаль проводила глазами —

И тогда ощутила усталость.

Когда всадники скрылись,

Люси к дому подъехала.

Женщины поцеловались.

Сперва амазонок коснулась беседа, а после — войны.

„ Я каждого мальчика просто люблю в Чернокожном отряде.

И вы, Салли, душечка, тоже, конечно? Они так любезны, так милы,

Ну совсем как виргинские мальчики наши, а душка майор!

А этот со знаменем, маленький, просто прелестный!

Вы б слышали, что он сказал, от меня получая розетку!

А что вы не пошли на дорогу — я вас понимаю прекрасно.

Ах, не правда ль — ужасна война? Эти милые мальчики нас покидают.

Дорогая, я так же, как вы, верю в то, что обязаны мы

Всеми силами им показать, что мы знаем — за нас они бьются,

Они бьются за Бога, за Юг и за Правое Дело.

„ Бог с тобой, моя детка, ты не волнуйся — красива ты иль некрасива,

Делай то, что ты можешь, и добрый Господь тебя светом Своим

не оставит.” —

Вот что старая черная нянька, когда я была еще крошкой, мне говорила.

Я всегда это помню, и делать стараюсь я все, что могу

Для мальчиков наших и раненых — в этом вся суть, дорогая,

Что только можем — все делать должны мы в этой ужасной войне.”

Да, конечно, должны, — соглашается Салли, из чашки отпив.

Про себя она думала: „ Люси Везерби. Да. Мне достать нужно куклу.

Да, с лицом твоим кукла нужна мне. Фигура из воска.

Твоим именем куклу должна я назвать.”

Но вот раздвигается сцена. Посмотрим на всю ее сразу —

Как выглядит поле игры, какова расстановка фигур.

Есть поле Восточной игры, есть Западной поле игры.

На Западе синие армии пробуют горло сдавить

Стальными когтями длинной змее Миссисипи.

Бьюэл⁹¹ и Грант против Брагга⁹² и Борегара.

Змеиную голову там ухватили они, где она прикоснулась к Заливу.

Новый Орлеан взят, вырваны зубья фортов,

Сомнительный Батлер⁹³ добился сомнительной славы,

Приказы издавши, в которых стояло, что с каждой леди,

Оскорбившей солдата Союза в военном мундире,
Поступлено будет, как с уличною проституткой,
Что вышла собой торговать. Приказы читаются злобно.
Об оскорблениях больше не слышно,
Но дамы запомнили Батлера на полстолетья,
Создав баснословного черта в картонных рогах
И Батлера, бестию, демона, вора серебряных ложек,
А был он всего лишь политиком тусклым и грубо-тщеславным,
В свою он жену был влюблен и метил в великие люди.
С дамами, Бенджамин Батлер, немудро вы поступили;
Уже остановлено, что вы не крали серебряных ложек,
Но эта история будет звенеть еще долго
На ребрах фамилии вашей и запятыает ее.
И призрачное серебро ударять будет призраку в ребра,
Пока есть у дам языки.

Наполеон был мудрее,
Но и он – некрасивой и умной де-Сталь не в силах рот был зажать.
Идите войной на мужчин – слишком долгая память у дам.

Змеиную голову держат, и хвост ее крепко притиснут,
Но сопротивляется тело змеи, извиваясь,
Не взят еще Виксбург – им Грант не владеет еще,
В тени еще держатся Шеридан⁹⁴, Шерман⁹⁵ и Томас⁹⁶,
Глаза не спускают с Восточного поля игры капитаны –
И президенты, и наблюдатели из-за границы –
Там на доске под защитой два короля –
Вашингтон, измазанный грязью, с Капитолием незавершенным,
Разбросанный, плохо мощный, осаждаемый наглыми свиньями,
Что к самым порогам подходят выпрашивать, хрюкая, хлебные корки,
Полный солдат и чинуш, полный всем обозом войны разношерстным, –
В нем полно офицеров „бомбоупорных”,
Полно инвалидов, приехавших в отпуск,
Шпиков, за шпиками следящих шпиков,
Политиков и репортеров, подрядчиков и новобранцев,
Отлынивающих от фронта, посланников, шлюх и оркестров,
И негров-мальчишек, что так веселят новобранцев,
Лбам бодаясь друг с другом – команда с командой,
И татуировщиков, и всевозможных гадалок.
Бедный, богатый, солдат, попрошайка, воришка⁹⁷,
И одинокий совсем человек в Белом Доме, где окна скрипят сквоз’ –
няком,

И чья неизбывная грусть протекает глубинным потоком
Под внешним покровом веселых историй. Притчеслагатель,
Скромный во многих делах и привычках,
Но скромный едва ль, когда его стойкость должна проявиться.
Печальный такой человек, который откалывал меткие шутки,
Вовсю хохотал над Артемусом Вардом⁹⁸, Орфеусом Керром⁹⁹,
Упрямой рукой погоняя шестерку озлобленных мулов.
Он сына утратил, но времени нет горевать,
И тактику он изучает теперь допоздна
С тем же мучительным, с тем же долбящим усердьем,
С каким он над правом сидел.

Мак-Клелан¹⁰⁰ приходит,

Мак-Клелан уходит, Мак-Клелан спешит, возражает,
Мак-Клелан так занят, что с президентом не мог увидаться,
Мак-Клелан и тем недоволен, и этим,
Правительство не оказало поддержки ему,
Правительство не понимает больших стратегических планов,
Правительство ...

Оскорбленным Мак-Клелан считает себя,
Мак-Клелан душой не кривит и прав порою бывает.
Они говорить с одиноким пришли человеком
Всерьез о Мак-Клелане с ворохом рассказней всяких:
В Мак-Клелане должного нет уваженья,
Мак-Клелан мечтает диктатором стать,
Мак-Клелан и эдак и так поступил

Человек одинокий

Слушает все эти рассказы и замечает:

„ Если Мак-Клелан одержит победу, я с радостью буду держать ему
стремя.”

А на расстояньи ста миль по прямой
Другой подзащитный король великановых шахмат –
Ричмонд – город широких проспектов.

Весь огромный военный обоз

И тут налицо: и политики тут, и войска;
Поднявшие крик на правительство редактора,
И те, кто от фронта хотят отвертеться,
Такие, сякие – но дух тут какой-то иной:
Постарше здесь все и помельче, изысканней все.
Деревья на улице стары и сжились с людьми,
Тут дерево помнит, как вашего деда по имени звали,
Еще это – город - семья, город - клан, это город,
Что думать привык о войне, как о деле семейном,
Свирespo-ревнивый и преданный женщина-город,
Как женщины-павы, что в нем в это время царили,
Готовые жертвовать сердцем и жизнью за Юг.
Но Джефферсон Дэвис немного уже раздражал их;
Они находили, что слишком уж он доктринер,
И в нем ощущается нечто от выскочки тоже.
Нет, не из Виргинии он, и деда его мы не знали.

Юг с Ричмондом в браке, но Ричмонд – не собственность Юга,
Душа есть у Ричмонда, а Вашингтон – это символ.
Ричмонд красив, остроумен, и женствен, и узок, и смел,
И, может быть, в короли он неразумно был выбран,
Но царственность в нем ощущалась, когда он играл эту роль,
И стал наконец он живым представителем Юга.
Когда он падет, – переломится Юга клинок.

Война еще прямо его не коснулась в те дни.
Мак-Клелан уже занимал полуостров, но пушки
Его еще так далеко.

А в Ричмонде дамы

В салон миссис Дэвис пришли в прошлогодних нарядах,
И скоро они из зеленых и белых своих занавесок,

Которые в длинных гостиных привыкли господ защищать от ленивого

солнца,
Бинты наготовят для тех, кто был ранен в бою в Севен Пайнс¹⁰¹.

А тот человек одинокий, чей подбородок
Схож с подбородком Джона Кальгуна, работает много,
И в ричмондском Белом Доме ему неуютно.
Он и раньше здоровьем не мог похвалиться, а тут оно стало сдавать
Под гнетом пустых мелочей, под дерганьем вечным,
От стычек ненужных с вождями и секретарями,
Трений с Конгрессом, начавшим его порицать.
С замороженной верностью он уповает на Бога,
А также нередко на тех, кто льстит его самолюбью.
Смеются за это над ним. Понять он не может насмешек.
В нем что-то такое, что гордость других уязвляет.
Линкольн бы использовал тех, кого Дэвис сделал своими врагами.
С Джонстоном сразу же он не в ладах оказался,
И он не в ладах с Борегаром, и верно не будет в ладах,
И можно бы список составить ...

В поддержке людей,
Которым при всех обстоятельствах он доверяет,
Он так же упрям, как Линкольн, но те, кому доверял он –
Все, кроме Ли – не платили ему за доверье трудом
И кончили крахом, и их неудачи на плечи ложились ему.
Его одного оставляли – ни Бог, ни жена не защита.
Его одиночество – точно начало с концом – с другим одиночеством
сходно.

Другой бы и понял его, и использовать мог.
Но Дэвис другого, того, не использовал бы и не понял.
Каждому мера своя.

И все же – глубокая верность,
Глубокая жертвенность и одинокость – вот чем
Те странные два человека связаны вместе.

Он сына тоже лишится
До того, как в его Белом Доме срок власти его истечет,
Он тоже за все неудачи станет козлом отпущенья,
И так же ему суждено предельную горечь познать,
Увидя, что дело погибло, после того,
Как силы духовные все поглотило оно,
И все ж он с пристойным спокойствием будет держаться в тюрьме,
Куда тот, другой, уж конечно не стал бы его заточать.
Трагедию эту не взвесить нам на весах,
Не уравниавши весов трагическим сердцем.
Другого трагедия многим была величавей,
Там ярость слепая рвала погромнее сердце,
Но эта трагедия более жалкой была.
Вот поле Восточной игры, где два короля в обороне,
Но кто приказал так играть, и кто королей коронует?
Такие ж, как все, города – из улиц, домов, как другие.
Вы можете взять Балтимор, но будет война продолжаться,
Атланту вы можете взять, но будет война продолжаться,
Так чем же два города этих соседних отличны?
Сражаемся мы не за явь, а за тени, что созданы нами.
Флаг – только кусок полотна, а слово – всего только звук.

Но мы из них делаем то, что не полотно и не звук, —
Колдовские черные камни — любви и злобы тотемы.
Вот также и с городами.

А третья игра ведется вот так:

Сложный расчет наблюдателей заокеанских —
И падает тень — крыла ястребиного тень —
На доску двойную до окончания войны.
Европы то тень, то Англии, Франции тени.
Хлопок воюет с пшеницей, воюет с железом
Тени в раздумьи бормочут и срок выжидают:
Коль офицеры и кони хлопчатого трона
Вдруг завоюют столицу пшеницы с железом,
То из-за рук теневых стальные покажутся руки,
Чтобы поддерживать хлопок, пищу дающий для фабрик.
Если ж легенде хлопчатого трона дадут шах и мат
Железопшеничные пешки, то тени, помешкав,
На сторону пшеницы с железом встанут тогда
И своею дорогой пойдут, переставши следить за игрой напряженно.
Пшеница с железом — достаточно ценные вещи.
Так обстоит с наблюдающими за игрой.

Игра такова.

Блокада сжимается, контрабандисты шныряют,
Бывает и доблесть, и поединки бывают.
Западная продолжается дальше игра.
Змея Миссисипи укрощена наконец,
Но бой, что идет на Востоке — сражение двух королей.
Когда под угрозой Ричмонд — тогда мы грозим Вашингтону.
Даєте вы шах королю Мак-Клелану, Хукером, Грантом —
Мы шах даем королю Джексону, Эрли и Ли.
Чтобы теперь защитить своего короля,
Сильные нужно назад отозвать вам фигуры.
Вы взяли окружность, — мы держим диаметр круга,
Поэтому двигать фигуры нам легче, чем вам.

Так тянутся годы, пока Джубал Эрли¹⁰² с седла,
После того, как пройдет двенадцать месяцев долгих
С времен Геттисбургской страды — увидит, как колют шпиль

Вашингтона

Июньское синее небо — и быть под последней угрозой северному королю.
Но тогда слишком близок уж будет конец, и хлопок увянет.
Ну а пока, балансируя в воздухе, виснет игра — и хлопок в цвету,
И наблюдателей длинные тени на доску легли.
Вот наконец свои силы из лагеря двинул Мак-Клелан
В крупную вылазку.

Может немало попробовать подступов он —

Путь чрез долину и старый путь на Манассас,
Но он предпочел на пароме солдат перебросить по морю
И высадить на полуостров меж реками Йорком и Джеймсом,
Косую и длинную руку от форта Монро
На северо-запад он к Ричмонду тянет.

Липки и мягки дороги,

Форты у Йорктауна есть, и много неведомых рек на пути;
Больше, чем Джонстон или Магрудер солдат он имеет,

Но местность помехой ему, и сам для себя он помеха,
Он вечно тревожится, что перевес на другой стороне,
Что духи погибли ходят за ним по пятам.
И все-таки влез он на этот торчащий кусочек земли,
То есть на полуостров, и понемногу ползут
Войска его к Ричмонду — медленно вверх на высокий корабль,
На капитанский, кругом защищаемый мостик.
Когда-то другие войска сошли с кораблей¹⁰³,
Чтоб город, стоящий на палубе мира, занять.
Цель их другою была, но битва — такой же свирепой,
Таким же яростным рок, и слава такою же трудной.
Но не сойдут никакие боги в дыму золотом
В эту мокрую грязь между Йорком и Джеймсом,
Чтобы какого-то с лбом горделивым героя от смерти избавить.
Здесь Библии только, и пряжки, и патронташи,
Чтоб пулю остановить, прежде чем пуля убьет,
Но чаще ее пропустить.

И когда Сарпедон¹⁰⁴ упадет,
И тяжелая тьма обовьет его члены — оставят его
Там лежать, где упал он. Не станут его обмывать — полубога —
В водах текущих Скамандра¹⁰⁵, а похоронят его
В яме совсем неглубокой и тесной.
Но если уж вонков славить — то этих людей прославляйте,
Славьте артиллерийский обстрел Семи Дней,
Славьте Фэйр Окс, а не Гектора клич или ярость Аякса.
Богом никто из них не был, и боги их не защищали.
Они были люди, как мы, и сражались, как людям пристало,
С навыком смертных. Когда умирали — они умирали, как люди.

Войско Потомака — армия наступленья,
Сплав из дюжины штатов — разрозненных и отчужденных,
Батрак, горожанин, первых дней доброволец,
На льготы польстившийся парень,
Старый солдат, новобранец и тот, кто за деньги пошел за другого,
Солдаты, что с первых же дней воевали, начавшие с битвы Булл-Ранской,
А также другие — один на другого похожи, как капли воды,
Которых сначала бывалые криком встречали:
„Вот идут они, глянь, — двести долларов вместе с коровой!”
Новой Англии скалы и с Запада крепкий орех,
С хутора парень, ирландец-авантюрист,
Немцы, учившиеся под обстрелом английским словам
И погибавшие прежде, чем вызубрят их.
Сбитое с толку оружие страшных размеров —
Из таких непохожих металлов сковали его,
И оно затупилось в руках непутевых вояк,
А затем оно потом кровавым и болью душевной сковано было повторно,
Чтобы еще один горе-вояка его притупил,
Точно об мельничный жернов, об Ли.

Жеребец удалой,

Неуверенный всадник за неуверенным всадником
Гонят и гонят тебя перепрыгнуть колючий барьер.
Валится всадник, и ты, задрожав, переводишь дыханье,
Разбитые лечат колени твои, на раны кладут твои пластырь,

Но стоит привыкнуть тебе к тому, как твой всадник держит поводья,
Приноровиться ко всем выкрутасам его джигитовки, —
Как всадник другой появляется с новой посадкой
И снова бросает тебя на ужасный барьер,
И вновь торжествует барьер, и все начинается снова —
Лечение ран, замерзание на зимних квартирах,
Тщетные марши по грязи, поносы, потеря людей,
Великолепье парадов, болтливость газет,
Горечь сознания, что вновь тебя тратят впустую,
Не так, как во имя победы расходовал мощь Бонапарт,
А неудачливо, слепо.

Пока наконец

После томительных лет — на крючке Геттисбурга
Встретился жернов с клинком, и держится крепко клинок.
И после того человек коренастый, западной складки,
Армия, чуждый тебе, не из тех, кого любят солдаты,
Как любили Мак-Клелана — всадника с жесткой уздой, —
Тебя прибирает к рукам, обращаясь с тобою
Круто и без сантиментов: угрюмо
Тебя расточая, но все же барьер разломал.
Не был идолом он для тебя никогда, как Мак-Клелан,
Но в конечном итоге ему доверяла ты. Он тебя вел на убой,
Но следил, чтоб была ты сыта. Вслед за мрачной Колдхарборской битвой
Называли его мясником и хотели выбить его из седла.
Но других мясников ты знавала, которые не побеждали,
А этот в конце концов победил.

Ты видишь его

Наклоненным над картой, невозмутимым под сильным огнем.
Ему не кричишь ты ура, как кричат новобранцы,
Все же ты говоришь: „ Ни черта не боится Улисс,
Дело знает Улисс, и его завершить он сумеет.”
Наконец ты проходишь в длинных шеренгах Большого Парада,
Армия — это начало легенды твоей и Улисса,
И навеки они перемешаны между собою.

Но пока — он всего лишь один из западных многих вождей,
А любимчик твой — маленький Мак.

Тебя еще не пошатнули

Антъетама раны, развалины Фредериксбурга,
И Чанселлорсвилл — еще только название с Вилдернес рядом,
И посты твои у Чикахомини размещены,
Они слушают ричмондский звон колокольный.
Слушай колокола хорошенько — они в этот вечер так близко:
Три суровые года их больше ты не услышишь.
Черное время войны, жестокие месяцы всех поражений
Между Фэйр Оксом и Геттисбургом,
Что вы об армии этой могли бы рассказать?
Что эти солдаты,
Собранные, как попало, войне на съеденье,
Вашим ушам, оглушенным залпами пушек, расскажут?
Что их сожженные порохом руки несут сердцу рвущейся гильзы снаряда?
Почитаем немного старые письма,
Попробуем слушать

Тоненькие и забытые голоса людей позабытых —
Они к нам взывают с обрывков бумажных,
С нацарапанных строчек, размазанных на тузах и на обороте конвертов,
И на карточках с золотой каемкой, у трупа украденных прямо из ранца.

Два брата лежали на поле Фредериксбурга
После того, как атака не удалась.
Были они невредимы, но шевельнуться боялись:
Слишком удачно стрелки пристрелялись к этому месту.
Прикрытие было у них, чтоб от пуль защищаться —
Завал из двух мертвецов. Одному из них вырвало спину
От шеи до пояса взрывом, а у другого
Ноги оторваны были. Это был щит неплохой.
Братья лежали за ним, распластавшись в грязи,
Все воскресенье, пока ночь не опустилась на поле: тогда они отползли.
Не смели они шевельнуться четырнадцать долгих часов.
Некто по имени Флетчер, винчестерский житель,
Среднего возраста, в полк поступил к Массачусетским Метким Стрелкам.

То был умелый и терпеливый охотник на уток.
Неподходящее дали ружье ему, дали двадцать патронов
И приказали отправиться в полк. Провианта не дали ему.
Он выпрашивал хлеб, кукурузы зеленой початки,
Застрелил кабана, и добрался в полк наконец, пред антьетамским боем.

Никакой он муштры не прошел, но он знал, как стрелять;
Правда, в самом начале руки тряслись у него.
„От привычной стрельбы отличается эта стрельба,
Я был зол на себя, что я вел себя слишком трусливо.“
Но как только услышал команду „ложись“ и стрелять по-своему начал —
Он освоился сразу. У него девятнадцать патронов теперь оставалось.
Он был метким стрелком. Пять первых патронов убило пять человек.
Тут заело курок. Машинально поднявшись с земли,
Стал ружье исправлять он. Ему легкое пуля пробила.
Он весь день пролежал на земле, а под вечер попался он в плен,
Был отправлен в тюрьму, а неделю спустя был отпущен.
Позже умер от раны.

Вот и весь его путь на войне.

Другие встают голоса с бумажных клочков,
Пока они в голос один не сольются, опять и опять повторяя:
„Холодно. Мокро. Мы шли до тех пор, пока с ног не свалились.
Слякотно здесь. Если б вы нас увидеть могли,
Если бы все, кто дома остался, нас видеть могли, —
Знали б они, что такое война. Мы еще патриоты,
Мы будем сражаться еще, мы надеемся, что генерал этот будет хорош.
Мы надеемся — мы победим под началом его. Мы сделаем все,
что возможно,

Но хотелось бы мне показать всем, кто дома остался,
Каково это здесь.“
Голоса усталых людей,
Больных, выздоравливающих и боящихся заболеваний.

„ Понос — это хуже всего. Надеюсь, что я не схвачу.
Хоть рано иль поздно у каждого будет понос ...
Ночью плохо мне стало. Мне казалось, что я умираю.
Джим меня растирал, я почувствовал лучше себя.
Одного только б я не хотел — чтоб послали меня в лазарет.
Не поправишься, если пошлют в лазарет.
Предпочел бы я пулю и быструю смерть.”
(Ожесточенно и нежно работают сестры, врачи,
Пытаясь отбиться от смерти — но знаний им не хватает —
Пытаются, но неудачно.
Старая матушка Бикердак¹⁰⁶, Клара Бартон¹⁰⁷,
Заваленные работой adeпты здравого смысла,
Ухаживая и леча, упорный путь расчищают
Среди ханжества, бюрократов и зависти мелкой,
К кипящему фронту спеша с драгоценным снабжением,
Несмотря на мор и на глад, на потоп и напыщенных дурней —
К смертоносному месту, где руки хирургов свело
Под тяжестью боли, которую им пришлось причинять,
Там, где класть приходилось на раны солдат кукурузы зеленые листья,
Оттого, что другой у них корпии не было вовсе.
Уитмен с мешком табака и кульками засахаренных апельсинов
Проходит по страшным палатам, набитым людьми,
Слушает раненых, пишет им письма, пытается вдунуть
Крепкую силу свою в свинцовые губы.
Делает он все, что может. Делают все, что могут, врачи.
Сестры спасут какую-то жизнь, а там и другую,
Но мрут в лазаретах больные солдаты, как мухи.)

Мальчиков и мужчин голоса,
Толкующие о мелочах, с упрямой тоскою по дому.
„ Еда у нас лучше сейчас. Из меня выйдет повар хороший.
Пища плоха. Вся рота хором кричала вчера — „Черствый хлеб!”
В полку нашем трое всего исповедуют веру Христову,
Я этим весьма огорчен.
Хотелось бы мне, чтоб увидели вы, как нам тут живется,
Чтоб каждый, кто дома остался, увидеть бы мог, каково тут.
Холодно. Грязно. Ботинки мои развалились в походе.
Проиграно нами сражение. Был пьян генерал.
Это — самая тяжкая жизнь, какую можно представить.
Если только домой я вернусь — ”
И снова, и снова твердят патриотизма шаблонные фразы:
„ Мама, я к смерти готов за Союз. Если в этом бою
Нам суждено умереть — мы погибли за правое дело.
Мы храбро погибнем — вы можете не сомневаться.
Завидная доля — за наш высокий Союз умереть.
Его мы спасем иль умрем за него. Я только надеюсь,
Что быстро умру, я надеюсь, что мне не придется
Лечь умирать в лазарет.
И еще одна мысль для меня хуже смерти. (Снова и снова
Это они повторяют.) Мысль о том,
Что заркоут меня, как нас здесь зарывают
После сраженья. Нас едва засыпают землей.
Даже думать мне тошно, что так меня тоже заркоут.

Но когда только смертью мы можем спасти наш Союз,
Верьте нам — мы умрем за него.”

И за всем этим — как лейтмотив, как гул глубокий органа:
„ Нам голодно. Холодно нам. По грязи мы шли целый день.
Когда мы добрались до лагеря, мы уже падали с ног.
Не верьте тому, что пишут газеты о нас, —
То подлая ложь.

За Союз наш мы к смерти готовы.

Но хотелось бы мне, чтоб вы все увидали, что это такое,
Разве кто-нибудь дома может представить себе, что это такое?
Мы готовы сражаться. Мы знаем — мы можем в бою победить.
Но в боях, где нельзя победить — для чего они тратят солдат?
Где он — тот человек, что сумеет вести нас к победе?”
Это пишут сознательные, что умеют письма писать.
Несознательные — те просто страдают и терпят.
Но бывает хорошая пища, бывает и смех у костра,
И погода хорошей бывает, и бывает частичный военный успех
В течение этих двух лет.

„Почта пришла. Благодарю за газеты.

У миссис Вилсон мы пообедали славно.

Я хорошо себя чувствую нынче. Вчера мы поставили пьесу.
Видели б вы, как Джим Вилер хорош был на сцене в комедии

„Ящик и

рулевой”!

Наша ячейка христиан собирается чаще теперь,
И явственно дух внутри нас говорит — Господу Богу хвала.
Два дня назад президент нам устраивал смотр.
Если б ты видел, отец, это было так грандиозно —
Великолепнее зрелища я не видал,
С гордостью я сознаю, что я — этой армии часть.
Мы получили табак. Я носки получил. Хорошо себя чувствую я.”

Все это так — и все ж глубоко под этим звучит лейтмотив:
Холодно. Грязно. Унылое недоуменье.
Мучат поносы, и слабость растет. Хлеб испорчен жучками.
Мы сделали все, что могли, но нас снова побили.
В чем ошибка была — мы не знаем, но, верно, ошибка была.
Где найдем мы того, кто действительно нас поведет?
Когда перестанут расходовать нас бесполезно?

Потомака армия — армия смелых людей —
Снова и снова били тебя, но тебя не сломили —
Тебе суждено победу в конце одержать.
Но эти унылые месяцы — они истерзали тебя.
Замирает твой голос.

Давайте послушаем голос

Стойкого в битвах врага твоего.

Виргинии Северной армия — о легендарная армия,
Странная армия из оборванцев особого склада,
Тут и охотники, и пастухи-дикари, и конный, и пеший,
Машинам чуждые люди, выросшие, как трава из земли,
Все еще в массе своей льнувшие близко к земле,

Как льнет к ней стебель гороха иль корень жасмина,
Те, что с презрительной ленью восстали против машины,
Подняли бунт против камер сгоранья стальных,
Против почти что рожденного века машин и чугунных рабочих.
Воины, что по старинке сражаются кланом,
Армия, где неотесанный белый бедняк и плантатора сын,
Куда приезжает один с сундуком, полным тонких рубашек,
И со слугою своим, чтоб эти рубашки чинить,
А другой прибывает с ружьем, — из него он стрелял в Королевских
горах, —

И его все имущество — пара штанов да солнцем сожженные руки.
Демократия с примесью аристократии,
Вооруженная очень слабой надеждой. Тут ученый листал
При свете костра страницы арабской грамматики,
А рядом горец, тянувший слова, рассказывал грязный и старый, как
мир ,
анекдот.

Тут в Рокбриджской служил батарею сын Ли пушкарем,
А другие два сына его генералами в коннице были.

Богомольная армия, где проповедников много и шуток соленых полно,
Где споры ведутся о Боге, о Дарвине и о Викторе Гюго,
Где решили: процесс эволюции, может быть, к янки вполне приложим,
Но не может быть речи о том, чтобы Ли был с хвостатой дрянью
в родстве,

И себя называли — „злосчастные Ли мизерабли“,
Когда вышел роман, взбудораживший, армия, дух романтический твой.
Изобретателей армия, кофе из земляных орехов варивших,
Хлеб умудрявшихся печь, насадивши тесто на шомпол,
Тех, кто отчаивались и ругались, смеялись и пели песню „Лорена“,
Шли в пустыни, страдали и гибли, и до конца воевали.
Сентиментальная армия — песня „Лорена“ тебя умиляла,
Сентиментальная пошлость любая могла тебя за сердце брать,
И плакала над пересмешником ты на могиле у Халли,
Когда у тебя посерьезнее были причины, чтоб плакать над собственным
горем;

Образом женщины тронута — принятым, старым, насыщенным
книжностью,

Представленьем о ней, как о полуцарице и полурабыне,
Образ был лжив — и правдив, и уже начинал исчезать.

Голодная армия — после того,
Как цвет твой растратился весь, и весна твоя мертвой лежала —
Страшную линию фронта под Питерсбургом ты все же сдержала
В схватке смертельной.

Теперь ты тоже легенда.

Легенда дала тебе славу — и славу твою омрачила.
Удар победителя с ног побежденного валит,
Но годы пройдут — и становятся оба легендой,
Битая карта становится картой волшебной —
(Ведь победитель уж плату за труд получил — победу свою);
Так и с тобою — легенда уже создала непорочное войско
Из пыльных солдатских колонн, из людей с ногами, стертыми в кровь,

Из людей, которым жизнь сладкой казалась, и умирать не хотелось;
Из людей, ворчавших в сердцах на правительство, на офицеров.
Непорочною ты не была. Свои у тебя были трусы,
Свои подхалимы, прохвосты, свои изуверы,
Свои дикари. Ты устала от маршей, ты кляла холодину и дождь.
Ты проклинала войну и солдатскую кухню – и шла до конца.
Но все-таки было что-то в тебе, что достойно легенды.
Но что это было? И что голоса твои смутные, слабые нам говорят?
„Когда-нибудь мы возвратимся домой или нет? Добьем ли мы их
наконец?

Мы драться должны до тех пор, пока наконец не добьем их.
У них есть и пушки, и деньги, и больше народу,
Но мы должны их теперь разгромить.
Не из-за рабов мы воюем.
Из нас большинство никогда не имело рабов и иметь их не будет.
Деньги нужны, чтоб рабов покупать, – большинство из нас –
бедные люди.

Но Северу мы не позволим командовать нами,
О чем бы дело ни шло – о рабах или о чем-то другом.
С чего началось – мы не знаем, но вторглись они
На землю нашу теперь, – и мы драться должны до тех пор,
Пока чертов янки последний к себе не уйдет восвояси.
Мы думали раньше, что можем побить их шутя, –
Теперь мы не думаем так.

Опять и опять наступают они,
Их пушки стреляют значительно лучше, чем наши,
И нет у нас прочной одежды такой, как у них.
Нам остается держаться, пока не расправимся с ними и независимы
станем.

Это единственный выход.

Но есть среди нас и такие,
Которые в недоумении, и в общей картине хотят разобраться;
Слыхали о ричмондских спекулянтах они,
О бомбоупорных субъектах, о тех, кто получает отсрочки
И вкусные ужины ест, и о всяких подобных вещах;
Они говорят потихоньку с горечью едкой:
„Это война богачей, а сражение бедных.”
И может быть, больше со временем станет таких среди нас, кто эти
слова повторяет.
Но большинство из нас держится стойко, покамест не падает с ног.
Мы зубы сцепили и держимся.

Начальство у нас – первый сорт.
И сколько бы ни было янки – это не важно, –
Наш Джек-старина с массой Робертом справятся с ними,
Мы, как Моисей, будем топтать пешком и драться, как черти,
И мы должны победить, если оба они не умрут,
Но Бог не поступит так подло, чтоб взять их обоих,
Поэтому держимся мы и будем держаться. ”

Путь их лежит
На Вилдернес¹⁰⁸, Аппоматокс¹⁰⁹ – к гибели славной мечты.

Виргинии Северная армия, ты, легендарная армия!
Кто же вожди твои были, в которых ты верила твердо,

Кто боевым твоим знаменем был?

Вызовем тени из мглы,
Вызовем мертвых из мглы и посмотрим, как мимо проедут.
Высок первый всадник, высок, со смеющимся ртом,
Его борода так расчесана гладко, как кудри красавиц,
И страусовое перо изогнулось на шляпе его,
Блестит золото шпор, и сидит он в седле,
Как врожденный наездник.

То Стюарт из Лорел Хилл¹¹⁰.

Стюарт — „красавец“ и кавалерии гений.

Он — бесшабашный, веселый, набожный и театральный,
Жестов любитель, любитель рисовки,
С актерским изяществом, с легким стремительным шармом,
Сводившим женщин с ума; безудержный дамский угодник,
Но поклоняется он такому трезвому богу, как Джексон;
Руперт, который пьет редко, а молится часто,
Любит детей своих, пенья, шпоры, сраженья, жену.

Следом за ним едет Свини — личный его музыкант, что на банджо
играет.

За ним молодые толпятся виргинские земли,
Кони и люди, Динвидди, Огуста, Принц Эдвард,
Кумберленд, Ботеторт, Галифакс, Ноттовэй,
Мекленбург, Беркли и мэрилендцы, —
Пока не пришел Шеридан, им наездников не было равных.
Вот призраки-пушки катятся мимо со скрипом. То Пелхэма пушки.
Тот юноша тихий со ртом ветерана — Пелхэм и есть.
Двадцать два года ему. В шестидесяти битвах он будет сражаться,
Не потерявши ни разу оружия.

Проехали пушки.

Вот бесконечную лентой пошла подвигаться пехота.

А. П. Хилл¹¹¹ в авангарде. Он малого роста и щуплый,

С подстриженной красной бородкой такого же цвета,
Как и рубаха, которую он надевает в сраженья.

Джексон и Ли позовут его в смертный свой час.

Следом за Хиллом едет голландец Лонгстрит¹¹²,

Упрямый, напористый тяжелодум,

Его одолеть так же трудно, как что-то ему втолковать;

Прекрасно командует корпусом, умеет хваткой бульдожьей
вцепляться,

Но очень опасен, когда он пробует самостоятельно думать.

Это попробовал он в сражении при Геттисбурге.

Но до Геттисбурга и после — он хваткою мертвой хватает.

Вот Эрли, а вот Д. Х. Хилл¹¹³, а за ним Фицью Ли¹¹⁴;

Желтоволосый Гуд, в ранах, с пустым рукавом¹¹⁵,

С викингм схожий, ведет он техасцев своих,

Мощный, как северных витязей меч, и такой же громоздкий;

Все в нем от льва, и нет ничего от лисицы.

Когда он сменяет

Джо Джонстона — гибнет он сам и армию губит.

Но за собою умел он вести на отчаянный штурм, подобно маршалу Нею.

Вслед за ним дюжие парни — техасцы — уходят во мглу.

Но кто же за ними идет?

Это — виргинские лица,

Виргинская речь. Это пехота и конница Джексона,
Это войско долины,
Гранитостенной бригады ряды,
Ручьи Шенандоа в строю.

Проходит Юэлл –

Маленький дятел, с причудливой речью и лысый,
С ногою своей деревянной, торчащей с седла,
Бормочущий: „Сэр, генерал-майор я из нервных,
Генералу Джексону стоит прислать адъютанта,
Как сразу же я ожидаю серьезно приказа
Взять штурмом Северный полюс.” Едет он дальше
И усмехается, полный причуд и отваги,
Себя посадивший на кашу одну из-за мнимого несваренья желудка –
И готовый по первому слову Джексона Северный полюс пойти
штурмовать.

А дальше штабные – и низкорослый Гнедой – и облик суровый
Пресвитерианской фигуры в шапочке плоской;
Неловким движеньем он вскидывал левую руку,
Вот так он и пулю поймал на лету при Булл-Ране,
Неловкий, выносливый, мрачный –
Круглоголовый, в другом оказавшийся веке,
Но с любопытною искоркой яркой от кавалера,
Его заставлявшей цитировать в тексте приказов Меркуцио речи,
Слабость к стрельчатым окнам питать, цвет любить страстоцвета,
Мексиканское солнце, всех яростных, диких красивых животных;
Джексон – стена из гранита – бородой и молчаньем укутан,
С глазами Кромвеля, всегда по-кромвелевски быстро
Готовый жестокий рецепт применить в обхождении с глупцами,
С врагами, с колеблющимися. Он круто
Умел обойтись со своими, и круче – с врагом.
Железный меч, посвященный железнному Господу Богу,
И все же из всех проходящих людей только в нем
Жестокой поэзии странное скрыто зерно,
Оно глубоко залегло в каменистых стенах его сердца,
Оно лишь блеснет иногда – и сейчас же исчезнет.
Сверкает оно в его предсмертных словах.

Честолюбье глубоко

В нем сидит. Он талантлив, в таланте своем он уверен,
Неталантливый людям не даст он себе досаждать чепухой.
Но только Господь поражение дает и победу,
И Ли на земле – наместник Господа Бога.
Временами не нравятся Джексону планы земные,
Но если отдан приказ – он подчинится приказу.
Что он думал о Боге – мы знаем; хотелось бы знать,
Что он думал о Боге и Ли, сливая обоих в одно.
Две вещи о Ли он сказал, которые следует вспомнить:
Когда он увидел впервые того, кому верно служил, –
„Я не встречал, – он сказал, – экземпляра людского прекрасней,
чем этот.”

Затем, уже позже, в зените славы своей он сказал –
Как талант говорит о таланте, который побольше, чем просто талант:
„Генерал Роберт Ли – сверхъестественное явление,
Он единственный в мире, за кем я пойду, завязавши глаза.”

Вспомните эти слова и того, кто сказал их,
Когда вам представится Ли, точно мрамор холодный.
Никто так не знал себе цену прекрасно, как Джексон,
И дутую славу никто так разбить не стремился.
Он мимо теперь проезжает в своем запыленном мундире.
Заветный лимон, изречения Наполеона
И Библия — в сумке седельной болтаются вместе.

И вот наконец —
Путешественник¹¹⁶ и хозяин его. Взгляните на них хорошенько.
Лошадь железносерого цвета, ростом в четыре аршина,
С сильным крупом, широкой грудью, короткой спиной,
С ушами изящными и небольшой головой и послушливым ртом,
Тонконогая, с черным хвостом и черною гривой,
Быстроглазая, мудрая лошадь.

Бесценнейший клад —

И для рук, и для ляжек наездника лошадь такая.
Ей почти что не надо поводьев — достаточно слова.
В Виргинии в те времена разводили таких лошадей;
О таких лошадях и после их смерти не забывали
И хоронили вблизи от земли освященной —
Так, чтобы если их спящие всадники встанут,
То лошадей они вызвать заклятьем могли бы
Из-под земли и поехать, следов на траве не оставив,
С той же посадкою прежней и так же легко управляя.

Глянем на всадника.

Серожелезный он тоже,
Но и в густых волосах, и в бороде тупой
Пробивается иней.

Широколобий,
С глазами, посаженными глубоко, и носом прямым.
Четко очерченный рот и упругие губы.
Великолепно сидит голова на плечах.

Они под стать друг другу — конь и всадник,
И соразмерность красит их обоих,
И лишнего в них нету ничего,
И ничего в них нету вне пропорций.
Но молотом мощь Джексона ковалась,
Который след оставил. Эта ж мощь
Искусством создавалась столь же трудным,
Но нет следов усилий: виден труд
Лишь в четкости и точности созданья.
Вновь — мраморная статуя у нас,
Ли — с греческой монеты голова,
Ли — образ полубога, что стоит
От Вашингтона слева — обожаем,
Далек и непонятен — навсегда
Лишенный плоти, крови и костей,
Из жизни в лед легенды заморожен,
Ли — статуя из белого стиха ...

И как очеловечить этот сплав
Уединенной мягкости и мощи?
Его своим ораторством мертвящим
Укрыли двадцать тысяч юбилеев
В честь генерала Ли. Как показать,
Риторике всей этой вопреки
И меду тошнотворному речей,
Ту соразмерность — не покой, застывший
Из-за того, что не было огня,
Но силу, что огнем повелевает
И что в самой себе огонь таит?
Он был любим, он был боготворим,
Был наделен высокими дарами;
Тяжелые он ноши брал на плечи
И нес их хорошо. Он верил в Бога,
Но много не читал проповедей,
Он верил в долг и следовал ему
С примерной неизменностью и силой.
Велик был в пораженьи и в победе,
Всегда самим собою оставаясь.
Солдаты за него на гибель шли,
Но он щадил солдат, где только мог.
Был добрым, но ему повиновались.
Он любящим был мужем и отцом.
Он был надежным другом. Не был юмор
Его чертой, но все ж шутить любил он,
Не обижая, а обворожая.
К нему тянулись, хоть и был он сдержан.
Он славы не искал и не чуждался,
Он не был ни напыщен, ни завистлив,
Но цену знал себе, и умер так,
Как жить предпочитал — без громкой фразы,
Со здравым смыслом, мужеством, упорством;
И навсегда для нас он воплощеньем
Остался эллинского чувства меры
И нерешенным ребусом. Хоть все,
Что мы о нем сказали — правда, но
Из этого ничто нам не поможет
Понять, что это был за человек,
И сам он нам не станет помогать,
Пока он в силах сердце вглубь запрятать.
Он с вежливостью непоколебимой
Отдаст вам, улыбнувшись, все молитвы,
Отдаст мундиры, письма, побрякушки,
Приказы, фотографии, геройство,
Даст доброту, советы — это сделав
С изяществом и мягкостью особой,
И вы решите, что вы уловили
Его всего, что он у вас расписан
По пунктам, что он понят без труда —
И это так.

За исключением сердца.

Секрет весь в том, что сердце вглубь он спрятал,

Хоть жизнь его прошла вся под лучами
Открытого и яростного солнца.
Он был свободен в письмах, и слова
Не взвешивал; со всякими людьми
Беседовал, и сердце утаил
До самого конца от всех отмычек
Биографов.

Он человеком был,
И знал, как человек, любовь, разлуку,
Восторженную радость, скорбь и смерть.
Военные уловки все он знал.
Он наносил и отражал удары,
Он был столпом, опорой государства,
Мечты национальной воплощением.
Но государство пало, и мечта
Рассеялась. И превратилась жизнь
Его в сплошную горечь. Но какою
Была его печаль, какою радость,
Что чувствовал, когда вокруг он видел,
Как силы истощаются впустую,
И как таило сердце горечь молча –
Он нам не скажет.

Можно лгать о нем,
На чучело его надеть мундир,
Сужденья наши вставить в рот ему,
Сказав: „Вот здесь, должно быть, Ли подумал”,
И – „По всему, что нам о нем известно,
Мы можем высказать предположение,
Что угрызенье то или иное
Почувствовал тут без сомнения Ли.”
Но остается за пределом он
Всех наших режиссерских постановок –
Отъединенный, замкнутый, как лед,
Как пламя, замурованное в камне.

Но на его лицо взгляните вновь,
Еще ... еще ... внимательно всмотритесь –
Он – не покой, а действие, движение;
Он, прошептавший – „Очень хорошо,
Что так война ужасна, а не то
Мы полюбить ее могли бы слишком,” –
И показавший вдруг всего себя
В обдуманности этой краткой фразы, –
Он мыслить мог, но это был боец,
Искусный во всех видах обороны,
Но не оборонявшийся тогда,
Когда была возможность нападать,
На страшный риск идущий вновь и вновь,
Не отступая, если мог ударить,
В опасном месте разделяя силы
Некрупные, чтоб, вновь соединив их,
Сильнейшего противника разбить;
Военную удачу, случай, шансы

Он презирал, и делал ряд шагов,
Казалось, безрассудных до предела:
Но то не безрассудные поступки —
Они не раз к победе приводили;
Мы безрассудным Ли не назовем
Затем, что облик весь его встает
Пред нами в соразмерности спокойной,
И безрассудство ей подчинено,
Но и уменье нападать в нем скрыто.
Он не был с жизнью кроток. Справедливость
Его не одурманила. И в схватку
Вступал он с жизнью, как борец с быком —
Молниеносно. Жизнь к нему не шла,
Когда стоял он в ореоле славы,
А он шел к ней, и за рога схватив,
Валил на землю.

Он умел сносить
Те перемены, что приносит время,
Роль горькую изведать поражения
За неотступной шахматной игрой
Выносливости медленной, но если
Была возможность — он в атаку несся,
В атаку бросив силы без остатка.
Не камнем сердце было у него,
А было сердце у него трубою,
Которая в ответ на долгий вызов
Гремела гневом, страшным потому,
Что был он музыкален от начала
И до конца.

Еще он раз сказал
О жизни примечательную вещь:
„Чего-то мне всегда недостает.”
И не заметишь этой краткой фразы,
Скользящей мимо, еле уловимой
В потоке благолепной ровной прозы,
Где дышит мягкий юмор, где идет
Речь о котах и нормах поведения,
Моральных обязательствах и бедных
Холостяках, о земледельи —но
Вдруг будто мрамор трещину дает,
И странный незнакомый человек
Лицо свое показывает миру,
Каким его не видели еще.
Чего-то хочет он. Не генерал,
Что хочет для оборванных солдат
Сапог и провианта, не отец
Заботливый, который для детей
Чего-то хочет — и не так, как хочет
Победы патриот — нет, ! ни один
Из этих Ли, которых мир узнал
И золотыми лаврами обвешал —
Но человек, который, очевидно,
Все получил от жизни — все сполна

(За вычетом последнего успеха,
Зато взамен его — такую славу,
Которая простой триумф затмила),
Он — меры сын и долга старший меч,
Он — сдержанная маска, — все ж чего-то
Ему хотелось — где-то, как-то, вечно.
Ответьте же биографы с отмычкой:
Что он хотел? Чего он не имел?
Он только раз обмолвился об этом
И удалился в мрамор — но внутри
Там человек укрылся — мощь жила,
Которая пыталась спорить с Мерой
И умерла бесследно, не оставив
Легенды, по которой было б можно
Восстановить ту мощь. Живут еще
Мифические Ли, но как же тот,
Единственный? От первого лица?

Где фут земли — там царство муравью,
Но и земля не все вмещает в мире,
И новую мы землю создадим
Из летних облаков, из летних, чистых.

Нет, это не был Бог, или любовь,
Или земная слава, или что-то,
Что не успел он в жизни довершить;
Что нужно Мере? Есть у Меры все.
Чего желать предельной жажде плоти
От неба — кроме неба самого?
Но он желал. И этого довольно.

Он в тьму на Путешественнике едет.

Непрестанные пушки, замолчите на миг.

Теперь замолчите.

Мы знаем, что вы ненасытны. Мы слышим колес ваших грохот,
Сокрушающих заросли июня,
Виргинского июня.

Железом ободьев повозки под тяжестью боеприпасов скрипят
И давят заросли папоротников и мхов,
Кроликов, опоссумят пугая в пути,
Малиновок и пересмешников в чаще пугая,
По мере того, как Мак-Клелана армия движется дальше.

Мы знаем, что скоро кровавую жажду свою
Красными брызнувшими виноградными соками вы утолите.
Но сейчас мы хотели б, чтоб вы успокоились и обратили к луне свои
жерла:

Ничего, кроме вашего шума, услышать нельзя, когда вы говорите.
А нам бы хотелось теперь послушать немного
Женщин и мужчин голоса.

Джек Дифер, бочкогрудый пенсильванец,
С крысиным взглядом низкорослый Шиппи
И Брекинридж — юнец нескладный с гор,
Салли Дюпре, Мелора Вайлас, Клей,
Рабы в лачугах, Спэд, бредущий лесом
В лохмотьях, — всех мы их порастеряли,
Когда над ними молот нависал.
Мы вновь теперь должны их разыскать.

Джек Дифер — в частях, что сойдя с кораблей, атакуют.
Он бился в Фэйр-Оксе, в походах бывал, но таким же он с виду остался,
Он медленно думает, медленно ест, и на лошадь похож ломовую.
Не очень-то он одобряет, как в этих местах хозяйство ведут.
Тут солнце греет неплохо, ну, как на чей вкус ...
Однако поля и амбары выглядят странно, совсем необычно,
Не как в Пенсильвании.

В недоумении плюет он.

Как только время урвать удастся — короткое, смятое вновь он читает
письмо,

По круглому жесткому почерку пробует он разгадать,
Как дома на ферме дела обстоят.

Мальчишка его — молодец,

Но разве со всею работой управится он, и работница тоже?
Джек знает, как трудно бывает с погодой и с батраками.
Драться с мятежниками за спасенье Союза не прочь он,
Но если за дело взялись, то скорее с ним надо покончить;
Они не считаются с тем, как всходят посевы, —
Не можешь уйти ты, и ферму, как лавку, закрыть.
Нельзя ожидать от мальчишки, чтоб все он умел,
Иль от наемных рабочих, нет, сэр!

Он шагает, как вол.

Он хотел бы увидеть мальчишку и бабу опять,
Оладий поесть, и улечься в кровать, и на сено взглянуть.
Дело прежде всего, — это так, но когда они с делом покончат —
Он в общем не может пожаловаться ни на что —
Нет, погода его удручает больше всего,
Тут погода, конечно, совсем не такая, как там,
Так-то так, ну а все ж каждый день он на небо глядит, просыпаясь,
И прикинуть пытается, как сейчас дома с погодой.

Невзрачный, с крысиными острыми глазками Шиппи
В старый ричмондский дом пробрался во время осады
И встретился с женщиной там в строгом черном шелковом платье.
Мягкий голос, и нежные хрупкие праздные руки,
И спокойно лицо, как красивая гладкая, чуть полинявшая маска,
А под брошью, в груди — невероятная тайна хранится.
Эту женщину можно представить с вязальным крючком из слоновой
кости,

За работою чинной над кружевом, чинно поющей тихие гимны
У ручного органа старинного, перед зеркалом, чуть замутненным.
В Ричмонде ей предстоит всю войну пережить.
Женщина эта — шпионка Северных штатов¹¹⁷.
Ее не схватили ни разу, не заподозрили даже ни разу,

Так она и умрет — с губами, сжатыми чинно,
Хранящими тайну ее.

Шиппи боится.

Она указания дает ему — он пытается все их запомнить,
Но потеют ладони его, и бегают глазки по полу,
И шуршание черного шелка путает его.
Он хотел бы опять очутиться в гостинице Поллет,
Рядом с горничной Софи.

Женщина все говорит,

А он слушает. Женщина смотрит, как будто насквозь его видит.

Мелора Вайлас встала на рассвете,
В дно жестяного таза посмотрелась.
Как жаль, что нету зеркала у ней.
Тупая мысль ударила: уже
Два месяца, как он исчез, а я
Привыкнуть не могу, а я должна привыкнуть.
Я, может, вместо этого умру.
Нет, если бы он умер, я бы знала.

Салли Дюпре утомилась, над корпией сидя,
Но руки ее продолжали работу. Часы идут и идут,
Как женщины в чепчиках. „Придет ли день, когда он вернется ко мне?“
Она перестала щипать и задумалась — как из коры ивняка
Кофе сварить, а жизнь из голого прутика сделать ...

А Спэд убежавший уставился в холод Полярной звезды ...

Лука Брекинридж притаился в пикете в лесу,
О горничной он вспоминал в гостинице Поллет.
Хотелось подраться ему. В последнее время ему не везло.
Джиму, кузену его, на Западе здорово было:
Он ездил верхом, и разведчиков янки он в плен забирал,
А здесь вся зима состояла из грязи сплошной и работы.
Раз десять его уже чуть не судили военным судом,
Хотя он был метким стрелком.

Горничной имя

Софи. Худышка, испугана и низкоросла.
Но ему нравилась внешность ее и большие глаза.
Хорошо бы ее подкормить и взглянуть, какова она станет,
Если драться когда-нибудь с янки они прекратят.
Янки вовсе не все были Кэлси. Он знал теперь это.
Но всегда он высматривал Кэлси, когда он сражался ...

Клей заснул, завернувшись в свой плащ, и девушку видел во сне
С лицом, как у Салли Дюпре, а с ртом, как у Люси,
И проснулся опять,
И знал он, что будут сегодня из пушек палить непрерывно.

Непрестанные пушки — помолчавши короткое время,
Заговорите опять:
Невежество ваше теперь заглушит
Существов человеческих крохотные голоса.

Джексон уже выбирается прочь из долины,
Где блистательно вел он игру против Бенкса, Фремона и Шилда,
Шахматному королю Вашингтона он здесь угрожал,
Пока сильным фигурам, к Мак-Клелану шедшим на помощь,
Не пришлось задержаться и защищать короля.

И теперь они оба –

Джексон и Ли – Семь Дней¹¹⁸ беспощадно наносят удары
По войскам, выходящим из моря, спускающимся с кораблей
Для того, чтобы город занять, стоящий на возвышенности,
Пока этот холм не набухнет соком кровавым, и красным не станет,
И не отступят войска.

Вы могли б в исторических книгах прочесть,
Как колебались шансы исхода, вникнуть в туман мелочей,
Как вот здесь, в этой точке, возможно, победу Мак-Клелан мог вырвать
Из-за численного превосходства, а там
Он, напротив, весьма хорошо и хитро вел игру;
Как Джексон раз в жизни замедлил, как Портер держался,
А также о горькой, мучительной схватке на Малверн-Хилл¹¹⁹.
Одно нам известно:

войска, что пришли с кораблей, отступили.
Ранены, но не разбиты. Раздроблены, но не раздавлены в прах.
Отступили, чтоб новую базу найти далеко,
Где река погибается Джеймс, и там отдыхать,
Тяжко дыша.

Линкольн приезжает и Халпек¹²⁰.

На лице некрасивом, худом еще глубже морщины легли,
А глаза утомились, читая по тактике книги
И пытаясь понять.

Так много тут надо
Одному человеку понять, так много тут лжи,
Полуправды так много, так много советующих голосов.
Смерти огромен посев, и жатва смерти огромна, и этому нету конца.
Вот мертвецы Семи Дней. И четыре месяца мертвый
Мальчик, который играл с куклой по имени Джек.
Это был мальчик смысленный, как мальчику быть полагалось –
он мертвый сейчас.

Кукла по имени Джек была временами солдатом Северных Штатов,
А временами – шпионом.

Мальчик с братом своим хоронили
На клумбе в саду у Белого Дома,
После казни, по правилам всем совершенной,
Куклу по имени Джек.
Потом принимала игра совсем другой оборот.
Приказ президента – помиловать куклу по имени Джек:
Так человек художавый для них написал на бумажке
И подпись поставил – А. Линкольн.

Опять на какое-то время в почете был Джек.
Но день проходил – и мальчик и брат забывали об этом приказе,
И кукла по имени Джек расстреляна и похоронена снова.

Смерти огромен посев, и жатва смерти огромна.

Так посеяно много смертей

Человеком, который отнюдь не сеятель смерти.

А все еще нету конца.

Созван совет. Командующие и начальники спорят.
Мак-Клелан стоит за свой план нападения с моря,
Чтобы „мостик” штурмом занять. Он сдержан теперь,
Он спорит умно. Линкольну письмо написал он – „Перед лицом
Вечности” – высокопарное, напускное письмо,
Образец примечательной речи,
Каких уже было немало и будет немало.
О своих достижениях писал – как он армию спас,
Этим он не обязан правительству, он никому не обязан,
Только духу бойцов и талантам военным своим ...
И Линкольн, прочитавши, письмо его сунул в карман
И Мак-Клелана благодарил. В отступлении этом
И отвага была и искусство. Во многом
Это было заслугой Мак-Клелана.

Были еще выступления.

Командующие согласны одни, возражают другие,
Полуострова штурм провалился – провалится снова.
Новоиспеченный штаба начальник –
Потирающий локти Хэллек
(Прозвали его „мозговитый старик”,
А почему – до сих пор историки строят догадки ...)
Не соглашался – он призывал к отступленью.
Следует прежде всего защищать Вашингтон:
Надо войска отозвать и поставить их пред Вашингтоном.
Слушает всех, и рукой терпеливой пытается истины зерна Линкольн
отделить

От двадцати боченков мякины.
В течение месяцев этих, рысью идущих,
Человек этот рост ощутил закаляющей воли в себе.
Месяцы эти в тяжелых подковах ступали,
То и дело рубцы оставляя на нем.
Все еще он не хлыстом и не шпорой, а поводом правит,
Только он поводом правит умело и быстро,
И лошади знают об этом. Он больше не говорит –
„Я думаю”, а говорит: „Я решение принял”,
И что б ни случилось, всю тяжесть и силу решенья
Берет на себя.

Он может снести, что угодно,
Но он бы не снес, если б веру в Союз потерял,
И он никогда не терял ее. Он наконец
Решение принял: Мак-Клелана армию он отзывает –
Что будет, то будет.

Мы полную видим картину
Спустя много лет, и что после случилось – мы знаем,
И мы говорим: „Он неправ”.

Он видел картину неполной,
И трудный, рискованный путь с десятком различных исходов –
И так рассудил он.

Ну, что же. Да, был он неправ.

Очищена палуба — войско уходит к своим кораблям.
И в Ричмонде колокола, что звонят к воскресенью,
Звучат, точно в сладкий их сплав примешали еще серебро.
Расходятся темные тучи, и девушки снова в цветах.
Виргинский июнь
Под колесами пушек раздавлен и вмят в колеи под колесами пушек,
Затоптанная трава
Подымет зеленые малые копыта свои,
Шиповник и жимолость
На крохотных трубах играют своих,
„Дикси” играют,
Играют „Лорену”, „Синий прославленный флаг”.
Много убитых, слишком много убитых,
Кукол изломанных столько лежит в лазаретах —
Но хлопок опять победил, и хлопок заносчив,
И хлопок взбирается вновь на сонный свой трон,
От хлопка полей отступают пшеница с железом,
Поля покрываются нежной травой — и хлопок веет по ним,
Еще один бой — и свобода, свобода, свобода навеки.
Двигается хлопок на Север, движутся белые гребни —
Волны цветущего хлопка — длинной серой спиралью
Шагают солдаты, и рты у них сухи, как хлопок.
Жимолость, хлопок, шиповник — на Север идут
И орошают волною цветенья и пушек,
Чтобы железо с пшеницею смыть навсегда.
На Север еще не одна понесется волна,
Девятый вал еще впереди,
Но сейчас подъем духа высок.
Молотом Джексон трижды ударит еще, но пока
Герой нападающей сабли — попрежнему Ли,
И все еще Стюарт высоко несет свой черный плюмаж.
Ричмондский колокол, в сплав свой вмешав серебро —
Двигается хлопок на Север волною под радостный звон твой,
Великою первой волною Южной мечты налетая.

Джек Эллиат где-то далеко на Юге в тюрьме —
С глазами пленника, грязный, худой бородатый старик —
Лежал на спине, уставясь на мух на стене,
И вспомнить пытался сквозь пелену безразличья
Зеленый, затерянный в чаще лесной уголок и стадо черных свиней —
Они появлялись и вновь исчезали, пропав в пелене.
Не смертью была пелена. Он к смерти теперь уж привык,
Но все ж временами он был плененой озадачен.
И было занятным — быть слабым настолько и к смерти привычным.
Когда ты силен, то тебе представляется смерть
Порою — как всадник могучий на черном коне,
Иль что-то иное могучее — страшное силой своей.
Но если ты слаб и находишься в месте таком, как вот это,
То все изменяется. В смерти не видишь ни силы, ни мощи.
Обглоданной костью крысиной на грязном полу становится смерть,
И ты, о нее спотыкаясь, едва утруждаешь себя

Ругнуться слегка.
Вот и все.

Накануне те двое из Мичигана скончались,
Умрут из Огайо те братья на этой неделе.
Тут образуется навык: ты знаешь, когда кто умрет,
И это тебе помогает часы коротать,
Как их коротают, из кости кольцо вырезая,
Иль в шашки играя соломинками, иль учась
Словам итальянским у долговязого парня-сержанта,
Который был раньше учителем в школе в Вермонте.

Где-то, когда-то в палатке, средь красного шума,
Под грязной шинелью и связкою листьев табачных
Себя самого он кусок потерял, кусок своей жизни.
И он не умрет до тех пор, пока он куска не найдет,
Пока не почувствует, что этот острый кусок
Вплотную прилачился к сердцу. По крайности, так
Казалось ему. Иногда, когда спал он – казалось,
Что вот отыскался кусок, – но редко, а чаще
Его пелена донимала и мухи, которых считал он.
Шаги он услышал вблизи, и голову он повернул.
„А, Чарли, здорово, – сказал он, – ты где пропадал?”
У Бэйли был вид странноватый: он с виду казался обиженным, злым
мальчуганом

С разгоряченным и красным лицом. „Я мятежников слушал”, –
Сказал он, и, плюнув на пол, разразился грубою бранью,
И кончив, спросил: „Ты их слышал?” Джек пробовал вспомнить.
Жужжанье какое-то сквозь пелену. „Да, как будто, – сказал он, –
А что у них там? Снова запил Эд двухбутыльный?”
„Ах, черт! – сказал Бэйли, – кричат они снова „ура” –
Опять они нам наложили! Сейчас пришло донесенье:
Под Булл-Раном они нас побили.” – „Да ты обалдел, –
Сказал Эллият, – это было в начале войны,
Я был в этом сражении сам.”

„Не будь дураком, – сказал Бэйли, –
Они наложили нам вновь, в том же месте, тебе говорят,
Армия Попа разбита.”

„А кто он такой?” – Джек устало спросил.
„У нас он на Западе был; у Всемогущего Бога
Он слыл за любимчика, а прикатив на Восток,
Себя он расхваливал, как только можно, в газетах, –
„В седле штабквартира моя!” – Бэйли хихикнул.
„Что ж, сшибли они и седло, и его самого чуть не сшибли.
Как ни крути, но опять наложили нам Джексон и Ли.”
„А где теперь маленький Мак¹²¹?”

„А Бог один знает, что с ним, –
Бэйли ответил угрюмо. – Может быть, тоже взят в плен,
Может быть, старого Эба¹²² и всех остальных они в плен захватили, –
Кто его знает, от этих мятежных лунов ничего не добьешься.”

Молчание тут наступило. Джек лежал на спине
И разглядывал мух на стене довольно долгое время.
„Хотелось бы мне настоящую видеть газету, ей-Богу, –

Бэйли сказал, — вместо ричмондских этих подтирок.
Когда мы вернемся домой — знаешь, Джек, я буду газету читать иногда:
Я раньше не очень-то падох был на газеты,
А теперь мне хотелось бы хоть временами газету читать.”
Джек рассмеялся.

„А знаешь что, Чарли, — сказал он, —
Нам выбраться нужно отсюда.”

Бэйли в ответ рассмеялся.
Затем он замолк и взглянул с беспокойством на Джека.
„Ты не совсем еще спятил как будто, — сказал он, —
Брось считать этих мух!”

Джек приподнялся на локте:
„Я, черт возьми, не шучу, а всерьез говорю тебе, Чарли —
Выбраться нужно отсюда; я знаю, — как будто нельзя,
А все-таки нужно!”

Он сухо глотнул.

„Видишь, — сказал он, —
Только что мне это в голову, Чарли, пришло:
Девушка есть у меня; не знает она даже, где я,
Ее я в палатке забыл — нет, я что-то другое забыл, —
А ты говоришь, что нас снова побили. В том-то и дело,
Что слишком нас часто колотят. Нам выбраться нужно отсюда.”

Он вновь на полу растянулся, закрывши глаза,
В которых маячили призраки, — и на него
Бэйли глядел в течение долгого оцепенелого мига.
„Ты не пройдешь и полутора миль, — прошептал он, —
Тебя двадцать футов — клянусь — не смогу пронести я,
И если б могли мы идти, то — клянусь — никакого нет шанса
Сбежать, ну а все-таки —

если б была хоть лазейка одна, —
Сказал он — и голос звучал полувызовом, полумольбою —
Если была б хоть лазейка одна — говорю тебе, Джек...” —
Он замолчал. Были сомкнуты веки у Джека. Совсем осторожно
Поднявшись, шепнул он — „Воды я тебе принесу —
Нет, лучше усни.” Бэйли снова присел и спящему глянул в лицо.
„Он выглядит плохо, — подумал, — должно быть, я выгляжу тоже

неважно.

Должно быть — мальчишка помрет, если выбраться нам не удастся
отсюда.

Должно быть, мы оба помрем. Скорее всего, что и так.”
И, глянувши на потолок, он мухам кулак показал.
„Мятежники гнусные, слушайте, — он бормотал приглушенно, —
Можете хлопать проклятыми крыльями сколько угодно,
А все-таки мы отсюда уйдем!”

Джон Браун в могиле своей мертв и не шевелится.
Почти что три года он мертв — лежит и не шевелится,
Ни звука в костях у него, кроме шума идущих армий,
Но это — старая песня.

Вы скажете, что он шагает, шагает перед войсками.
Отставший солдат его встретил, когда он шагал в Манассас,
Он шел с ружьем на плече и с призраками-сыновьями.
Глаза – как тусклые угли.

И Брауна видел мертвец, шагающего в Семи Соснах,
И сквозь него пули свистели, как сквозь продырявленный флаг,
И видел безумный его, как точил он на Библии саблю –
В облаках над Малверн-Хилл.

Но все это – враки пустые. Он дремлет, он не шевелится.
Весною в дремоте – дожди, зимою в дремоте – снега,
Кости его порождают за армией армию снова,
Но сам он не шевелится.

Чтоб крепость его сокрушить – недостаточны пушки,
Жива его песня, и пульс ее – в шаге колонн,
Песня – как дым, что из пушечных жерл вылетает,
Но двое их – песня и он.

Юг наступает все время, рабы еще не свободны,
И камень великих ворот Союза, шатаясь, крошится,
И хлопка цветы подрывают гранитные плиты,
Корни хлопка ползут из расселин
(Джон Браун в могиле лежит, и гниет его тело).
Скоро борьба завершится – рабы будут вечно рабами
(Джон Браун в могиле лежит, и гниет его тело).
Ты за Союз не боролся, Джон Браун, ты был к нему равнодушен,
Ты бился во имя единой мечты о сбросившем цепь человеке,
Во имя Господней великой свергающейся колесницы,
Ты бился, как брошенный камень, но о мечте твоей больше не
 помнят бойцы.

(Джон Браун в могиле лежит, и гниет его тело).
Сражался ты за народ, которого не понимал,
За символ, который в сознании твоём был символом скован другим,
Но если не встанешь ты вновь, то люди не станут свободны.

Разве в костях твоих грома семян не осталось,
Кроме семян, из которых ненужные армии всходят?
(Джон Браун в могиле лежит, и гниет его тело).

Встань, Джон Браун,
Позови из земли сыновей
В дымных венках – чтобы рядом с тобой шли сыновья,
Позови неуклюжих парней деревенских,
Которых ты дикой фантазией и сумасшедшими пиками вооружил.
Американские эти пусть снова звучат имена:

Каги, сдержан и тих, самоучка-философ,
Стивенс – солдат отставной, распеваящий песни,
Дэнджерфилд Ньюби – шотландец-мулат, получивший свободу,
Брауны – Ватсон, Оливер, и все, умирившие трудно.
Вызови всех, кто у Харперс-Ферри пулями изрешеченный погиб,
И снова по ветру в атаку их брось.

Это темное время.
Это время отлива.

Это закат, поражение это.
Хлопка цветы до самого неба растут.
Под цветом хлопка рушатся камни
Союза великих ворот,
А под цветами гигантскими
Лежит земля египетская,
Темная река,
Земля пленения,
Люди в цепях.
Если ворота великие рухнут — мечта порастет твоя хлопком.
Джон Браун, найди свое сердце
(В могиле гниет),
Зови сыновей, доставай свои пики
(В могиле гниют).
Летит твоя песня, но раб остается рабом,
Всю свою землю движет Египет на Север, пока ты в могиле гниешь.
Встань, Джон Браун
(Гниющий в могиле),
Сойди, Джон Браун —
(Против египетской всей земли ополчись),
Сойди, Джон Браун,
Сойди, Джон Браун,
Сойди, Джон Браун, и народ этот освободи!

КНИГА ПЯТАЯ

Был жарким в Вашингтоне тот сентябрь¹²³.
И в городе, и в Белом Доме жарко.
Зной сушащий. Он сух, как пальмы лист.
Измученных мужчин он заставляет
Закладывать бумажные платки
Меж потной шеей и воротничком,
И северянок-девушек — мечтать
В начале пятого о ветерке,
Который через несколько часов
Повеет только.

Из конца в конец
Со шелканьем шагает часовой,
И в жаркую шинель свою запихнут,
Мечтает о бутылках бурых пива
Холодного, которые хранятся
На леднике.

А в скученных бюро,
Чуть перьями вода, канцеляристы
За ходом стрелок наблюдают, взмокнув.
В домах снимают женщины корсеты,
В распахнутых халатах задыхаясь.

Они могли бы лечь, но от постели,
Когда ее чуть тронешь — жар идет,
И дел у них к тому ж еще немало.
Придя с работы, захотят мужчины
Еды горячей.

Женщины вздыхают
И к жарким кухням нехотя бредут ...

А иногда, на миг остановившись,
Толкнут наверх окно, чтоб ощутить
Сухой, тупой толчок жары в лицо
И услышать цикадный крик визгливых
Газетчиков-мальчишек на утлах —
„Известия с фронта, экстреннейший выпуск!
Ужасный бой, ужасная победа,
Ужаснейшее поражение! Ли,
Напав на Мэриленд, попал в засаду!¹²⁴
Мак-Клелан! — Шарпсбург! — битвы — вести с фронта!”
И женщины вздыхают и гадают
Перед окном — „Купить бы мне газету,
Нет, подожду пока вернется Том,
Хотелось бы узнать мне, правда ль это —
Ужасная победа, поражение
Ужасное — так говорят всегда ...
Том новости расскажет, как придет.
Хотелось бы об армии узнать ...
Нет, слишком жарко за газетой выйти.”
Пропавший жаркий день, когда, сомлев
От зноя, ждут отрывочных известий,
Сомнительных и противоречивых.

За городом в трех милях — чуть прохладней,
Где Дом Солдатский кленами обсажен¹²⁵.
По крайней мере, это так казалось
Тому Линкольну-каланче, хотя
Его глаза запавшие блуждали
Весь день в дали туманной, напряженно
Ее пронзая.

„Генерал Мак-Клелан
Под Шарпсбургом уже столкнулся с Ли.
Туман спадет — и бой начнет Мак-Клелан.”

Туман исчез. Они уже дерутся.

От первых донесений толку мало.
Считают Стэнтон с Хэллеком¹²⁶, что вести
Хорошие. Но это как сказать ...
Никто из нас об этом знать не может.
Мы слишком далеко.

А иногда
Бывает чувство, будто сам ты слышишь,
Как пушки бьют и сотрясают дом, —
Когда вестей ждешь целый долгий день ...

Хотелось бы мне вести получить.
Сначала был Булл-Ран¹²⁷. И о Булл-Ране
Известия мы быстро получали —
Сначала о победе нашей ложь,
Затем уж правду.

Так вот и сегодня
Могло страстись. Мак-Клепану сказал я,
Чтоб он не упустил их ни за что,
Чтоб он их уничтожил, если может.
Но я не знаю — человек он дельный
Во многих отношениях, но, сдается,
Не в силах довершить того, что начал.
К тому ж, как все они, завистлив он.
Он допустил, чтобы разбит был Поп,
Он Попа невзлюбил, и поражение
Ему желал.

Мак-Клепану я вновь
Власть передал. Что оставалось делать?
Никто другой бы не привел в порядок
Войска опять. Но если, победив,
Ли не захватит он — я от него
Бесповоротно откажусь.

Булл-Ран,
Семь Дней — и вот Булл-Ран опять,
И восемнадцать месяцев войны —
И все ей нет конца.

В чем воля Божья?
Со мною говорить о воле Божьей
В броне из добродетелей своих
Приходят депутации и взводы
День изо дня; священники, миряне —
От двадцати миллионов душ — молитву
Мне написали¹²⁸, точно объяснив
Мне волю Божью и Хораса Грили.
О, воля Божья — это генерал
Такой-то и сенатор тот-то. Это воля
Несчастных тех цветных, и это воля
Церквей чикагских. Воля Божья — это
Того, к примеру, человека воля —
И воля злейшего его врага.
Но все они знакомы с волей Божьей,
И только я один ее не знаю.

И все же — если допустить, что Бог
С такою доскональностью предельной
Другим Свою стал объяснять бы волю
О том, как исполнять я должен долг, —
То лучше б непосредственно Он мне
Ее открыл, тем более, что я
Так искренне узнать ее желаю.

Восторжествует воля Божья. Так.
Конечно, так. Но в состязаньях крупных

Та и другая сторона считают,
Что действуют согласно воле Божьей.
Одна из них подавно неправа,
А может быть, и обе.

Мог бы Бог
Союз наш погубить или спасти,
Когда б хотел, к войне не прибегая.
Все ж началась война, и дальше длится,
Хоть стороне любой, в любое время
Победу мог бы даровать Он. Это
Непостижимо. Но одно я знаю —
Единственно, что знаю. Что пока
Живу я и дышу, намерен я
Спасти Союз, когда в моих то силах,
Пустив любые средства в ход, какие
Дает мне Конституция.

И если
Умеет Бог читать в сердцах людей
Так глубоко, как подобает Богу,
То может в сердце Он моем прочесть,
Как двадцать лет Он в нем уже читал —
Измученное старое желанье,
Чтобы последний раб у нас в стране
Свободным человеком стал навеки.

От этого желанья в старых шрамах
Не отступил я и не отступлю,
Но во главу угла Союз я ставлю, —
Союз важней рабов. И если можно
Спасти Союз рабов освобождением —
Я их освобожу. И если делу
Я помогу, одних освободив,
Других оставя в рабстве — поступлю я
Так точно. Если же освобожденье
Крушение Союза означает,
Которому служу я — то рабу
Ни одному свободы я не дам.

О Божья Воля! Терпеливый я,
И ждать могу, как пушечный камень,
Зарытый в землю. Где-то надо мною
Пусть медленные годы нарастают
Гнилой листвой под граблями Времен ,
В конце концов став плодоносной гнилью,
Таящей запах сангамонских яблок,
Покамест не покончено со спячкой
И не придет событие стальное,
Чтоб высечь из меня живую искру
И порох, что всегда во мне — зажечь.

Единое достоинство мое,
По-моему, — способность ждать и твердо
Держаться, не менять своих решений,

Когда уже их принял, несмотря
На то, что люди поумнее скажут.
На их манер быть умным не могу.
Я это знаю с той поры, как был
Ребенком безобразным — это очень
Полезно — быть ребенком безобразным.
Полезно то, что любишь — потерять.
Тем самым корни в землю Сангамона¹²⁹
Пускаешь ты, и оттого растешь,
Когда расти не хочешь — так окрепнув,
Что переждать уже ты можешь жизнь,
Как поле дождь и снег пережидает.

Годами я не вспоминал о той
Потерянной могиле¹³⁰, бывшей первым
И трудным мне уроком в странном деле,
Бывающем у женщины с мужчиной,
Которое любовью называют.
Но вспомню о могиле — и я слышу,
Как снег и дождь идут над ней — должны ведь
Они идти — и это наполняет
Меня всегда невыразимой скорбью.

С тех пор мы далеко уже прошли
Дорогой длинной — я и мой цилиндр —
То вверх, то вниз, но каждый раз с поклажей;
Года судебных дел и анекдотов,
Когда я наблюдал, как Билли Херидон¹³¹
Меня старался раскусить, что было
Повидимому трудно. Это — годы
Попыток научиться, как с людьми
Справляться, — что возможно, если сердце
Достаточно большое, и попыток
Привыкнуть с женщинами обращаться,
Вернее, с женщиной, что для меня трудней
Всего на свете. Если ты с женщиной
Имеешь дело, то его ты держишь,
Как в кулаке большое топориче.
Но женщину не схватишь, как топор,
Она скользит, как ртуть, в твоих руках,
И остаешься ты в недоумении —
Куда ж она девалась — в ту минуту,
Когда, казалось, разгадал ее ты.

Да, я знаком со свойствами земли,
И у огня довольно обжигался,
Чтоб быть знакомым с действием огня,
Но если дух воды пришел в движение —
А это женский дух — то я плыву
В полнейшем смысле слова — наугад!
И картой служит мне мое терпенье
Бывалое. Но женщине терпенье
Приходится по нраву не всегда.

Воды потоки яркие, что льются
На целый мир; глубокие моря,
Где плавать всем мужчинам суждено –
Иль быть людьми наполовину только,
Собой заполнив узкие могилы, –
Пойму ль я наконец или постигну
Ваш сладкий, ваш соленый вкус, не схожий
Совсем со вкусом яблок Сангамона,
Которые так отягчают ветви?
Прожить с водой можно двадцать лет
И никогда, как землю, не понять –
Но этот я урок не забуду ...

„Аврам Линкольн: его рука и слог.
Он станет лучше. Скоро ль – знает Бог.”
Умней он станет; скоро ль – знает Бог.

Но все равно, – лишь только бы иметь
Известия из этого тумана;
Но если я не буду осторожен
В то время, как известий ожидаю, –
То впасть я в ипохондрию могу
Наверняка.

Мне заболеть нельзя:
Мне слишком много сделать предстоит.

Политике подаренные годы,
Домостроения годы – то женитьба,
Рождение детей и смерть детей,
Жизнь, город, дом, жена, печаль и радость,
И изумление перед этим всем
И по сей день.

Раз у меня был друг,
Который был женат и счастлив был,
Но прежде, чем женился – дух какой-то
Преследовал его, как и меня,
И перестал себя он понимать.
Задумчивости мрачная завеса
И ужас сверхъестественный души
Окрашивает мир подобным людям.

Не знаю я, откуда взялся ужас,
И почему он виснет между солнцем
И нами – столь немногими людьми –
По дням и временам определенным ...
Я знал тот ужас, он мне ближе был,
Чем плоть моя – я с ним вставал, ложился,
Ходил; бывало – отгонял на время,
Ни разу до конца не уничтожив
И продолжая жить.

Ему в письме
Я дал, как принято, совет хороший,
Заметив между прочим: „Ты боишься

Опять, что тот Элизиум, которым
Так долго грезил ты, не станет явью.
Клянусь, что этому виной не будет
Та Фанни черноглазая, что стала
Твоей женою. Я не сомневаюсь,
Что, к нашему особому несчастью,
И я, и ты мечтаем о блаженстве,
Которое во многом превосходит
Все то, что на земле осуществимо. ”

С тех пор уже минуло двадцать лет.
Тогда мне было тридцать три, а ныне
Мне пятьдесят три — медленные годы
Сквозь землю, воду и огонь вели
Туда, где я стою — где я стою,
Но никаких Элизиумов нет.

Их нет и нет — заветная мечта,
Которую я в юности лелеял,
Погибла. Молот случая, обрушась,
Ее разбил. И так осуществились
Мои честолюбивые стремленья,
Что личное в них все убито было.

Былое честолюбие мое —
Железный обруч, скованный не тесно
Вкруг дерева живого. Если будет
Оно расти, пока не прикоснется
К железу, и тогда приостановит
Свой рост, то это значит — ствол и обруч
Подстать друг другу, и осуществилась
Разумно цель.

Но если по каким-то
Причинам очень неправдоподобным
Растет и дальше дерево — оно
Погибнет или обруч разорвет.
Я обстоятельствами никогда
Не управлял — они мной управляли
И вынуждали гибнуть или расти.
Я рос — я разорвал железный обруч.

Стихии три — земля, вода, огонь.
Сквозь них прошел я, но я не нашел
Для рук моих блаженства никакого —
Блаженства никакого, только рост
И медленная воля вырастать,
Чтоб быть моей задаче по плечу.

Стихии три. Я не искал глубинно
Еще четвертой — воздуха стихии,
Стихии вечной Бога: быть Он должен
Там, несмотря на все, что видим мы,
И несмотря на все, что мы выносим;

Он должен Сущим быть, где все блаженства
Ничтожнее, чем тени от костра,
Зажженного охотником в лесу
Затем, чтоб ночью волка отпугнуть.

Я знаю волка – у меня на шкуре
Следы зубов его, и не стереть
Их никаким Элизиумам. Руки
Поэтому я наконец вздымаю
К Тебе, который Был и Есть и Должен Быть
Вовеки, если мир наш не всего лишь
Блуждающий бесцельно броненосец
С командой мятежников и дурней
Между холодными фортами звезд.

Я церкви не нашел, куда примкнуть,
Хотя, бывало, я в церквях молился,
И слушал проповедников я многих.
То в большинстве – достойные все люди,
Но то, что за словами скрыто – трудно
Найти. Я думал – нет того совсем,
Там быть его не может. Но теперь
Я этого не думаю. Теперь
Тебе я одному, Тебе молюсь.
Меня Твою знать волю научи
И цель Твою земную понимать.
Будь у меня для этого глаза –
Я цель Твою бы видел ясно. Сделай,
Чтоб справедливо я всегда судил.

Знавал я человека, что держал
Охотничьих собак у Пиджон-Крика¹³².
Держал собак и молодых, и старых,
Держал и умных, и неумных гончих,
И молодых частенько продавал,
И быстрых, и смышленных; одного лишь
Он не одалживал, не продавал:
Охотничьего пса полутлухого
И старого, и глупого на вид.
Казалось – и блоху он не поймает,
Ну, разве престарелую блоху ...
Обычно днем лежал он возле печки
Или на солнце перед домом спал.
Над этим человеком из-за пса
Подсмеивались люди; он и сам
Согласен был со всем, что говорят.
„Да, некрасив он и не быстроходен,
Пес молодой его всегда обскачет,
И красотой, и бегом, и прыжками
Его забьет. Но, мистер, этот пес
Простывший след почуять может. Если ж
В добычу зубы он вонзил – из пасти
Он выпустит добычу только мертвой.”

Я, Господи, охотничий такой же
Глухой и старый пес. На псарнях мира
Есть десять тысяч псов умней меня,
Быстрой, и с шерстью более красивой,
Чтоб гнаться за Твоею скрытой целью,
Ее по ветру чую, заливаясь
Над следом, оставляемым Тобою.
Но там, где и они теряют след –
Я дальше побегу: бежать я должен,
Пока всего Себя Ты не откроешь –
Зубами я добуду справедливость!
С огнем я и землею кончил счеты,
Вода же убегает между пальцев,
Но я на воздух, синий воздух буду
Смотреть как старый пес, уткнувший морду
В простывший след, пока не треснут годы
Усталые под лапами его,
Как сломанные ветки, и последний
Бесплодный куст не обретет покоя.

Мне б молодым начать охоту надо,
А здесь охота так трудна, что может
Исторгнуть металлическое сердце
И у стальной собаки. Нужно было
Все это начинать мне в Пиджон-Крике,
Не с опозданием на сорок лет,
А с самого начала. Но себя
Не переменишь, а когда и смог бы,
То может быть, еще бы хуже вышло.
Что ж! Из того, что есть во мне, придется
Выстреливать, что можно. Я таков,
Каков я есть, и ровно столько стою
С ногами, с ипохондрией и прочим.
Не следует мне жаловаться. Я
Готов признать, что мог Ты без сомненья
Создать немного покрасивей пса
Из матерьяла грубого того же.
Но Ты не создал – обойдусь и этим.

И вот к Тебе я руки простираю
И весь тянусь – прошу Тебя помочь
Мне тут и в этот час. Я упирался,
Когда меня вперед влекли; я шел
Вперед, когда назад меня тащили,
Пытаясь волю прочитать Твою,
Пытаясь в каждом случае найти
И правоту, и целесообразность.
И в воздухе студеном я стрелу
Преследовал летящую, пока мне
Глаза не ослепил великий ветер,
Не заболело сердце от погони
За умиротвореньем. А сейчас
Стою я – и дрожу я на краю

Последнего обрыва голубого, —
Усталый пес с опущенным хвостом,
Который по земле волочит брюхо, —
И не хватает воздуха мне в легких,
Ослабли ноги, все во мне ослабло —
Все, кроме воли. Дальше не могу
Идти — и все ж идти я дальше должен.

Вот что скажу: два месяца назад
Прочел я прокламацию мою¹³³
И Сьюарду, и остальным — о скором
Освобождении этих всех людей.
Я заявил, что не прошу совета,
Но я хочу их о моем решении
Уведомить. Мы это обсуждали.
И большинство одобрило решение,
Хотя иным казалось, что момент
Неподходящий. Сьюард же тогда
Такое сделал замечанье (это
И не пришло мне в голову) : „Согласен
Я с этой прокламацией, но если
Ее опубликуем мы сейчас,
Когда о нашем поражении толки
На всех устах¹³⁴, то, может быть, воспримут
Ее как крик о помощи последний
Правительства в отчаянии бессильном.
Ее бы до победы отложить,
А победим — тогда опубликуйте.”

Он прав был, и ее я отложил.
С тех пор мы только поражения знали
До этой битвы — а вестей все нет.
Когда б я мог взглянуть на Мэриленд!
Когда бы мог я этой битвой двигать!
Нет, ни к чему. Ведь я не генерал,
Могу я только верить генералам.

Пусть я не генерал, но обещаю
Здесь, у предела сил моих последних,
Накопленных у края черной ямы
Незнания, которое еще
Отчаяньем не стало, и сомнений,
Которые сознание ломают —
И все же не должны его сломить.
Я в яме этой долго обитал
Во времена различные и сроки;
Окрашены моей души частицы
Слепою тьмой, пещерой одинокой,
В которой никаких шагов не слышно, —
Одни мои шаги — и никогда
Других не услыхать, пока я жив,
Пока могу тюрьму мою закрытой
Держать для посетителей. А если б

Шаги другие там я услышал?
Что, если час придет — лишь Бог один,
Один лишь Бог по этим ступеням
Спуститься может; только шаг Его
На плитах может гулко отдаваться!
Когда б пришел — что б мы Ему сказали?
Что это за тюрьма? Тюрьма — мы сами,
И сами мы построили ее,
А если это так — то заслужили
Мы это одиночество тюрьмы.
А заслужили — вот оно и длится.
Но если бы другой пришел —

ему

Что б мы сказали? Что сказать могли бы
Слепцы, которым возвращают зренья?

Нет, все должно по-прежнему остаться.
Мы — узники в какой-то мере все,
И будет так, но — кажется — я знаю
Одно: Бог не тюремщик ...

И Тебе

И самому себе даю теперь
Я обещанье: если только битва
Последняя окажется победой¹³⁵
И армию мятежную отбросят
Из Мэриленда за Потомак вспять,
То будет прокламация моя
Оглашена повсюду наконец:
Чтоб в этом же году рабов и пленных
Освободить немедля и навеки.

Вот воля какова моя. Яви
Свою мне волю.

Слышатся шаги

По коридору — то, должно быть, вести,
И раз так быстры — вести хороши.

Ну, что теперь? Да, да. Я рад тому.
Я очень рад. И нет на этот раз
Ошибки? Мы их одолели, правда?
Они отходят? О, сегодня, Стентон,
Великий день
..... Но только, чтоб Мак-Клелан
Сумел бы закрепить теперь победу!

Я обещанье, Господи, сдержу
И буду продолжать мой путь, но воля
Твоя во многом остается темной,
И только мне в одном она ясна.
Однако, если Ли у нас из рук
Вновь ускользнет, а, судя по последним
Событиям, случиться это может,
И будет длиться без конца война

То не смогу Твою прочесть я волю,
Но путь продолжу. Старый, старый пес,
На след напавший, — и теперь, о Боже,
Чуть отдышался я, передохнув ...

И ВНОВЬ.

И вновь терпеть мы можем неудачи,
Но что-то в глубине нас восстает
На битвы с неудачами, и что-то
Ведет вперед и зажигает спичку,
Поднявшись с Сангамонского простора
С притупленным щербатым топором,
И после тщетных тысячи ударов
Огромный ствол на землю валит с шумом.

Наболевшие, в трещинах, губы скривились ухмылкой, с оскалом черепа схожей.

И зававший живот перестал к бокам прилипать.
Чтоб дать отдых ногам и чуть отдышаться,
Он сел на минуту на берег. За три последние дня
Он съел только батат, два кормовой кукурузы початка
И хромого кролика съел, который не смог убежать,
Когда Спзд запустил в него палкой.

Он был еще дюжий детина, но ребра его выпирали,
И ссохлась каждая мышца, как кожаный жесткий ремень.
Он тупо-устало подумал: „Эх, нам бы пожрать хорошенько.
Без спору, вон та сторона – свободы земля,
Но как переплыть нам туда без хорошей жратвы?
Хоть бы ложку похлебки хлебнуть из костей свиной головы,
Или самую малость пожрать бы поджаренного на вертеле поросенка.

Эта река холодна. Холодней Иордани. Поесть бы теперь в самый раз."

Он спустился к реке и попробовал воду рукой,
И вверх по руке подпрыгнула стужа, и в сердце впилась
Острой болью зубной. И странной гримасой губы скривило.
Ему захотелось заплакать. „Как я устал“, — он сказал.
„Река, потише теки“, — он сказал.

И плюхнулся в воду.

Резкий шок погружения дух у него захватил.
Так его жалила стужа, что руки и ноги задвигались быстро,
Но вот уже стужа проникла в его скрипящие кости,
И дико глаза у него завращались.
„О Боже, — подумал он в единоборстве с водой, —

Я слаб, точно кошка. А был силачом я когда-то.”

Желтый поток присосался к нему и тащил его вниз.

Желтая пена во рту у него имела вкус смерти.

„Было бы нам хорошо подкрепиться, — с недоумением он вялым подумал,

Вяло с водою борясь, — хорошей горячей жратвой.

Для голодного рта слишком сильное это течение.

Мы бьемся, как можем, — река же как ангел разит,

Как будто мы боремся с ангелом смерти.”¹³⁶

Ко дну он пошел, захлебнувшись,

Но выплыл опять, тараша налитые кровью глаза и ртом ловя воздух.

Последняя ясная вспышка в мозгу пронеслась; мозг сказал ему: „ты утонул.”

И после того перестал мозг работать.

Но черные руки, дубася,

Схватились за что-то неровное, прочное, плотное что-то,

Вцепились последнюю хваткою, в изнеможении.

— Семь долгих ночей был он с ангелом в единоборстве,

И ангелу в шею теперь он вцепился, повиснув,

Затертый железною тьмою бьющихся крыльев.

Если он выпустит шею на миг — оттолкнет его ангел

И каменной к чреслам его прикоснется рукой —

Последним смертельным приемом борьбы.

Он слегка застонал.

Чернота проясняться пошла, и увидел он реку,

Что текла и текла. А он за бревно уцепился,

Схожий с древесной лягушкой, плывущей на щепке.

Вниз по течению его и бревно уносило,

Но к свободному берегу их обоих теченьем несло.

Чуть повыше он влез на бревно. Тут схватил его водоворот, —

И его, и бревно закружило, подобно волчку.

Он молился, и рвало его.

Но вытолкнул водоворот

И его, и бревно, и они прямо к берегу медленно плыли теперь.

Со всей осторожностью он выбирался на берег.

Стошнило его, и на землю он лег.

Когда смог он подняться,

Взглянул он на руки. Они еще скрючены были.

И долгое время прошло, пока снова они распрямились.

Пытаясь одежду свою просушить, прочел он молитву

И, камень затем отыскав, швырнул его в реку.

„Ты, злая жадюга, река, — сказал он, — вот ты кто.

Лови мой подарок. Надеюсь, ты зубы на нем обломаешь.

От мистера Спэда подарок тебе — получай!”

После того себя он почувствовал лучше,

Но у него стало ныть в животе. „Потерпи, — он сказал,

Осторожно живот растирая, — мы здесь на свободной земле, мы на воле,

Мы ту Иордань переплыли — теперь уж добудем съестного.”

Отправился он в городок. Городок-то был близко,
Но должен был двигаться медленно Спэд. По дороге он падал.
В последний раз он упал перед двориком с белым забором,
Весьма аккуратно покрашенным. Женщина вышла.
„А ну проходи-ка, — сказала она, — тут тебе не больница.
Житья нет от вас, черномазых бродяг. Все вы ворюги.”
Спэд встал, бормоча что-то смутно о переплывании рек
И какой-нибудь пище. „А ну проходи-ка, — сказала она, ногою
притопнув, —
Скорей убирайся, а то позову я собаку.”

Спэд сразу убрался.

А в доме соседнем услышал он лай во дворе.
Как можно скорее он дом миновал, а когда обернулся —
Увидел, как вышел мужчина с враждебной палкой в руке.
И Спэд покачал головой. „Свободы земля, — про себя он подумал, —
На этой свободной земле кое-кто очень на руку скор,
И здорово вспыльчивы псы.”

Он, шатаясь, пошел.

Вот еще один дом. Он, собаку ища, осмотрелся.
Испуг был в глазах у него. А затем, напывая, его залила дурнота
И смертельная слабость. Его руки тянулись к забору.
Ухватился он за два кола и повис на них, взглядом уставясь
На свои башмаки. Кто-то что-то ему говорил. Он пробовал чуть
шевелинуться,
Только ноги идти отказались. Голос был женский.

Вот сейчас позовет она пса. Он дрожал крупной дрожью.
„Мэм, — сказал он, — простите, мне очень нехорошо,
Я сейчас переплыл — как я только смогу — я уйду.”
Слышен голос мужской. Они под руки взяли его.
Все равно ему было, что сделают с ним. Он себя дал покорно вести.

Гнутый стул деревянный под ним оказался потом,
Пахла жареным и ветчиною опрятная кухня;
От густого и вкусного запаха чуть затошнило его поначалу,
Но прошло это вскоре. Его осторожно кормили, кусок за куском.
Наконец о себе уже мог рассказать он, и их расспросить.

Эти люди в церковь ходили. Жалели беглых рабов.
На ней было синее платье. Два сына у них воевали.
Вот все, что о них он узнал, — никогда не узнал о них больше.
Разрешили они переспать ему на чердаке,
Башмаки ему дали, полдоллара дали, когда уходил он.

Спэд хотел бы остаться у них, но тогда было трудное время —
Не могли они взять батрака.
Городку надоели тогда уже беглые негры.
Все ж, когда он от них уходил — уже шел он другою походкой.
В деловую часть города шел он. Он вольным был. Был он уже
мистер Спэд,

И об этом письмо написал даже сам президент;
Каждый день появиться могли у него мул и утольночерная баба.

Без мотива он что-то сквозь зубы насвистывать стал,
Из штанов своих выудил он кусочек бумаги.
Эти люди ему написали и имя, и адрес того человека, к которому можно
наняться,

Но придется кого-то ему попросить вновь прочесть, что написано там.
Вот стоят трое белых мужчин на углу, и он к ним подошел
Со своею бумажкой в руке.

„Простите пожалуйста, босс, вы мне не могли бы сказать...”

На него посмотрели глазами пустыми и жесткими белые люди.
Но один наконец взял бумажку. „Ах черт”, — он сказал,
Сплюнув и поглядевши на Спэда. Тут, видно, пришло
Ему в голову нечто забавное. Двух он других подтолкнул.
„Слушай, ты, черномазый, — сказал он, — тебе нужно к мистеру Брейду.
Его ты найдешь в двух кварталах, с канцелярией маршала рядом;
Скажи — ты от мистера Кларка, от мистера Вильяма Кларка, —
О тебе позаботится он.”

Двое других ухмыльнулись,

Ему объясняя дорогу. Поблагодарив, он ушел.
Он слышал их смех за собой.

Его подвели

К человеку с красным лицом, который, откинувшись в кресле,
Газету читал, положивши ноги на письменный стол.
Он на Спэда взглянул и с грохотом ноги спустил:
„Перестань, черт возьми, улыбаться! — сказал он. — „Тебя кто впустил?
Все вы, беглые негры, решили, что в собственность вам этот город
достался,
И что стоит лишь вам перебраться сюда,
Чтобы люди вас даром кормили всю вашу жизнь.
Но со мной эти штучки не выйдут — запомни-ка это.”

Спэд беззвучно бумажку ему протянул. Тот взглянул на нее.
„Черт, — сказал он, — не мне это вовсе.”

Спэд уже повернулся уйти.

„Черномазый, а ну-ка обратно ко мне”, — приказал краснолицый.
„Майк! — он крикнул, — еще тут один любимчик Линкольна.
Отошли его вместе со всею командой.”

„Но, босс,” — сказал Спэд.

„Придержи за зубами язык, — отрезал мужчина, — заведи его, Майк.”
Майк — прыщавый юнец — его пальцем большим поманил.
„Ну, пошли, вороной жеребец, — он сказал, — мы тебе приискали
работу.”

Спэд поплелся за ним, ошарашен.

Когда же на улицу вышли они,
Повернулся мальчишка к нему: „Берегись, черномазый,” — сказал он,
Со щенячьей свирепостью глядя болтавшийся сбоку большой пистолет.
„От меня не сбежишь. Я — помощник шерифа, ты понял?”

Спэд сказал: „Хорошо,

Ниоткуда сбегать я теперь и не думаю, босс,
Просто я заработать хочу, чтоб хорошего мула купить.”
Паренек рассмеялся коротким смешком. Разговор оборвался.
Они вышли за город, дошли до разрытой дороги,

Где работало несколько негров.

„Скажите мне, босс”, —
Спэд сказал, но юнец перебил его тут же. „Эй, Джерри! —
Он крикнул десятнику, — тут еще новый один.”
Посмотревши на Спэда и сплюнув, десятник сказал:
„Вот проклятье! Чего они этим паршивцам дают улизнуть?
Будь я Брейдом — клянусь, у реки бы поставил я пушку.
Ну, валяй, черномазый, живей — поищи себе быстро лопату.
Что ты — вздумал стоять и глазеть на меня целый день?”

Тот парнишка ушел.

Спэд лопату нашел и ею орудовать начал.
С саркастическим взглядом десятник за ним наблюдал;
Спэд заметил, что и у десятника есть пистолет.
„Обалдуй, — раздраженно десятник сказал, — поднапри хорошенько,
Ты здоровый детина. Лопата — запомни — пять долларов стоит.
Эти деньги из первой же платы недельной твоей мы удержим.
Ты теперь ведь свободный.”

Он ухмыльнулся. Спэд не ответил.
А через короткое время десятник ушел.

Спэд, повернувшись, тихонько спросил рябоватого негра,
Который работал с ним о-бок: „Ты с Юга?”

Кивнул рябоватый.

„Я здесь уже месяц. Сюда они в первый же день запахали меня.
Есть денюга у тебя?”

„Пятьдесят центов за все и про все.”

„Ты лучше отдай их ему, — взглянув на десятника искоса,
молвил рябой, —

А то обращаться с тобою он будет паршиво,
Он человек раздражительный.”

Сердце у Спэда

В пятки ушло. „А нам разве не платят? Ведь мы не рабы уже больше.
Сам президент объявил. Почему мы работаем так?”
Рябоватый хихикнул. „Конечно, нам платят, — сказал он, —
Но мы в лавке их обязаны все покупать,
Он же за старые эти лопаты в двенадцать раз больше дерет.
Месяц всего, как я тут, а двенадцать уж долларов должен.
Нечем мне им заплатить — только могу отработать.
Чем ты работаешь больше, тем больше долги твои в лавке.
Как это так — не могу я понять, но так уж выходит.”
Спэд, размышляя над этим, немного еще поработал.
„Я-то думал, что буду и сыт, и свободен, и нос в табаке,
Лишь бы реку переплыть”, — он сказал.

Рябоватый осклабился, как обезьяна.

„Пошевеливай, парень, лопатой, и то, чего нет — позабудь, —
Похуже могло быть. Ты мог бы камни дробить в кандалах
Вместе с каторжным людом. Иль в армию, скажем, тебя бы забрали.”
„Что, что?” — сказал Спэд.

„Да они собираются всех нас забрить, когда кончим дорогу.
Но меня не забреют — в глазах у меня что-то скверно,
И они это знают.”

„Меня, — сказал Спэд, — не забреют.

На войне, что затеяли белые люди, я драться не буду —
Не для этого я вырывался на землю Свободы.
Я ищу только случай бабу и мула себе раздобыть.
Если стал я свободен, то как меня могут забрить, если я не хочу?"
„Вот увидишь”, — промолвил рябой. Они продолжали работать.
С берега зорко следил за работой десятник.
Время от времени что-то он пил из бутылки.
Спэд почувствовал голод.

Доверху осень набила склад
Красным и желтым зерном.
Стужа идет, печи трещат,
Тянет с полов холодком.

Продана жатва уже на торгу,
Сложено лето копной.
Лето сухое, как в старом стогу
Мертвый цветок полевой.

Сидру из бочек пора нацедить.
Воздух — как яблок настой.
И за луной над холмами следить —
Острой, прекрасной, литой.

Глубже свои семена зарывай
В теплую черную падь,
И засыпай, тяжело засыпай —
Так, чтобы бурю проспать.

С запада держит зима к нам путь,
Яблок несет мешок.
Кожи красны, как малиновки грудь.
В меде — зари холодок.

Этой осенью чаще лесною ходила Мелора,
Слыша, как листья сухие хрустят у нее под ногами,
Под листвою ощущая тяжелую грубую землю.
Ей подумалось: „Вот наступает пора все собрать и сложить,
Наступает пора все в амбары сложить и у печки засесть,
На снега затяжные смотреть, вспоминать о любимом.

Он не умер. Я знаю — не умер. Быть может,
В дерево тело его превратили,
Иль превратили в облако тело его,
Иль оно стало какой-нибудь тварью, спящей всю зиму.

Но мне не забыть.

Я тоже всю зиму просплю. Мы на зиму все засыпаем.
Когда же весенний разлив в узких ручьях застучит
И свежей водой их наполнит — он выйдет на волю —
Из дерева выйдет, из облака выйдет, из зимнего сна.

Зима навалилась, и в черной и тесной земле мы лежим
Как камни в осаде.

И вдруг просыпаемся утром –
И мягким стал воздух, и ты семена заостренные сеешь.
Все лето посевы росли, и мы их в амбары сложили теперь,
Чтоб спали до срока они.
Я - семя, и я – оболочка. Посеяла я и пожала.
И сердце мое – как амбар, что заполнен зерном – снятым мной урожаем.
Сплет зерно в моем теле. Спокойно я жду, когда час мой придет.”

Она пошла дальше и вышла на берег ручья.
Бурые листья несло по воде. Смотрела, как уплывают они.

„Мне хорошо, – подумалось ей, – мне хорошо и спокойно.
И часа ждать своего я могу, несмотря ни на что,
Хотя опечалена мамка, и батя гневный и грустный,
Когда он видит, как я хожу тяжело,
И знает – придется ходить мне еще тяжелее,
Прежде, чем час мой настанет. Мне жалко их огорчать,
Мне жалко, что дурно я поступила, если это действительно дурно.
Но мне хорошо.

Он вырезал сердце со мной на коре.
Я взяла половину монеты, и взял он другую.
Он вернется, как только минует зима, или я его отыщу,
Когда раскрываются окна, когда жеребята
Родятся весной, когда свою зимнюю кожу сбросит змея,
Когда на земле лежит старая кожа зимы,
Серая осинным гнездом под тихим зеленым дождем,
Когда открываются с шумом большие ворота сараев.
Сперва я не знала, в чем дело, и я беспокоилась страшно,
Но как только я поняла – все сразу же переменялось,
И стало все вдруг хорошо.

Почему это так – я не знаю.”

Она наклонилась неловко и тронула землю рукой.
Под ломкими листьями почва живого была;
Растерзана жатвой своей, улеглась она на бок, чтоб крепко уснуть,
А все-таки сбросила лишний покров, к вечной битве готовясь
Со стужей зимней, пока не родится весна
Как зеленая почка тугая, чуть-чуть осторожно открывшись,
Выходя из коры ледяной и безликих белых снегов.

Ветер прошел по земле, сдувая листья с нее,
Неустрасимую грудь обнажая земли.
Мелора почуяла: ветер прошел по тяжелому телу ее,
Его обнажая и очищая для боя.

Она ощутила,
Как шевельнулась безликая тайна внутри у нее,
Гармонический ритм уловила живого зерна,
Битву и пробуждение для битвы.
И соленый привкус покоя.

В небе стая гусей пролетела узеньким клином.
Гуси кричали.

Крик этот в сердце Мелоре вонзился
Ярким ножом.

Она засмеяться могла иль заплакать
От этого крика, упавшего с крыльев летящих —
Но молча стояла.

Она прикоснулась к жизни земного нутра.

С любовью сосватал туман на заре,
Когда ветвь была зелени рада.
Но вырезать сердце мое на коре
Успела я до листопада.

Весной зеленела листьев семья,
А нынче стала каленой.
У ветра кольца не просила я
Там, под веткой склоненной.

Падайте листья, легко летя,
На меня с моею бедою.
У меня не у первой будет дитя
От ветра, что шел стороною.

Не последней, не первой — глаза вперив
В облака, что плывут синевою —
Гадать, что несет мне этот порыв,
И дать ему имя какое.

Как снег, белоперая птица, слетай,
Метели, кружитесь элее!
С евангельским словом девочки-пай
Спят, свою честь лелея.

Спит девочка-пай, скромна и кротка,
А с шалою спит ее срам.
А мне — спать в дупле до тех пор, пока
Я имя ребенку не дам.

На веретенах мне пряжи не прясть,
Чтоб роды ткались в порядке;
Я ножниц не стану под койку класть,
Чтоб вырезать боль у схватки¹³⁷.

Псалма не читай, молитв не читай
За меня, проповедник в церкви —
Но дрожащие руки свои пускай
Береза подыметверху.

Стужа, и стужа, и стужа опять —
Зябко в ветвях ютиться.

В восприимниках ветры будут стоять,
Крестить его будет птица.

Слушай меня, теннесси́йский хлеб –
Мой голос к тебе обращен:
Это первый младенец на всей земле,
Который птицей крещен.

Он будет рыскать, как гончий пес,
Из дубовых выйдя ветвей.
Хочу, чтоб гордо он голову нес
По земле теннесси́йской всей.

Пушай он грудь у меня сосет.
Джек-Свист – ему имя я дам.
Отец ему птичье гнездо принесет,
Когда возвратится к нам.

Набег Джона Брауна стал совершившимся фактом.
Не так, как мы это себе представляем по книгам,
Не вспышкой внезапною чистого света на небе он был,
А смутным – как полузадушенный дымом огонь –
Победы плодом, но меж тем не совсем и победой ...
Доктрина сомнительных свойств, и с сомнением ее принимали.
Газеты ее превозносят, но медлен рекрутский набор,
И туго продажа идет государственных займов,
Но жернов войны продолжает и дальше молоть.
Не то, чтобы сразу же сброшены были оковы,
А только медленно мысль прорастает сквозь землю,
И медленно корень растет, к сотне почв прикасаясь различных,
К несчетным умам – и все ж ни цветка, ни цветенья.

Чтоб мысль претворилась в дела – нужно долгое время.
Когда же она расцветет наконец, то садовники все удивятся:
Их столько трудилось над маленькой этой грядой!
Гаррисон, Бичер¹³⁸, и новоанглийских немало имен,
Ехидный и крепкий и чуть ограниченный Самнер¹³⁹
С своим покалеченным телом, с серебряным и ядовитым своим языком;
Вендел Филипс, Антином из Гарварда слышший¹⁴⁰ ...
Однако теперь, когда мысль проросла – в них сомненья закрались.
Да, то была их идея – и вовсе она не дурна,
Лучшего им не приходится ждать от таких, как Линкольн,
Но – это неверно, и то, а тут – безрассудные планы,
Мы сделали это бы лучше, мы с областью этой знакомы,
Вот это – значительно раньше и иначе надо бы сделать:
Не можем вполне похвалить.

Пожалейте садовников этих.

Бостон пожалейте, и тех пожалейте, кто сердцем чисты,
Тех пожалейте, мимо кого проходит эпоха
Без ведома их по ночам. Они жаркими днями трудились.
И даже давайте жалеть

Вендела Филиппа – гарвардского Антиноя,
Потому что он был образцовым вполне человеком,
А люди такие заслуживают сожаленья.

Он тоже старался, как мог.

Незыблем и непробиваем в своей правоте,
С Линкольном он редко сходилась и редко считал его мудрым.
Ему временами казалось, что ошеломляющий крах поражения
Преподал бы нужный урок народной душе,
И он бы разрушил Союз беззаботно, как Йенси¹⁴¹,
Но лишь со своих аболиционистских позиций.
И говорил он об этом на многих собраниях;
Хоть издевались над ним, но обычно умел он
Медоточивой, но твердой и правильной речью
Рано или поздно заставить насмешников – слушать.
Для человека такого война – никогда не помеха;
Война наступила – и дело в руках у него закипело:
Он был энергичен и крепок, и хватким умом обладал,
Он предан идее был той, за которую бился,
И потому выступал он с речами.
И речи он произносил хорошо, убедительно, часто.

Вот так обстоит с главарями противников рабства.
Они одинокое знамя годами несли,
И стойко они поражения умели сносить,
Как свойственно чистым сердцам,
Но лика победы понять не могли эти люди.

Нам легче понять побужденья других несогласных:
Готовы сражаться они за Союз, но не за черномазых,
Им на черномазых плевать, – они заявляют открыто об этом
С обиженным воем.

И все-таки медленной мысли корень растет,
Проникая в людские умы постепенно.

Прогнали с работы
Ланкаширских прядильщиков из-за того, что блокада Союза
Хлопку путь преградила, не может хлопок прорваться,
Фабрики праздно стоят, а прядильщики все же,
Сзывая голодные митинги, хвалят Союз.
И в каких-то английских умах началось движение вспять,
А за морем уже согладаты чувствуют, как коченеют их руки;
Еще строят подвохи друг другу, и спорят и Слайдел, и Мэсон, и Хьюз¹⁴²,
Но холодным дыханьем по комнатам с люстрами веет.
Начинает дверь закрываться¹⁴³.

Но очень немногие видят,
Как волна отливает, как дверь закрывается тихо.
И Линкольн не заметил. Он видит одно лишь:
Тяжкий молот войны, отставанье с рекрутским набором,
Голосующих снова и снова на выборах против него,
Видит, что Ли уж в Виргинии, в безопасности после боев антьетамских,
А Мак-Клелан тем временем, на пять недель застревая, не движется
вовсе.

Наконец он теряет терпенье – Мак-Клелан смещен.

В его должность вступает Бернсайд¹⁴⁴.

И Потомака армия, мрачная,
сбитая с толку,
Обзаводится всадником новым. В бакенбардах, дороден и вежлив,
Не доверявший себе самому. Он команды принять не хотел, от нее
уклоняясь,

И почти со слезами команды принять согласился.
Растерявшийся человек, что проходит как призрак печальный
Сквозь ноябрьские дни, пытаюсь кому-то тревогу излить,
Наконец свою армию бьет о гранитную стену у Фредериксбурга
В неизбежном своем поражении, в кровавой резне.

Вот известия об этих событиях пришли — и в глазах его слезы.
Никогда не хотел он команды принять на себя.
„Боже, что с солдатами там! — он стонет, — О эти бедные люди!“
— У гранитной стены они сложены, точно дрова в штабеля —

Стать он хотел во главе безнадежной последней атаки,
Но его удержали.
Угрюмая армия, раны зализывая, отступает.
Ночь наступила. Газеты в истерике воют.
Шестьдесят три сотни убитых в обреченной этой атаке,
Которую было нельзя начинать ни за что.

Его плечи согнулись.
По приказу его переход бесполезный делает войско, в грязи утопая.
И наконец он в отставку уходит, слагая оружие, которым владеть
не умеет.

Джо Хукер назначен на место его¹⁴⁵.

Тяжелая поступь зимы — холодной зимы сомнений и скорби.

Солнце светит, ветерок.
Пленным — каменный мешок.
Не сыскать в стене глазок.

Что им холод зимних дней?
Те, кто смерзли до костей,
Тем не станет холодной.

Лета луч не будет сладок,
Дождь весенний не зальет
Раскаленных лихорадок,
От которых плоть гниет.

Хрип рогов, оркестров звон,
Отдан форт иль занят он,
Чей-то рапорт так умен!

И победой кто-то сыт,
И у пленных трупный вид
Раньше, чем их смерть сразит!

Теперь — о плененных и в заточении сущих,
О темной когорте,
О насельниках Андерсонвиля, о тех, кто был в крепости Сандер,
О замерзавших в лагере Мортон и вышедших из подземелий
С кровяными сосудами, лопнувшими на лице.
О тех, кто умерли в Солсбери и Сент-Луисе,
В лагере Дуглас, в Эльмире, в Бел-Айл,
И о тех, кто копали в Либби подземные ходы¹⁴⁶,
О людях в воздухе затхлом.

И та сторона, и другая наперебой обвиняли друг друга —
Бывало что ложно, бывало что справедливо.
Официальные рапорты можете вы прочитать —
Дюжину толстых черных томов присяг и свидетельств,
Эту пустыню шрифтов,
Этот черный ряд саркофагов для мумий.
Давно позабытое там сохранилось нетленно,
И неуклюжую воспроизводит машину охраны, приказов и донесений:
„Осмеливаюсь доложить ...“, „Почтительнейше доношу...“
„С кухней все обстоит хорошо ...“ „Качество пищи добротно вполне ...“
„Осмотр лазарета: за исключением палаты седьмой, все отменно...“
„Примечанья: на данный момент у нас девяносто пять случаев оспы...“
„Примечанья: считать состояние здоровья пленных — терпимым...“
„Примечанья...“ и вновь „Примечанья...“ „Почтительнейше доношу...“
А за этими буквами люди, имевшие руки когда-то,
Но колеса скрипучие почтительнейше этих людей донесли
В пустоту, балъзамируя и уложив в саркофаги для мумий
Вместе с их лихорадкой, простудой, воззрениями, с планом побега.
Этого „Кушым“ прозвали, другого прозвали „Судьей“,
Тот на шее Девы Марии носил образок,
У того был нос переломлен, а этот был враль.
„Почтительнейше доношу“ — ...

Но и там, и тут временами
Человек или сценка вырвутся из саркофага для мумий,
Ускользая, как дым, синий дым, что, клубясь, образует картины.
Присмотритесь к этим извивам —

и в затвердевшем дыму
Предстанет тройная решетка проклятого Андерсонвиля,
Где люди в своих нечистотах гнили, как мухи,
И больные гангреной были черны от дыма и собственной грязи.
Перед концом войны тридцать тысяч солдат федеральных
Там находилось.

Некто по имени Вирц¹⁴⁷,
Швейцарец, полуживотное, полудурак, а полностью — олух,
Управлял этим лагерем призраков.

Почитаешь о том, что он делал —
И хочется вздернуть его как можно повыше.
А после, читая о том, что сказал он после войны,
Когда над ним суд учинили — так и представишь
Вытянутое лицо в заглубелых чертах —
Муху тупую, жужжащую глупо в ловушке,
Голос свинцовый невежды, твердящий опять и опять:
„Право, я сделал, что мог, — мне тюрьму содержать приказали.

Да, я обнес заграждениями зданья тюрьмы,
Да, иногда на людей я собак натравлял,
Пленных в колодках пытал, и убил кой-кого,
Лагерю дал загнивать до того, что охрана,
Бывшая там, заразилась смертельной болезнью;
Да, но ведь то заключенные были, — опасные люди,
Я-то причем, если сотня их в день умирала?
Я свой долг исполнял; неизменно писал о смертях донесенья.
Что же такое я сделал, чем хуже других я?
При Семи Соснах храбро я бился и тяжело был ранен.
Тут у меня есть свидетели, вам они скажут,
Что я на деле был добрым, что человек я хороший.
Не понимаю: я старый, больной, а меня
Вы собираетесь вешать. За что меня вешать?”

Пальцем большим раздави эту муху и руку помой хорошенько.
Но раздавить ты не можешь скрипящей свинцовой машины,
Ты уничтожить не можешь первое то подтверждение,
Первый тот циркуляр, который положен
Адъютантом Ничтожным на стол капитану Тупому,
Чтоб капитан принял к сведенью, и по начальству
Рапортовал. Есть такие, что зло замышляют и зло совершают.
Но большинство из людей, кто работает в этой машине,
Лишь допускают свершение зла, там где-то в колесах.
Их вина — не злодейский злокозненный нож,
А тупая пила надоевшей обыденной лямки.

Право же, если бы лег человек умирать к ним на письменный стол —
Сделали б все, что возможно они — для врага или друга,
И помогли бы, но это ведь только бумага
С почтительнейшим донесеньем
И утвержденная должным порядком, которую нужно
Дальше послать куда следует, чтобы она
Больше и больше впитала крови в себя.

Снова всмотритесь на миг вы в этот дым загустелый:
Видите? Вот и еще живой человек, и еще другая тюрьма.

Вечером как-то в девятом часу в тюрьме Ньюпорт — Ньюз
Негр-рядовой по имени Вудсон¹⁴⁸ стоял на часах
Близ галереи, где находилось отхожее место,
Но запрещалось туда заключенным ходить с наступлением тьмы.

Черный солдат поначалу вполне дружелюбно
С пленными вел разговор; им хотелось продать
Ему кольца, булавки, которые были у них,
И к нему приставали они, чтоб пустил их в отхожее место.

Выстрелил он наконец
В человека, пошедшего по галерее, но не попал.
Прибежал лейтенант и спросил, отчего он стрелял.
Вудсон все объяснил.

И еще один пленный пошел

По такому же делу — скользящая тень меж теней —
Вудсон дважды кричал ему — „стой”, но тот двигался дальше.
„И сейчас кто-то на галерее”, — сказал молодой лейтенант.
„А должно быть, какой-то из них опять мочиться пошел”, —
Нехотя Вудсон ответил. Лейтенант подобрался.
Он ведь был караула начальник. Приказ есть приказ.
„Что ж ты в дело не пустишь свой штык?” — он сказал.
Вудсон рванулся вперед. Сгорбился штык и ударил.
Человек, вломившись в отхожее место, упал, как бревно.
„Ты забил его на смерть!” — кто-то из пленных истошным голосом
крикнул.

„Да, черт возьми, — чистя штык свой, Вудсон ответил, —
А они в форте Пиллоу нас погребали живьем.”

Суд нашел,
Что был часовой немного слишком поспешен, но не преступил
Полномочий своих, и приказ офицера — законный.
Разве спорят с судом?

Тем не менее тот человек,
Побежавший в отхожее место, совсем нежелательно мертв.
За хождение туда представляется кара чрезмерной.

Снова свиваются в дым небольшие картины.
И саркофаги для мумий сомкнулись над темной когортой.
В ящики сложен архив.

Если бумаги
Посланы были другому суду на последнее слушанье дела,
То их оттуда вернули. И кажется странным,
Что аккуратные эти архивы со всей перепиской,
С кипой почтительнейших донесений — вернулись от Бога,
Не получив окончательного одобренья.

Медленно к месту обмена, трясясь, подвигались повозки.
Навстречу бил ветер холодный.

Повозок было немного.
Повозки и лошади слишком ценились высоко,
Чтобы их пленным давать, подлежащим обмену,
Если они еще в силах пешком продвигаться.
Многие шли, и кой-кто умирал по дороге,
Но умирало их больше в повозках — оно и понятно:
Те, кто идти не могли, — в самом деле больны были тяжко.

Два дня они были в пути.

В повозке лежал
Джек Эллиат между уже умиравшим верзилою из Иллинойса,
Который все бредил, что он на Великих озерах,
И будто он черпает воду из лодки дырявой, —
И тощим туберкулезным евреем,
Который все кричал, как утка больная, при каждом толчке.
А Бэйли шагал. Он все еще был в состоянии идти,
Но кожа висела на нем. Он песню ткача напевал.

К реке добрались наконец.

Джек Эллиат перед собою

Увидел желтые волны, лодки увидел, медленно переплывавшие воду.

Бэйли с повозки помог ему слезть. И теперь он пошел,

Бэйли обнявши за шею. Вдвоем они шли, точно краб.

А на повозке, привстав, таращил кнопки-глаза

В приступе кашля еврей. Верзила лежал на доске,

И пытались поднять его люди.

Ветер подул,

По ношу пробегая мороза, сотрясая лохмотья на пленных.

А воздух был тающим льдом, был с чистейшим золотом сходен,

И флаг увидали они, на тот берег уставясь,

И высоких в синем солдат, шагающих в теплых и толстых шинелях

С видом больших и крепких мужчин на хороших харчах. „Ура”

раздалось,

Хоть хрипло и тоще оно прозвучало из выжатых легких,

Но все-таки был в нем металл.

Яркий флаг развевался.

„Я чувю, что мясо там жарят”, — закашлявшись, молвил еврей;

Он воздух ноздрею втянул. „Черт возьми, я надеюсь —

Не ветчину они жарят”, — сказал он, губы скривив.

Несколько пугал вороньих в ответ засмеялись.

Тут донеслось до них эхо их крика „ура”,

Точно в них кинули воплем высоким и резким

С примесью той же металла, звучавшего слабо.

Но звук не унялся, как эхо, а рос и крепчал:

Это больные южане на той стороне

Радостным криком встречали своих.

Два слабые голоса толп

В голос единый слились — тонкий, как выкрики чаек.

Начали в лодки сажать ослабевших людей.

Джек Эллиат к лодке на ватных ногах подошел.

„Молчи, — он подумал, — дело не в шляпе еще, пока ты не вылез на том берегу.

Они еще могут схватить тебя даже теперь и обратно услать,

Если видом своим ты покажешь, что очень доволен.

Ну-ка — держись как солдат, черт возьми, покажи им фасон.”

Мысль детской была, но ему помогла она выпрямить спину

И в лодку забраться.

На середине реки

Они поравнялись с лодкою пленных южан,

И были так близко от них, что могли друг другу кричать.

„Как, янк, поживаешь?” — „Как ты поживаешь, мятежник?”

„А вид у тебя неважнецкий, что — мы тебя плохо кормили?”

„И вид у тебя не особенно тоже роскошный ...”

„Подумаешь, тоже беда!” „Еще и не тот будет видик у вас,

После того, как Хукер до вас доберется!”

„Подумаешь! Джек-старина по частям разберет, как кофейник,

Хваленого Хукера вашего ...” „Ну, до свидания, янк ...”

„Ну что же, мятежник, прощай, отрази себе брюхо.”

Вот так вот могли повстречаться и разойтись

На другом, на гуще затынутом тиной потоке

Лодки другие, под черных весел мерные взмахи,
С грузом никак не тяжеле этого груза.
Бэйли следил, как лодка вдаль уходила с больными солдатами в серых
мундирах.

Все еще вслед необходимую ругань кричали усталые рты.
Он рупором руки сложил. „О-о!“ — заорал он,
Затем попустился назад, закашлявшись.

„Да, вид у них скверный,” — сказал он.
„Ишь — рады, что едут к своим. Не такие они уж плохие — эти мятежники,
право.”

Нос лодки коснулся причала, и лодка качнулась — ее привели
в равновесие.

Все вышли из лодки. Но к лагерю сразу они не пошли.
Сперва, обернувшись, взглянули на реку, на берег другой,
Не вымолвив слова. Минуту они простояли —
Нахохленные журавли так стоят у ручья,
Глядят и мигают.

„Ну ладно, ребята, — сказал офицер. — Собирайтесь, пойдем.”
Джек Эллиат чувствовал — сердце в груди обратилось внезапно в комок:
Офицер был в синем мундире. Они опять у своих.
Вышли они из тюрьмы.

Бэйли рукою взмахнул
И ею широкий круг описал. „Черт возьми!” — растроганным тихим
голосом

Бэйли сказал;
Нос показавши флагу южан на той стороне,
Он разразился слезами. Джек Эллиат обнял его.
„Капитан, когда ж нас накормят?” — еврей простонал.

КНИГА ШЕСТАЯ

Куджо, пыхтя, серебро начищал,
Пока накаляться не начал металл;
Он замшей запасся для этого дела —
Как новая жечь серебро заблестело.
Но как ни старайся — кривится рот:
„Время плохое теперь настает —
Вот Рождество не отсрочишь ничем,
А о подарках забыли совсем.
Смысла возиться нет с серебром,
Смысла заботиться нет ни о чем.
Старый масса уехал из дому,
И янки стреляют по молодому.
Щетка мисс Мэри в седых волосах,
В ягодных ветер свищет кустах;

Рыжая сучка загрызла щенят,
Мыли сервиз — и две чашки подряд
У Лизы в руках в куски разлетелись.
Дни Рождества, куда же вы делись?
Ужель не вернетесь вы снова в наш дом?
Нерадостно мне, как коту под дождем.”
Бывало, приходит в свой срок Рождество,
Большим стариком представляли его,
Енотовый хвост его землю метет,
От этого пляса чихает народ.
И людям старик казался такой
Удачливым солнцем, текущей рекой,
Казалось — смеется он без умолку,
И смех его похож на двустволку.
Колпак из соломы над плешью обширной ...
А сколько монет в нем и сдобы имбирной!
„Сюда заходи погулять, Рождество!
Да только у нас не удержишь его —
Ему счастливые семьи нужны,
Где фейерверк блещет и шутки слышны,
А тут ничего на плантации нет,
Кроме тоскливых и долгих бесед.

Сняты болты и с ковров сняты штанги —
Все для того, чтоб обстреливать янки;
Мула косого забрали с собой, —
Кто его взял, был дурак пребольшой ...
И то забирают, и это берут —
Я ничего не пойму уже тут.
Если бы нас увидел старый масса —
От ругани Джорджия вся б затряслась!
Тут с этой замшей до вечера лазай,
Как в Алабаме в полях черномазый;
Шляпу надев из листьев маиса,
Красит одежду старую миссис,
На корпию свой кринолин разрывая,
И мятный отвар кипятит вместо чая.

Ох, стал бы масса Клей горевать бы,
Если б увидел сестер своих свадьбу!
Стройны женихи, и невесты румяны —
Но ягодный сок наливают в стаканы,
И свадебный ужин окончился рано.

На свадьбах, бывало, неделю прием —
Но нынче по Трудной реке мы гребем.
Юг джентельменов — ты кем-то заклятый,
Кем-то огромным с пастью зубатой,
Все проглотившим! Я сделал, что мог:
Перья развеял и гнезда я жег,
Налил бутылку, над ней ворожил
И в освященную землю зарыл.
В страхе не спал я целую ночь,

Но колдовство не сумело помочь.
Если б совиный я хвост раздобыл,
Или земли из тюремных могил ...
Но даже в это не очень я верю —
Ветер все время скребется под дверью,
Хищно когтями шаря и шаря ...
Кто вас насытит, голодные хари?
Сеять маис продолжают рабы —
Вот еще олухи, медные лбы!
Только и могут — с тарелок лизать
Соус, да хлопок в полях собирать.
Ветра в болоте не слышат они,
Но и над ними тот ветер звенит
Так неумно, дико и жутко,
Точно без матери стонет малютка.
Чем тебе, ветер, насытить нутро?"

Чистить довольно! Блестит серебро.
Ложки в фланелевый спрятал мешок,
Глянул на замшевый свой лоскуток.
Видно, бездонная глотка — война,
И колдовству не поддастся она.

Салли Дюпре следила за краской в тазях.
Ветер надвинулся с медленным легким дождем.
Дождь проходил, как волшебное войско: казалось, что в этом
пространстве
Между туманным холмом и намокшим гранитным порогом
Нет ничего, кроме серо-серебряных мчащихся копий,
Четких, но тесно сплоченных и тонких, как месяца край, —
Копий, которых людская рука не касалась.

И думала Салли:
„Деля эту работу, новыми красками руки запачкала я.
Красная краска — из ягод, а из зеленого лавра — серая краска,
Черно-густая зовется — „восторг королевы“.

Если б сейчас он увидел меня,
Когда руки мои разноцветны — он их не узнал бы,
Он на девичьих руках признает разве только белила, —
Эта краска сильна чересчур.

Я сердце покрашу свое
В краску „восторг королевы“ и в ягодный сок —
В красное с черным — в цвета, что носили шуты в старину,
И сердце ему отошлю в лоскуточке ситца цветного,
Чтобы не заблудить ему под дождем.

Сердце будет его согревать.
А женщине, что влюблена — без сердца значительно легче.
Как мы глупы, ожидая, чтоб год свой свершил оборот, —
Год нам ничем не поможет.

Как мы глупы,
Многоцветные наши сердца отдавая дождю.

Мне надоели громкие лозунги, и надоело беречь каждый грош,
Я бы хотела всю ночь танцевать, нарядившись в новое платье,
И позабыть о войне, о любви, о геройстве, о Юге.

Юг — это старый дом величавый, где женщин прелестных так много.
Эта война — справедливая, полная доблестных дел,
Ну, а любовь — как камелия белая в прядях волос ...

Но мне надоело вести разговоры средь женщин прелестных,
И белой камелии запах мне надоел. Я покрашу
Руки мои в отработанной краске чернее чернил
И буду, как дура, ждать возвращения домой моей горькой любви.
Он был ранен в этом году. Ему сделали больно. Тебе сделали больно,
любимый.

Я уверена в том, что она приходила с букетом цветов.
С тобою и раной твоей говорила прелестная женщина эта.
Я уверена в том, что она приходила.

Разноцветного сердца нет у нее. Не станет она погружать
Свои нежные руки в плодовую мякоть и в мертвую черную воду,
Пока на них демона тенью не ляжет кривое пятно,
Пока не проникнет пятно это в самое сердце.

Когда бы пришла я к постели, где лежал бы больной ты в жару, —
Я не пришла бы к тебе, цветочки зажав в кулачке,
А я бы перо белой цапли в лесу отыскала,
Которое в чаще лежало и стало прохладным, как сон.

Я раны твоей бы коснулась нежней, чем бальзамом,
Как Джорджии солнце — так яростно руки мои оплели бы тебя,
И тело мое напряглось бы упрямее лука стального,
С царственной смертью вступая в борьбу.

Ты ранен, милый, ты ранен — и нет меня рядом,
Нет рядом меня, чтобы жгучие ткани на ране рассечь,
Чтоб отыскать человека, пославшего пулю в тебя,
И глаза его воронам бросить.

Усадьба, усадьба, усадьба — не рана совсем,
А ты отделяла его от меня, когда был он свободен,
Усадьба и девушка та, чье сердце — задутая белая свечка —
Обеих я вас проклиная.

Дворянской учтивости дом, особняк благолепный,
Ты должен в борьбе победить: мой любимый замешан в борьбу.
А после ты должен упасть, упасть — нас стены твои разделяют,
Истертые камни твои преграждают друг к другу нам путь.

Камелии пресные в старых садах твоих мне надоели,
И гордость твоя — не моя, и страсть — не моя.
Меня твоя жимолость душил своею лозой
И речи изысканных дам.

Скорей буду землю копать, чем с твоей терпеливостью свыкнусь.
Я неба такого хочу, из которого платьев не шили,
И руки изранить об жесткую землю хочу, как о львиную шкуру,
Хочу я вращать огромную ось колеса.

Мне низкая крыша нужна на пороге дождливой погоды,
И острой любви я хочу со странной раскраской одежды шута,
Хочу я простую постель, а не ложе святой и не дамы изысканной ложе,
И смерти хочу я могучей в конце.

Ты ранен, милый, ты ранен – и нет меня рядом,
Увидеть тебя не могу, прикоснуться к тебе, мой любимый,
И жар лихорадки твоей на себя перенять,
И руки над раной твоею обжечь.

Если была бы я там – о, я знаю – тебя я нашла бы –
И нашла бы врага твоего и убила его – и всю ночь напролет
Сидела бы я у кровати твоей, словномышь, словно камень недвижимый.
Только б слушать, как медленно тьму колыхает дыханье твое,
Только бы слушать вот этот, что детской красы драгоценней,
Твоего сердца усталый медленный стук.”

Клей Вингейт сидел у огня,
Ржавой железкою стремя чиня,
Брови сжав за работой сурово.
В город они возвращаются снова.
Клей думал об этом с усмешкою мрачной:
Забавно, что хитрость была так прозрачна,
А беззаботность сквозила заботой ...
В лесу, под дождем он бы с большей охотой
Играл со шпионом северным в прятки,
Чем дамам вздор наговаривать сладкий.
А впрочем – что ж делать порой отпускной?

Рукав у Вингейта с дырою сквозной –
Пикетчик небритый тогда постарался,
Которого пояс Вингейту достался, –
Не шибко-то был он проворен с ружьем ...
Ожога следы на манжете другом –
С разведчиком схватка была боевая,
С ирландским акцентом шептал он, стихая.
Вингейт мимоходом вспомнил о том –
Как дерево помнят на склоне речном:
В окошке вагона мелькнет силуэт,
Едва разглядел – а его уже нет.
Важнее куда было пить или есть,
Чем боль причинять или боль перенести;
Жизнь слишком быстра, чтобы помнить о ней.
„Но кое-что память удержит сильней.
Хоть вовсе не то, что – уверен был я –
Навеки удержит память моя.

Страшнее раны в теле моем
Вот та ворона с подбитым крылом
На перевязочном пункте лесном —
Глазастая эта голодная птица,
В соломе искавшая, чем поживиться,
Пока меня страх не объял, что она
Глаза мои выклевывать может до дна, —
Не знал я, как мне от нее защититься ...
Я дамам умею плести небылицы
О схватке разведчиков ночью зловещей
При свете, что в дуле противника блещет!
Но помню я только колоду с водой
В глухом городишке, средь чащи лесной,
И то ощущение в коленях моих,
Что конь мой куда-то уходит от них —
То в воздухе желтом он рухнул, как гряда,
Ударенный пулей Бог знает откуда.
Я помню не приступ на фланг северян,
А у Семи Сосен болотный туман,
У мельницы Гейнса болота сырые ...
И Ли мне запомнились плечи прямые —
На Малвернский холм его лошадь несет —
Выходцем гордым из Скейских ворот¹⁴⁹ —
То гемму войны кто-то выбил резцом...
Виргиния — то Илиада твоя!¹⁵⁰
Но все-таки Троя с земли была стерта.
Глаза не забуду отцовские я,
Под Вилдернесом увидавшие мертвых —
А больше не помню я ни о чем ...

А Люси наденет английский наряд,
Как в город войдет Черноконный отряд.
Наколешь на платье ты звездочку-брошь
И нашим теням восхвалять нас пойдешь ...
Как белое с золотом Люси идет! ...”

Дохнул он на руки. Был воздух, как лед.
Тепло от костра почти что не шло —
Какое от мокрых поленьев тепло?
Но нечто такое в душе было Клея,
Что было и мокрого града сильнее:
Как будто омыт он во сне дождевом ...
Но вот и поводья, и пар над конем,
И Шепли с Бристолом за Клея спиной,
Что дулись в пикет колодой дрянной,
И дым, и шипенье мокрых поленьев —
В хорошее что-то слилось на мгновенье,
Что не было связано с миром, с войною,
Иль русой красавицей с брошью-звездой, —
Что гордости всякой гораздо скромнее,
В чем есть изможденность, как в спутниках Клея.
Присутствует рядом оно молчаливо,
Как волосы Люси — так явно, так живо,

Как в доме Везерби полный бокал ...
„Все это — друзья мои, — он прошептал, —
Мы янки надули на прошлой неделе,
Когда мы у Бойлинг-Крик завладели
Фургонами их ... Мы — хороший отряд,
Хоть на переключке кричим невпопад.
Весной мы все снова начнем по порядку ...”

Бристол замусоленной стукнул десяткой —
И голосом ласковым, вкрадчивым, южным,
Который как пуля был тверд, если нужно,
Сказал: „Вот и все! Мне сегодня везет!
У Шепли в пикете всегдашний просчет!”
Он руки развел с гигантским зевком —
„Когда ж, господа, мы отсюда уйдем?
Я смерти солдатской не жажду ничуть,
Пока мне на выигрыш можно кутнуть
И встретиться с дамами кое-какими —
А в ад угодив, не увижусь я с ними!
Особенно я тороплюсь на свиданье
С одним черноглазым прелестным созданием;
Ее добродетель — надеяться надо —
Единственная в этом деле преграда.
И было б сержанту Вингейту не худо
Покончить с седлом — и нам брызнуть отсюда, —
У янки зачтмствую я выражение ...”
Он вкус своих слов смаковал с наслаждением.
„И все же, — сказал он, — берет меня дрожь:
А вдруг возвратишься — и крепко запьешь,
Напиться легко — был бы повод хорош!
И даже девчонки ведь могут, ей-ей,
Внушить опасенья на несколько дней”.
И тут он вздохнул: „Хоть я бравый вояка, —
Идти предпочту я на пушки в атаку,
Чем старому чинно внимать болтуну
О том, как сумел бы он кончить войну:
Он янки ларек на скрещеньи дорог
Как только увидел — сейчас бы поджег!
Янки пускай не всегда джентельмены,
Но если дерутся — дерутся отменно,
И после того, как в чаду боевом
К седлу тебя чуть не прибили свинцом, —
Ты злишься, когда говорит тыловик,
Что янки сражаться совсем не привык.
Роптать и ворчать не следует мне,
Но я бы резвился на этой войне,
Как утка на озере у островка —
Когда бы не женщины и отпуска!”

Плотно лежали снега на холмах. Обжигало глаза,
Если подолгу смотреть в ледяное стекло —

В зимний бескрайний и чистый сверкающий воздух.
Так же сияющ и так же он холоден, как ледяное стекло,
Из хрусталя в нем стояли деревья, подобные странным и хрупким
игрушкам,

После того, как их град исхлестал, и затем заходящее солнце
Радуг замерзших навесило, как самоцветов, по веткам стеклянным,
И длинные синие тени скопились по впадинам тихих холмов.

Белой сирени кусты и лиловой стоят в Новой Англии долго
Заолодевшие — не зацветают, пока дожди не польют;
Но, посмотрев из окна, ты сразу увидишь
Белой сирени огромное поле.

Бледнейшей сирени
Собранные снопы, и ее оттеняют лилового вечера лянта.

Джек Эллиат отвернулся теперь от окна.
В ушах у него морозный звучал колокольчик зимы.
Новый Год показался младенцем ему, завернутым в буйвола шкуру;
Младенца везут на санях — из стали блестящей полозья —
Вверх на пологий холм февраля, к студеному свету.
В шкуре младенец уснул, как олененок, свернувшись комочком
На лоне зимы. Ясный звон колокольчиков слышен.

Эллиат руки у печки погрел, поежась немного,
Слушая звон этот сладкий и ледяной.

Ему было лучше теперь.

Но кровь у него холодела при мысли одной —
Скользить на коньках по агатово-черным полам при свете костров,
Иль снег выбивать из девичьих варежек алых.
Временами ему не спалось, когда его плоть вспоминала
Запахи, образы, звуки, которые были тюрьмой.

Все он глядел на часы, где коней низвергал Фазтон,
Странно в знак узнавания кивая. Изменилось все остальное:
Эллен Бэкер и люди, кошмары, картины зимы,
Или все пребывало в утраченном им измерении нормальном, —
Но Фазтон был все тот же. Джек сказал про себя:
„Я встретился дважды с тобою,
Колесницегонитель древний, безумный, —
Однажды в лесу — и однажды в грязной дыре,
Где смерть была просто забытым плевром на полу.
Должно быть, мы встретимся вновь до того, как наступит конец —
Что же, пускай будет так.

Наверное в прошлом году под Фредериксбургом
Адская стужа была. Я рад, что туда не попал.
Что случилось с тобою, Мелора?”

Он видел Мелору.
Весенние сумерки. Лес. Мелора выходит из леса.
На миг его тело запыло, но это прошло.
Он поправлялся. Скоро вернется он в строй.
Тут усмехнулся он сухо, подумав, как случай капризен.
Отцу наконец удалось повидать того конгрессмена,

Как раз перед битвой при Шайло. И вот, десять месяцев длинных спустя,
Тот механизм хитроумный, который пускается в ход
Рукою таких конгрессменов — обратно его отсылает
В полк его старый — в Потوماка армию, где говор восточный у всех,
Где Генри Фэрфилд на своих костылях ковыляет —
Ему прострелили в Антьетаме оба бедра.

Всё равно было Джеку,
Когда бы не так тяжело было с Бэйли ему разлучаться.
Пытался понять он, что в мире его изменилось,
Но бросил вникать. И люди, и вещи казались такими ж на вид,
как и раньше.
Вы можете их ненавидеть, любить, они могут нравиться вам,
Но ни к чему толковать им о новом том измерении, в которое ты
угодил:
Им покажется это нелепым, и поймут тебя только люди, подобные
Бэйли.

„Я встретился дважды с тобой —
Колесницегонитель древний, безумный.
В третий раз ты, возможно, научишь меня хладнокровью.”

Нэд, дремавший у печки, проснулся, зевая.
„Здравствуй, Нэд, — ему с полуулыбкой хозяин сказал, —
Там в лесу про тебя одной девушке я говорил —
Ты б ее полюбил. У тебя бы за ухом чесала она.
Ты и Бэйли понравился б тоже. Мне б хотелось, чтоб с нами был Бэйли.
Хочешь, Нэд, на войну?” Нэд опять зевнул широко,
А Джек засмеялся. „Ты прав, старина, — он сказал, —
На войне все запутано слишком — ты лучше дома сиди.
Господи, мне бы хотелось тысячу лет у печки проспать,
В пса превратиться, который знает, как вынести стужу.”
Пробило пять. Джек вскочил при звуке ударов —
И вновь опустился на стул. „На этот раз вас я надул”, — он сказал,
Как будто пулями были эти удары.

Тут он обернулся
И мать увидал, входящую с лампой в руке.
Вкус странный почувствовал ужина и тишины.

Джон Вайлас тоже слышал градин стук
По более неровным грубым стенам.
То руки он сжимал, сплетая пальцы,
То разжимал их. Каждый раз, когда
Она стонала — руки он сжимал.
Теперь стон тесно к стону примыкал,
Как струи града светлые друг к другу.

И беспокойным сном шенят безгрешных
Уснули дети маленькие, зная,
Что в доме что-то странное творится —
Странней, чем бури, — но им нужно спать,
И кто-то должен сон их сторожить.

„С ней Харриэт , и Харриэт права,
И точно так же Харриэт кричала,
Рожая восемнадцать лет назад
В той комнате, где были занавески
Из ситца, и ее протяжный крик
Мне в вены, как сосулька, проникал.
И до сих пор ужасную старуху,
Завернутую в шаль, я не забыл.
Как Парка одинокая, со мною
Она сидела рядом, проклиная
Меня глазами каждый раз, когда
Жена кричала, — хоть сама старуха,
Рожая, так кричала, и родившись,
Была сама причиной диких криков.
И так всегда — из рода в род — всегда
Вослед друг другу непрерывной цепью,
Как блеск ножа — мучительные крики,
Затем, что вечно быть земле землей,
И солнце будет ударять по ней,
И семя прорастать. Но ни один
Меня не трогал крик, как этот крик.

С ней Харриэт, и Харриэт права,
И Харриэт от нынешнего дня
Ее уберегла б. Но день настал,
И я сквозь льдинку на него смотрю.
Пусть он пройдет — мне больно тут сидеть,
Кусая пальцы, когда дочь кричит,
И знать, что многим Харриэт труднее —
Как ей трудней почти что двадцать лет.
И все ж — что я искал, то я искал,
И боль меня отречься не заставит,
Или другим стать девочке отцом,
Который в лес ее бы не пустил
Одною бегать, чтоб найти там камень,
Которому не место вовсе там.
Но Харриэт страданий много видит:
Одни благословенны и законны,
Другие окаянны — вне закона;
Но мы с Мелорой видим лишь страданье
Как таковое; не сентиментальны
Мы в наших эпитафиях. И все же
Мне лучше б крика этого не слышать.
Я знаю — он пройдет, как все проходит,
И только поиск кончится с дыханьем,
И даже после дочь моя и я —
Мы из неволи вырваться сумеем,
Затем, что мы — такого рода дым,
Который никакою цепью криков
Светло-стальных не заковать. Мы можем
Пройти по лесу, точно бабье лето,
Быть вольными отшельниками ветра,
Пока в конце концов — сонливы оба —

Как старые не станем облака.

Есть у нее возлюбленный и будет
Ребенок. Я же одинок. Забыл
Об этом я, хоть трудно позабыть
Об этом. Нет, мы вместе не пойдем.

Но эти крики — точно град, они
Стучатся по холодным окнам сердца —
Быстрее, быстрее, пока стекло не треснет —
И наконец пойму я, как я стар.

И в этом кара, в этом оправдание,
Блаженство и проклятие мое.
Давно когда-то в юности моей
О жизни я молиться начал жизни,
Когда между дождем я находился
И облака протянутой чертой,
Пока дождем пропитанные члены
Свое родство не ощутили с небом,
И черный камень неба не отверзся,
Последний раз водою прошумев,
И показался маленький, холодный
Прекрасный новый месяца цветок,
Который после гнева дождевого
Был одинок и робок. А теперь
Я, может, ночью снова помолюсь,
Опять все к той же жизни обращаясь,
Которая попользовалась мной,
Как человек конем лихим и крепким,
В нем силы истокая, — обращусь
К бродягам, что не знают слов счастливых.

Вы — странники, кто ищет дикий камень,
Вы — жизни пожиратели, от хлеба
Бегущие — вам мало дней счастливых!
Вы золото воздушное крадете,
Меняющие кожу существа,
Вы в полнолуние братьев необычных
Находите, — алхимики-бродяги,
Зовете в гости вы лесовичка,
Чтоб сливами кормить его в душе,
Пока брюшко его не станет сытым;
Видавшие — едва в пяти шагах
От бронзового тетерева стоя —
Как он в свой барабан из перьев бьет;
Неспавшие, прислушиваясь ночью,
Как гуси дикие кричат в полете,
Как ваше сердце ширится все больше
От этих звуков; вы, кому привычен
Свет бабочки ночной и свет совы,
Вы — пионеры раннего рассвета,
Искатели лесные, те, что редко

Находят, но до самой смерти ищут –
Люблю я дочку старшую мою,
И, с детства полюбив ее, не стал
Ее ручною делать, потому что
Меня когда-то делали ручным.

И если вы – друзья мои, тогда
Она – ваш друг.

Я для нее не стану
Просить раскаянья или отречения,
Иль безопасной тропки меж домишек,
Калиток старых, там, где смерть лежит
Сонливая, как пес на солнцепеке,
И медленно домой идут коровы
С вечерним звоном на покой усталый,
Который хорошо врачует боль.
Кто жизнь в себя впивать не устает –
Тот рано или поздно на звезде
Себя сожжет – так дочь лежит распята
На колесе бичующего света
Ворочаясь, и это колесо
Ни разу не пропустит поворота,
Какое б мы не принесли ему
Страданье – потому что колесо –
Владыка наш, наш камень, тело боли
И тело заостренного огня.
Оно – неугасимой жизни тело,
Оно – как раз то самое, вот то –
Его предосторожностью не купишь,
И вам его разносчик не продаст,
И богачи трусливые его
Не могут глупым сыновьям оставить.

Но посмотрите –
Она измучилась, устала. Жажда
Ее томит. Укутайте ее
Вы в сумерки. Растерзана она.
Ее лицо, похожее на маску
Холодную и с ручейками пота, –
Глубокой тишью лиственного леса
Укройте – смутной, и такой прохладной,
Что птицы все в ней спят – не потревожат
Они ее. Ей оботрите руки
Сияюще мягкой паутиной,
Которую апрель соткал из слез
Серебряных и светлых, и из шелка
Паучьего: она нежней платков
Той своенравной юной королевы,
Той копыеносной королевы фей.
Утешьте, успокойте – пусть услышит
Она не резкий звук, а бормотанье
То мирное – пчелы жужжанье сытой
Над медом в зеве красного цветка.

Все к ней теперь идите, если вы
Не только заблудившиеся тени!”

Но Мелора сама о себе слов таких не сказала,
Не умела она их сказать, да и слишком больно ей было.
Если даже и были вокруг нее души лесные, то их не видала она, —
Чьи-то руки видела только и лампу.

Боли теперь участились,
Словно кулак, чуть разжавшись, снова сжимался,
Словно красная лестница вверх поднималась
К тайному вихрю последней борьбы.
И казалось — боролась с самою землею Мелора
За дыхание свое и за что-то важнее дыхания.
И потока подземного рев услышала она,
И с землей извергалась вода, и рожаясь, они разрывали Мелору.
Желтая вдруг тишина наступила. И слабый плач прозвучал.

Ребенок был вымыт, и ей его показали.
Дышащий, хрупкий, помятый, спеленутый и возмущенный,
Со всеми ногтями, руками, что двигались сами собою.
Было то следствием странным того, что случилось,
Но как бы то ни было — вот он, ребенок, он здесь.
„На вид он здоровый”, — заметила мать ее. Голос ее был усталым.
Мелора всмотрелась. „Глаза у него голубые”, — сказала она наконец.
Мать шмыгнула носом — „У многих сперва голубые.”
Она на ребенка взглянула, как будто хотела сказать —
„Совсем ты не благопристойный. Откуда ты взялся?”
Но начал ребенок кричать. Она машинально качать его стала.
Дождь лить продолжал до утра, но никто его в доме не слушал.
Родители поговорили немного и скоро уснули,
И даже новый ребенок уснул, крепко сжав кулачки.
Мелора еще на мгновение услышала шум дождевой —
Затем погрузилась в глубокую дивную тишь, подумав: „Ну вот
и прошло.”

Мелора заснула, прикована накрепко к дикому камню.

Земля начинает колеса катить в направлении солнца.
Глубокие сохнут канавы, налитые жидкою грязью.

Армий ленивых тела,
На зимних квартирах проспавшие месяцы спячки медвежьей, приходят
в движение, им не сидится;
Им надоели порядком с дырявыми крышами хижины, дождь и муштра,
Хотя не забыли они, как туго им в прошлый раз приходилось, —
— Но мы их побьем в этот раз, теперь так плохо не будет,
Уж как-нибудь нас не убьют, и маршей не будет тяжелых.
„Казались нам милыми эти хибарки, когда мы тут лагерем стали, —
Теперь они выглядят мерзко, нам лучше отсюда убраться,
Мятежников бить, — или янки, — но разом со всем этим кончить.”
Вот это у них на уме в те месяцы скуки и зуда,
Когда просыхают дороги. „Нам это гнусное место осточертело,
Лучше отсюда убраться, куда — все равно!”

И все ж, уходя, начинают жалеть они эти лачуги:
„Мы в нашей устроились знатно. Зажгли настоящие лампы.
Мы знали девчонок на складе. Нам было здесь вовсе неплохо.
Какого же черта должны уходить мы отсюда, когда мы только
обжились?
Да что там, в поход можно тоже.”

Они отправляются в путь.
У них за спиною лачуги; сухие дороги открылись у них впереди ...

Драчливый Джо Хукер доволен, когда на солдат своих смотрит.
Несложный весьма человек с голубыми глазами, любитель фразы
красивой.

„На целой планете нет армии лучше.” — он говорит;
Как многие фразы — и эта против него обернется,
Когда он будет побит, — но пока он уверен в себе.
Высок, рыжеват, энергичен, сентиментален и едок;
Кавалерийские плечи его не согнулись еще
Под тяжестью мысли о том, что игральные кости в руках у него,
И его черед наступил их бросать ...
Под тяжестью власти, под тяжестью сверхлегендарного имени Ли —
Судьбе своей едет навстречу.

В других лагерях
Ли письмами занят; он рад, достав простоквашу,
С трудом достает провиант, одежду и обувь в своем интендантстве,
На Бога во всем уповает и нож на камне острит.

С дочкой своей новорожденной Джексон играет и ждет, чтоб весна
наступила.

Когда говорит он с женой или с дочерью — смех его редкий звучит.
На вид он здоровый. Ему всегда хорошо на войне.
Возможно, что самые это счастливые дни его жизни.
А жизни ему остается три месяца только.

У вздувшихся вод Миссисипи
Приземистый Грант по-кротовьи вгрызается в Виксбург.
Четырежды путь преграждали ему,
Но все же в конце концов он овладеет бобровою этой запрудой.
Нет вдохновенного блеска в упрямой его голове,
Нет гениальности в нем, которая руку его могла бы сделать нетвердой;
Но эта рука, этот мозг умеют использовать то, что они обрели
На долгом пути из Галены.

Шерман с ним здесь.
И Шерман привязан к нему, хоть его не совсем понимает;
Шерман порывист и резок, нетерпелив зачастую;
Он десятки тысяч вещей умудряется видеть,
Где медлительный глаз замечает только одну,
И все ж с восхищением младшего брата он наблюдает
За бесконечным упорством воли медлительной Гранта.

— Хорошая пара охотничьих псов получилась из Шермана с Грантом:
Вспыльчивый, нервный и страстный пес, что мчится по следу, —
И флегматичный, бесстрастный, хватающий мертвую хваткой,
Буролинялый, с корицею схожий по цвету, точно весною медведь.
Так их представьте: пес белый с коричневым псом

Рыскают взад и вперед по чаще лесной за хвостиком белым победы;
Или представьте, что это два брата — старший и младший.
Помните только одно: в свое время они знаменитыми были людьми —
И все ж у них не было зависти вовсе друг к другу.
Когда позолота со всадника слезет,
Который на Пятом стоит авеню¹⁵¹, и девушка с пальмой ослепнет,
И будет под небом зиять пустотою зев круглой огромной гробницы¹⁵²,
Наполненной воздухом летним; когда позабудут все это,
И книги, в которых писалось об этом, канут в забвенье,
И пылью, изъеденной молью, станут знамена —
Вы напишите об этом. Не часто бывает возможность писать о таком.
В этом величьи не меньше, чем в схожей с вокзалом гробнице.

Что происходит средь войск и начальников армий,
Вставших из зимних берлог, — то пестрит в заголовках газет.

Высокий Линкольн

Смотр производит несметным колоннам, скрипящим по новому снегу.
Колонны проходят без криков „ура”, на ходу салютуя;
С крестьянской посадкой Линкольн на коне восседает
И смотрит в глаза проходящим и тем, кто подходят за ними.
Его худощавое длинное тело одето в воскресный черный костюм.
Худое лицо его — словно предвестье: странен и грустен он, точно
предвидит беду.

Глаза их глядят на него — и он им ответно смотрит в глаза.
Они все идут и идут, наконец в лагерь возвращаясь свои.
„Так вот он какой, — обсуждают они, — Так вот он, Линкольн-старина.
Я рад, что мы увидали его. Он на вид неказист,
Но кажется, будто давно его знаешь. Грустное очень лицо у него.
Обычно, когда на кого-нибудь грустного смотришь, —
То чувствуешь глупо как-то себя. А с этим другое совсем.
Тебя заставляет он чувствовать ... что — не могу объяснить, —
но я рад, что мы увидали его.

И он был увидеть нас рад. А все-таки нет никакого сомненья,
Что эта война убивает его. По лицу у него это видно.
На лице человеческого я никогда не видал выраженья такого.
Видно, здорово тяжело ему. Ну, а все ж мы его повидали.”

В Ричмонде в этот же день толпы рассерженных женщин
Вышли на улицы, требуя хлеба иль мира.
Несколько лавок они разгромили: одни — потому, что им нужен был
хлеб,

Другие — чтоб просто пограбить; а большинство — потому,
Что недовольство и голод толкают их слепо другим подражать.
Войска были вызваны. Миг — и откроют стрельбу.
Но Дэвис, встав на телегу, смиряет толпу
Прежде, чем загроздят мостовую телами упавших.
Он никогда ничего своим голосом лучше не сделал,
И надо об этом сказать. Назавтра бунтуют опять,
Но пыл уж слегка поостыл, и их разгоняют.
Нескольких арестовали. Цены на хлеб все выше и выше.
Еще со своими корзинками ходят хозяйки на рынок,
Но фунт чая — одиннадцать долларов, кофе — четыре.
Чуть-чуть одного и щепотку другого приносят домой,

Беспечные старые дни изобилия припомнить пытаюсь, —
Те дни, когда фаршированных крабов по улице негр колченогий носил,
Со всякой всячиной свежей и вкусной стояли
Плетенки торговков, заваленные до отказа,
С большою зеленой охапкой петрушки на самом верху,
Которой вы раньше края украшали подноса,
Но есть ту петрушку никто и не думал.

Хозяйки стараются выдумать новые блюда:
„Пудинг осадный” ... „Конфедеративный паштет”;
Они мамалыгу кладут на английский фарфор королевский,
Смеются и плачут над чаем — заваркой из ивовой серой коры.

С плечами поникшими Дэвис вернулся домой с беспорядков.
Пыл его выступления остыл, и теперь как-то зябко ему.
Он наскоро скудную пищу глотает — и снова садится за стол,
Где кучи бумаг бесконечных — все эти дрязги и планы ...
Усталый диктатор, который нервирует тех, кем он управляет,
И ими издерган.

Он, может, с тоской вспоминает
О юности, о временах, когда рядом с женой он скакал
На лошадях необъезженных по миссисипским тропам.
Было то доброе время. Оно миновало. Он снова тонет в бумагах.
Вздывается занавес, приоткрывая охваченный дымом
Третий решающий акт, где занято много актеров,
Исход предрешивший войны — и все же на годы войну затянувший.

Забудьте вождей и начальников, -- отправьте их в книги обратно.
Пускай себе армии спят как медведи в берлоге.
Война — как железный экран перед ликом эпохи —
Красного цвета и черного цвета картины дымятся на нем.
Одни героичны, другие смертельны, но яркие и те, и другие.
А мы, посмотрев на картины, решаем, что знаем эпоху,
А знаем мы только экран.

Взгляните теперь на то, что за ним —
На необозримую и разноцветную ширь одеяла,
Сшитого из лоскутков этих штатов.

То ту, то другую
Местность тревожит червь битвы, но плуты
Идут по земле, и трубы фабрик дымят.
Новая эра бурлит и кипит в стальном раскаленном котле
И выливается в рельсы, в колеса и в пальцы стальные.
Как раскаленная добела роза — рождается сталь
В темной и дымной питтсбургской люльке.

Человек новорожденным глазом
Из хрусталя и металла пылливо следит за мазком
На тонкой пластинке стекла — и поражен тем, что видит.
Старуха в платке сидит на краю тротуара,
Вечерней газетой торгуя. Что значит война для нее?
Если газеты расходятся бойко — хорош этот день,
А не расходятся — плох. Война — это шрифт жирно-черный.
Все, что угодно — гораздо реальной войны.

У Омахи

От крытых холстиной фургонов овраги и доли белы:
Это тянутся люди на Запад в поисках новой свободной земли.
Всю войну напролет длится этот исход.

А в год последний войны
Близ Ларами¹⁵³ в месяц проходит пять тысяч упряжек —
Пионеры, и те, кто бегут от призыва, и переселенцы,
И эмигранты-южане, и ветераны, и загорелые дети ...
Колледжи кто-то построит, золото кто-то отыщет,
Кто-то себе наживет состояние поставкой говядины тухлой войскам,
Ну, а иные пахут все то ж каменистое поле, что и отцы их пахали.
(Все, что угодно — гораздо реальной войны) ...

Женщина, как мотылек небольшая,
В саду, обнесенном стеной, крохами вечности дышит —
С собакой своей, вереницей закатов, и со стихами,
Наброшенными на бумажных клочках. Эти стихи подобны
Льдыстым кристаллам или рубинам, которые светом дрожат прелом-

ленным,
Иль, как широкое поле, всю необъятную смерть заключают они
В десяти коротких строках. Суровому, сумрачному Хиггинсону,
который

Командует негритянским полком у болотистой дальней реки,
Она написала: „Война представляется мне обрывистым склоном.“
Один человек о машине мечтает¹⁵⁴, птице подобной,
Другой человек, с полком пыль в деревенском ларьке вытирая,
Центы старательно копит, пока из них не получатся даймы.
(Все, что угодно — гораздо реальной войны) .

Дюжина объединилась людей,
Чтобы железной дорогой всю перерезать равнину страны¹⁵⁵
И два океана связать свистящим железным конем.
Доктор усатый¹⁵⁶ упрямо пытается определить
Причины родильной горячки — и делая это,
Больше он жизнью спасает, чем их загубила вся эта война,
И никогда обитать он не будет в могиле, похожей на зданье вокзала.

Все это за плоским экраном во время войны происходит.

Я слышал песню дыханья
Над селами и городами.
Спящий дышит спокойно,
Устало дышит больной.
Сухой горловой кашель
В смертном поту человека,
И ровное наше дыханье —
Мы сами не слышим его.

Воздух бегун глотает.
Тужась, с глубоким вздохом
Ношу вздымает кто-то.
Старость с дыханьем седым.
Теряя силы, мужчины,
Чьи легкие стали свинцом
И пламенем — дышат часто,

Как псы, истомленные жаждой.
И задувает пламя
Своим дыханьем дитя.

Дыханье, что голосом стало,
И серебром и кларнетом,
Голосом милым друга,
Голосом жестким врага.
Большое дыханье аэтра
Таинственного над горами,
Что пойман в соснах, как птица,
Или заполнил твердь.

Я слышал песню дыханья –
Музыки пряжу большую
Между бездной и бездной,
Лишенную тела, как свет.
Дыхание спящих народов,
Курганов, где спят они.
Была эта песня, как слово,
Вовек не ставшее плотью,
Но бывшее жизнью самой.

Кто ты, сивилла без плоти,
Облачко на морозе,
Уст серебряных выдох,
Когда зима холодна?
Нельзя нам жить без дыханья,
Но мы, не думая, дышим,
И звука огромная пряжа
Без отдыха вечно вздыхает,
Не зная пространства иль меры,
Начала или конца.

Я слышал песню дыханья.
Меж резкими голосами
Она утерялась – я даже,
Как нитку в пряже огромной,
Как воздуха волоконец,
Голос мой потерял.
С ним в горле огромной смерти
Терялись материки.
Дрожа, вопрошал я тщетно –
Откуда, куда идешь ты?
Материки истают,
Как воск обнаженной свечки –
Жжет время ее фитиль!
Дыханье халдеев, где ты?
Иль древнего Крита дыханье?
С ненавистью сказал я,
Слыша могучий вал:
Новый Адам пусть встанет,
Пусть вдунут в лицо ему пламя,

Но воздух он в долг получит,
Чтоб чуточку подышать.
Сказав это, вдруг я стих.

Я слышал песню дыхания —
Залив, голосами полный,
Слившимися в один,
Медленный, но непрерывный —
Там жизнью дышал человек,
И вместе с ним жизнь дышала —
Змея, молодая лошадь,
И голубь, и лев, и жук,
И арфы торжественных сосен,
И трубы моря и вихря,
И необъятно большая
Крошечная трава —
Она под дыханьем гнется —
И говорит, говорит.
Я все это слышал, — слышал
Кишащую звуками реку.
Когда ж я очнулся к жизни —
В ушах моих оцепенело
Мой голос звучал, и странно
Мне было, что я дышу.

Софи — с вечно испуганным видом служанка в гостинице Поллет —
Перевернула набитый маисовым стеблем матрац и взбила подушку
Вялым движеньем.

Потом она в руки подушку взяла
И жадно принюхалась к ней.

Чем-то так сладко пахла подушка.
Золотистая леди тут прошлой ночью спала.
Ах, что за чудные, чудные платья у ней! И зеленый флакончик какой,
Как цветами он пах! Стоит в комнату тихо прокрасться
И к серебряной пробочке чуть прикоснуться —
Чтоб аромат услышать, но не вынуть настолько,
Чтобы поймали тебя, если в комнату кто-то войдет.

Ее локти худые заныли при мысли о том,
До чего золотой и красивой была эта леди,
Как пахла прекрасно она, на мужчин как томно смотрела!
Как смотрели они на нее!

„Я хотела бы сладко так пахнуть,
Пахнуть, как леди”, — Софи мечтала.

Софи подушку
Жесткую положила на место. Зеленый флакончик и леди уже укатали.
Если ловко взяться за это (после следующего постояльца) —
Можно стянуть зеленый флакончик — (комната снова затхлым
пропахнет)

И спрятать под платьем его (как она пахнет всегда —
Затхлой сигарой и телом усталым) — иль даже сказать,

Когда на чай собираются дать: „Не давайте на чай мне, а дайте ...”
(Мужчинами пахнет невымытыми, с шестинедельной щетиной,
Которые вечно стремятся облапить тебя ...) — „вот этот зеленый
флакончик,

Мне так его хочется!” Но ни за что не отдаст его леди.

Леди Люси зовут. Люси очень хорошее имя.

Оно пахнет цветами. Софи — просто имя, и все.

Взяв метлу, она стала неряшливо пол подметать.

В голове ее смутные мысли роились.

Леди по имени Люси

Иногда приезжают зимой, и тогда все мужчины побриты,

И тогда можно дверь приоткрыть и видеть, как пары танцуют.

Но когда приближается фронт — разъезжаются леди и дома сидят.

И разумно они поступают. Война — не дамское дело.

Для нее же война — нескончаемый ряд запыленных сапог,

Наполнение кувшинов и выливание помоев,

И постилка матрацев из стеблей маиса небритым мужчинам.

Приезжают они утомленные, но не настолько,

Чтобы взглядом тебя не затронуть иль руки в ход не пустить.

Если ты уклонилась — они недовольны, а согласилась — пустяк

да и только,

И все-таки лезут всегда, — и, случается, грубо, а временами и спяна —

Кой-кто попадает славный. Ничего, впрочем, это не значит.

Просто трудно таскать тяжелые ведра,

Когда рано встаешь и совсем недостаточно ешь.

Но теперь начинают отсюда войска уходить, —

Будет меньше кроватей, мужчин и помоев,

А это совсем не пустяк.

Вздыхнув, она тыкать метлой продолжала.

Невзрачный, с крысиными острыми глазками Шиппи

За талию взял ее, сзади к ней подоядя.

Она разрешила себя повернуть, и он ее обнял,

Пытаясь смотреть на нее и смотреть себе за спину одновременно,

Но это не получалось.

Она ощущала дрожь его хилого тела,

Но это ее не особенно трогало.

Он что-то ей прошептал,

Но она головой покачала с видом испуганной куклы,

И он ее отпустил.

„Все равно уходить мне пора”, — он сказал.

Голос его был угрюм. „Я и так опоздал,

Только я думал, что , может ...” — но не окончил он фразы.

„Что тебе привезти, когда вновь я приеду сюда?”

У нее оживилось лицо. „Привези мне флакончик, Чарли,

Такой, как у леди той был : — из Ричмонда это духи.

Флакон был с большою серебряной пробкой.”

„Не знаю. — сказал он,

И губы наморщил, — Попробую. Мне бы хотелось достать.

Будь примерною девочкой, Софи. Ты любишь меня?"

Ее голос усталый

Отозвался — „Ага ...” Она думала о кувшинах.

„Ну, пора ... ты хорошая девочка, Софи .” Он вновь ее обнял.

„Я уже опоздал ”, — бормотал он. Она на него посмотрела —

И стало ей стыдно. Как она — он тщедушный такой же.

Право, следует им подобрей относиться друг к другу.

Хоть не очень он нравится ей, но она его вроде как любит.

„Будь хорошею девочкой, — он бормотал, — пока Чарли в отъезде, — Торопливо целуя ее, — Я тебе привезу те духи.”

„Их название — Французские лилии, — Софи сказала. — О, Чарли!"

На мгновенье, как скорбные тени, прильнули друг к другу они.

Он немного всплакнул, его слезы текли на ее подбородок.

А когда он ушел, то, не зная сама почему, она тоже всплакнула,

Но припомнив с серебряной пробкой духи — ободрилась

И отправилась очередную постель прибирать.

Рубаху Лука Брекинридж отмывал в грязноватом пруду,
И кислые мысли его донимали.

Только вчера

Он видел — упряжка, скрипя, подъезжала к гостинице Поллет,

И этот с крысиными глазками чертов торгош

Настегивал мулов своих! Подумаешь, тоже — великая шишка!

Лука уже вообразил, ...

Что призрачный Шиппи стоит перед ним, и что с яростью лупит он

Шиппи,

Колотя рубаху о камень.

„Случись это дома —

Я просто засел бы в кустах и ухлопал его.

Ишь, едет к девчонке моей на своих задрипанных мулах,

Торгашеской лестью своей девчонку отбить мою хочет!"

Но здесь на войне только в янки стрелять позволяют,

А если стреляешь в других — поймают тебя и пристрелят,

Как будто уж ты не солдат, а шпион иль паршивец какой-то —

У них это все бестолково. „Его б отучил я

За девочкой бегать моей — попадись он мне дома в горах.

В прошлый раз я при встрече ей так и сказал напрямик —

Будь хорошею девочкой, Соф, и я тебе платье куплю,

Мы хижину можем славно поправить, а если пойдут у нас дети —

Мы и поженимся. Разве честнее что этого скажешь?

Она неплохая девчонка, но нрав у бабья переменчив,

А тут этот чертов торгош с барахлом своим ричмондским встрял,

А мы отходим как раз, чтобы янки нахлопать,

И я не успею уже повидать ее и разузнать,

Ладно ли все было с ней. Тут обратным путем он проедет

На мулах своих, — подстеречь его — плевое дело,

Да как пить дать поймают меня.”

И рот его мрачно скривился,

А медленный мозг вырабатывал план — как разом сомнения все разрешить.

Наконец уронил он свой камень с радостным воплем.

„Эй, Билли, — он крикнул соседу, — рубашка просохла твоя?
Ну так одолжи мне на время рубаху, — моя еще выжата только:
Я должен идти к капитану.”

Но Билли не был покладист.

„Немало дружков у меня есть в рубахе, — сказал он с растяжкой, —
Я вовсе не жажду гостей получить из твоей.

Я скромнен и скромны мои ползуны, и они неохотно
С чужими вступают в общение. Они у меня из Пьемонта.
И все-таки это — рубаха: в ней больше рубахи, чем дыр.
Твоя ж — не рубаха, а бублик!”

Они побранились немного,

Но все же Лука наконец ушел с драгоценной рубахой,
Дорогой нехитрый отрывок из горного джига свистя.
„Попомнишь меня ты, торгош”, — он думал, ища капитана.

Шиппи в ветхой тележке ехал в вечерней пыли.

Не по себе ему было, тревожно как-то и жутко.

Надо бы ехать другою дорогой ему, вдоль ручья,
Но он и так чересчур задержался в гостинице Поллет,
Пока он разыскивал Софи, а видел ее на минутку всего лишь.
Теперь ей флакончик духов захотелось.

Душа у него

Дрожала от страха, как тощий пес на морозе,
Злясь понапрасну на страшную вещь, что мы жизнью зовем.
— Ведь должен быть где-нибудь угол, в который можно забиться и
мягко свернуться в тепле —

Но Шиппи такого угла никогда отыскать не умел.
В школе большие мальчишки завтрак крали у Шиппи
И тыкали в грязь его носом; потом он подросток,
Но все оставалось по-прежнему.

Было что-то в лице у него,

Говорившее: „Что ж, измывайтесь — в ответ я кусаться не буду.”
Он сам на лице у себя никогда не заметил такого,
Но, видимо, было у Шиппи такое в лице.
Всегда, приезжая на новое место, он думал: „На этот-то раз
Они не дознаются.” Но дознавались они
Со временем.

Так получилось, когда он был в лавке,

Так было и в армии, так и теперь, когда стал он шпионом.
И вот он в мечтаньях своих создавал сверх-Шиппи, героя,
Что распоряжался людьми и женщин блестящих любил,
Выпячивал грудь, умирая под знаменем окровавленным,
Затем оживал, чтоб принять благодарность наряженных в блеск
генералов.

Шиппи, сседающий в школе завтрак мальчишек больших —
Это был идол его! Он сейчас представлял себе этого Шиппи,
Бесстрашного Шиппи с бумагой, зашитой в сапог:
Ловко несет он пакет роковой сквозь мятежников части
К какому-то светлomu месту, где ...

Мул пристяжной, споткнувшись, заржал,

И Шиппи ругнул его ноющим тоном, и дернул за вожжи,
И дернулось что-то в сердце у Шиппи. Сверх-Шиппи исчез.
Один он, и страшно ему на поздней дороге.
О Боже мой, как ему страшно шпионом служить,
И как он боится той женщины в Ричмонде, той с неподвижным лицом!
Как он напуган войною и жизнью! И это ведь правда,
Что кое-какие бумаги лежат у него в сапоге.
Заглянут в бумаги они, а он перед ними стоять будет, мокрый от пота,
И, скомкав бумагу, они начнут недовольно его распекать:
„Не мог ты даже узнать, где солдаты находятся Хета?
Ты карт рисовать не умеешь? О Джексоне — Каменном вале —
ты вообще
не знаешь?

Скажи, почему ты не знаешь об этом? А что это за переправа — налево
от церкви?

Скажи, для чего ты болтаешься там, черт возьми!
В другой раз получше придется тебе поработать. Смотри у меня!
Тебя мы пошлем по седьмому маршруту. Имели мы там человека,
Но нам донесли, что убит он.”

И Шиппи в душе содрогнулся,
Воображая веревку и с ветки свисавшую тяжесть,
И женщину ту с неподвижным лицом, — как она отошлет донесенье
В сапоге у кого-то другого. И Шиппи представил, как некто
Замороженным голосом сладким скажет другому
Невзрачному и перепуганному человечку:
„В другой раз попробуй пойти по маршруту седьмому. Имели мы там
человека,
Но нам донесли, что убит он.”

О, где-то ведь есть же нора,
Там, глубоко под землею, где прячутся зайцы, —
Но мне никогда не найти.

Они повешали лозунгов всюду и знамя воткнули,
И это войной называлось, и шел ты, до смерти напуган
Криками, ревом, людьми, что тебя норовили убить ...
Наконец показалось тебе, что все, что угодно — лучше, чем это,
И вот погоняешь ты мулов, и защиты бумаги в твоём сапоге,
И все же убить тебя люди хотят, и выхода нет никакого.
А дезертируешь — женщина та с неподвижным лицом разужнает —
И самое страшное ждет. А если на фронт попроситься —
Тебя ожидает Булл-Ран, и крики, и вся эта кровь,
От которой тошнило тебя. Даже в школе
Не удавалось от драки отделаться. Выхода нет.

Софи — милашка, хорошая девочка Софи.
Софи и есть та земля, то тепло, куда прячутся зайцы
От всевозможнейших бед, чтоб сердца могли биться спокойней.
Но с Софи не мог он остаться, не мог он остаться.
А ведь сказала она, что девочкой будет хорошей.

Но он против воли
Представил большого мальчишку, который коробку картонную
с завтраком вкусным
Жадными пальцами рвет на голом школьном дворе,

Где хныкает Шиппи.

„О, Софи, тебе я достану духи.

Клянусь, я достану! О Боже, дай только пробраться –
Один только раз – и я буду молиться, о Боже, я буду хорошим –
О сделай, чтоб эти бумаги пришлись им по вкусу!”

Он мулов своих понукал.

Еще одна миля – и выедет он на большую дорогу,
И временно там в безопасности будет.

Он приободрился

И начал из праха сверх-Шиппи опять создавать.

Повозку шатало, и в такт с ней он носом клевал...

С полдюжины всадников, съехав с полянки лесной,

Как будто случайно ему преградили дорогу.

Он мулов своих осадил, озираясь. Но тут он знакомое сразу увидел
лицо

Со странным на нем выраженьем злорадства – он вспомнил:

Софи ведро наполняла – а этот вот дюжий детина

Стоял, привалившись к насосу, с голодным блеском в глазах.

Все так поспешно стряслось, что он не успел испугаться.

Такие заставы бывали; наверное, новый патруль.

„Меня же ребята все знают, – сказал он. – Да, пропуск со мной.”

Пропуск они отобрали, но не возвратили обратно.

Казалось – колеблется воздух, пронизанный пылью,

Как будто струна натянулась. Как в горле его пересохло!

Сейчас вот он дальше поедет. „Так как же, ребята, – сказал он, –
Дружочки?”

Они на него не смотрели и не отвечали.

„Я вам говорю – это тот”, – настаивал горец.

Сержант посмотрел нерешительно на остальных.

По виду он был джентельменом – юноша славный, наверно, –

Черные усики на загорелом и тонком лице.

Этот не сделает дурно. Все хорошо обойдется.

Всадник другой подравнивал ногти ножом.

Он, видимо, тоже был славный – с лицом беззаботным, веселым,

Он водку с тобой разопьет и с девочками посмеется,

Тебе он не сделает больно, не станет выкручивать руки.

За исключением горца – все славные были ребята.

Обыскивать стали его, но делали это не грубо.

Он с ними болтать продолжал:

„Ребята, ну право, ребята,

Все это – большая ошибка, ребята все знают меня,

Все знают развозчика Чарли” –

Вид у сержанта

Стал почему-то такой, как будто его затошнило.

Ладно, смотрите – вовек все равно не найдете – Софи – флакончик

духов –

Голос отвратный сказал: „Стащите с него сапоги.”

Тогда он испуганной крысой стал отбиваться, кусаясь и плача,

Но те повалили его и в минуту бумаги нашли.
Лука Брекинридж с удивлением на это смотрел.
„Ах черт, — думал он, — а паршивец — шпион в самом деле!
Я так и сказал им, ей-ей, но я этого вправду не думал.
Я только хотел отпугнуть эту шавку, чтоб он перестал
За девочкой бегать моей, и назад позабыл бы дорогу —
Ах черт поberi, меня сделать капралом должны!”
Он был очень доволен собой.

Клей Вингейт посмотрел
На катающегося в ногах у него человека.
„Встань!” — он голосом жестким сказал, ощущая прилив тошноты.
Но пришлось существо это силой волочь по земле,
Да и тут продолжало оно бормотать.

Горло все пересохло у Шиппи.
Ну, да все обойдется — все хорошо обойдется —
Он ведь жив — он ведь Шиппи — он девочку знает одну —
Он решил подарить ей флакон первоклассных духов.
Это все прекратиться не может. Он еще не готов умереть.
С ними он подружиться готов, он готов обратить это в шутку,
Пусть возьмут и повозку, и мулов, и сделают больно-пребольно,
Но только б не это — других, разумеется, принято вешать шпионов —
Но только не Шиппи — не тело, которое знает он так хорошо,
В котором живая пульсирует кровь, согревая его.
Ведь он-то всамделишный! Куртка на нем и штаны.
Он может так сделать, что все это сразу исчезнет, —
Глаза только стоит зажмурить. Сейчас они пустят его —
Ведь славные это ребята, и зло обращаться не станут они с человеком.
Не станут же вешать его.

Но вешать его они стали.

Платья свои по кровати раскинула Люси
И размышляла, какое надеть ей на бал предстоящий.
Синее выпцело, в розовом платье парчовом не выйдешь, — порвалось,
В шелковом платье с цветами она много раз выходила,
Абрикосовое не подходит к ее волосам ... —
Но ведь кому-нибудь нужно на званых блистать вечерах ...
Как это трудно. Конечно, есть контрабандисты,
Да не у многих из них теперь место для платьев найдется,
Да и к тому ж они цены заламывать любят.

Понятное дело — война,
И только подумать о милых и храбрых мальчиках наших ...
Однако, когда приезжают они со сражений,
Им нравится, чтобы у девушек свежий был вид.

Когда навещаешь
Их в лагере зимнем, то это не так уже важно,
Для этого старая тряпка любая сойдет, —
Но в Ричмонде, здесь ...

Она позабылась в приятных мечтаньях,
Мысленно резать, кроить и стегать продолжая.

В Чанселлорсвиле был бой, и Хукер разбит,

Но ни один не убит из хороших знакомых,
Только брата второго Джо Фрира убили, и жалко, конечно,
Что потерял генерал наш — блистательный Джексон —
Руку в сражении. Он странный, но набожный очень.
И с минуту она напевала: „Вот он каков —
Джексон — каменная стена” — голоском своим чистым, холодным.
Право, лучше б на курсы сестер милосердия мне поступить.
Ей послышался голос, сказавший: „Да, плохо совсем генералу,
Но уж если спасти его кто-нибудь может, так это вот та
Обаятельная молодая сестра — с этой целью она
Прибыла специально из Ричмонда ...”

Голос замолк.

Тут подумала Люси о месяце прошлом, о мальчиках, о Черноконном
отряде,

Ей припомнился номер унылый в гостинице Поллет;
Так испуганно-круглы глаза у неряшливой горничной были.
Люси даже довольна была, что сейчас они где-то дерутся.
Юджи так ревновал, и такой был неистовый Клей, —
Было трудно с обоими ими ей быть обрученной.
И к тому ж еще Джим Меррихью продолжал ей писать,
Да и тот алабамский майор очень мил.

Она звон услышала:

То был свадебный звон — но кто ж рядом с нею стоящий?
Слишком многие лица составили это лицо.
Ну, а все-таки девушка замуж должна выходить.

Можешь ты танцевать,

И на солнце играть, на балах носить яркие платья, —
Только рано иль поздно, но руки — совсем на твои не похожие руки —
Неотступные грубые руки поймут тебя, мотылька,
И со странною страстью принудят тебя ... Что ж такое та страсть,
та обида,

Что приходится женщинам ради нарядов сносить?

Не волнует меня эта страсть, и не трогает вовсе, — ее я не стану
терпеть,

Для того есть достаточно женщин. И если есть сладость во мне —
То она мне дана не затем. Это сладость моя, для меня лишь.
Эту сладость с другими делить я не стану. Я буду на солнце порхать.
Но все-таки девушка замуж должна выходить, — о чем это думаю я?

Она сбросила свой кринолин, чтобы розовым платьем заняться,
Но о нем позабыла на миг, пока с обожанием, стоя, глядела
На светлую девушку-призрак в длинном и темном трюмо.
„Ах, какая ты душка, — подумала Люси, — какая ты душка!
Ах, как ты хороша! И одна я лишь знаю об этом,
И не знает никто!”

И к своим она маленьким белым плечам припадала
губами,

К этой мягкой и гладкой и сладкой, как мед, непорочной еще белизне,
И глаза у нее становились туманными. Она у трюмо покачнулась.
„Я люблю тебя, душка, — она прошептала, — Люблю тебя, душка!
Никто так не любит тебя, моя прелесть, как я,
Никто, кроме Люси, не знает, какая ты душка.
Ты замуж не смей выходить, ты меня не бросай!”

А с ними со всеми мы будем прелестны и милы, не правда ли, душка?
Всегда поклонники будут для танцев у нас, и музыка, чтоб танцевать, —
Но, милочка, только меня не бросай! Не несусь я разлуки.
И пусть никакие мужчины тебя у меня не отнимут.”

В зарослях Вилдернеса, в чаще самой густой
Джексон, прозванный Каменным валом, лежит, умирая, четыре долгие
дня.

Ему отняли руку, медицинское все искусство пущено в ход,
Но его никакое искусство не может спасти.

Когда он был ранен
Из рядов его собственных градом рванувшихся пуль¹⁵⁷
Темной ночью — слепая случайность, — то тайно вынесли с поля его,
Чтоб об этом не знали солдаты, — но солдаты узнали об этом:
Собаки всегда недоброе чуют в дому,
Говорить им об этом не надо.

В тот первый мучительный день
Он маршем провел через фронт неприятельских войск
Солдат, чтобы камнем внезапным ударить по сонному правому флангу
И смять его — это был Джексона старый военный прием;
С Ли они это умели проделывать гладко — одним кулаком, сообща.
Только теперь они это в последний проделали раз.

Когда синих шинелей ряды —
Когда Хауорда люди, попавши врасплох, увидали этот стремительный
натиск,

О котором уже возвестили вспугнутых зайцев и ланей скачки,
И когда из шумящего леса на них враги налетели, крича, —
Не могли они натиск снести. Кое-кто тут на месте погиб.
Над другими та буря промчалась. То Джексона буря была.
То был старый прием боевой, им в последний раз примененный.
Он, должно быть, почувствовал это. Как с цепи спустил он солдат и
погнал;

Их протяжные крики взметались, как крики индейцев
Меж черных ветвистых дубов, сквозь глушь сосняка молодого.
Он слышал те крики и видел, как красные флаги сквозь заросли
рвались вперед ...

Особого не придавал он значенья этому часу,
Собой оставаясь самим: он все это увидел — и все хорошо это было.
Но уже близилась ночь, а центр северян все держался.
Еще натиск — и центр он сметет. Джексон вперед устремился
Сквозь сумерки, маленького погоняя Гнедого, как будто скакун
Был весь из железа, и сам он был весь из железа,
Как будто не люди — солдаты его, а железо, — стебли железной метлы,
Которые начисто пол подметают, — но и тогда оставаясь
Тем же опытным, хитрым, каким он и был, полководцем,
Искусно безжалостную намечавшим игру!
В то время, как ночь опускалась. Ночь слишком рано спустилась.
Трудно в ночи такие — где друг и где враг — разобрать.
Так и случилось, что слишком он далеко заскакал,
А когда повернулся к своим, не будучи узнан, —
Ночью во тьме непроглядной попал под обстрел

Своих же солдат. В такие вылазки ездил
Довольно он часто, и шел при этом на риск.
На этот раз гибелью риск обернулся.

Лежал он на койке

Молча и мрачно после того, как отняли руку,
И смерти назойливой грозно отказывал взглядом.
Слугой была смерть, смерть угрюмой собакой была,
У Господа Бога в ногах притаясь, пока выберет время Господь.
Но надо ему еще кончить дела, а смерть может это испортить.
Все-таки будет он жить, той служанке на зло.

Временами

К старой своей справедливости он обращался;
Она никому — ни ему, ни врагу его — не отказала ни разу
В том непреложно суровом, чего они были достойны согласно его
убеждениям.

О себе и атаке своей он сказал: „Удачный маневр,
Самый удачный, пожалуй, из всех, когда-либо сделанных мной.”
— Он слышал протяжный тот вопль, колыхавшийся криком индейцев
в чаще ветвистой,

Он видел, как рвались в атаку знамена южан.

А после — от Ли ему дали письмо, что дышало величием.

С изяществом, свойственным Ли, было сказано: „Вы потеряли
всего лишь

Вашу левую руку — я правую руку мою потерял.”

Рот суровый открылся:

„Лучше пусть Джексонov десять убьют, чем Ли одного”, —
Рот произнес — и закрылся опять, а сердце работу свою продолжало,
От смерти ненужной и глупой с трудом отбиваясь.

Медленно время текло. И сказать ему были должны наконец,
Что умрет он. Врачи, без сомнения, храбрыми были людьми,
Но — постояли, и на человека в кровати они поглядели —
И попросили жену это сделать. Жена ему это сказала.
Он не поверил сперва. Потом какое-то время он молча лежал.
Огромное, медленное перемещение небес
В умиравшем мозгу совершалось. Наконец он стал говорить.
„Ну, хорошо,” — он сказал.

И Библию взявши, жена ему стала читать.

А была за окошком весна, и воздух был тепел.

Дом дощатый, сколоченный грубо, был полон весной до отказа.

Они прожили вместе хорошую жизнь — эти среднего возраста двое
спокойных людей,

Из которых один теперь громко Писанье читал, а другой молча слушал.

Они оба тяжелую школу прошли. Влюблены они были друг в друга

Уже долгие годы. Теперь эта сказка досказана вся.

Когда-то бедны они были и чудаковаты. Поняли, что они могут поверить
друг другу.

Молились они, зачинали детей, не любили разлук,

Свои были шутки у них, они разбирались в погоде и многом другом,

И строили планы на старость. Теперь знаменитыми были. И он умирал.

Часы проходили, и начался бред.

Те, кто там были — пытались слова разобрать.

Охватывал трепет одних, сердца у других разрывались от скорби;
но кое-кто, верно,
Не то, чтобы рад был присутствовать — однако же в мере какой-то
Был рад оказаться при этом, уж если это случилось:
По-человечески это понятно.

Сперва умиравший
Битвами бредил своими, как бредят солдаты:
Он новое вел наступленье по местности пересеченной,
Со старым умением своим и своим нетерпением,
Но шло наступление смутно, — не так, как хотелось ему,
Хотя представлялось в уме все доподлинно ясно. Сегодня так медлят
они.

„Пускай А. П. Хилл подтолкнет их — скорее в атаку,
Орудия ставьте!”

Туманный рассеялся натиск.
Не было больше пальбы. Очищена местность была.

Так он видел все это, и молча лежал, и слушали те, кто был рядом.
Помнится, он умирал — но это было лишь сном.
Вся местность теперь была четко видна.
Забывье он стряхнул, и голос его изменился.
„Переправимся мы через реку, — сказал он, — и там отдохнем под
сенью деревьев.”

КНИГА СЕДЬМАЯ

Так вот шли они на Геттисбург, на его рыболовный крючок.
Шли по жарким дорогам, несметной цветочной пылью дыша,
вдоль высокой пшеницы.
Тут персики зрели в садах, земля тут была плодородной,
Много свежих ручьев, и красных амбаров, и бурых коров, и у каждой —
тяжелов вымя.

У фермера тут одного через горницу прямо чистый ручей протекал,
Студили в ручье молоко и масло в широких глиняных жбанах;
Запыленный, из Джорджии родом солдат к ним зашел, чтоб поесть и
отправиться в битву.
Из жбана ему молока зачерпнули, и сладко и холодно стало во рту
у него.

Он музыку ясного слушал ручья, пока немка-хозяйка ему молоко
подавала,
И он вспоминал Шенандоа с потоком, бегущим со скал;
Поел, и попил, и пошел навстречу давящим посевам колесам орудий,
Но этот дом и ручей он запомнил не меньше, чем пушки.

Это край крупнозадых коней, домов, возведенных из камня, и длинных

зеленых лугов.

Со своею упряжкой волов пришел сюда Гетти¹⁵⁸, чтоб город добротный
на этой земле основать.

И крошечные поезда моих детских годов пыхтели торжественно вверх по
этой долине,

Минуя базарные площади, липы и квакерский дом для молений.

Пенн¹⁵⁹ стоял под дубом своим, а рядом стоял раскрашенный вождь
краснокожих,

Продавали торговки лепешки на сале в ту пору, как первые красные клены
меняли свой цвет;

Когда из скорлупок скользили каштаны – кучу каштанов набрать вы
могли,
Красно-коричневых, цвета начищенных старых сапог, и приятных на ощупь.

На обоях в лавчонке с мороженым – сцены романа „Поль и Виргиния”,
Свиньи жирны круглый год, и в сливках вы можете ложку поставить
торчком.

– Пенн стоял под дубом своим с украшенной перьями трубкою в пальцах;
Богу покорен он был, но смекалист, и сделки умел заключать.

Все это я помню таким, и мне помнятся легкие звуки паденья каштанов
На годами исхоженный, на розоватый, уложенный елочкой старый кирпич
мостовых.

Огромный желтые копны пшеницы, и целое лето дорога в белой пыли,
И осень: скорлупки зеленые грецких орехов – от них на руках остаются
следы.

Такой я запомнил тебя, спелую землю широкозадых коней,
Долину студеных и сладких ручьев, маслоделен с полом беленым;
И такую в тот год ты предстала пред ними, когда их орудья твоих
напугали коров,

И с неведомых южных земель на тебя худошавые шли пехотинцы, ныряя
в высоких хлебах.

С тех пор, как в лесу умер Джексон, два месяца уж миновало,
И в штатную ратушу в Ричмонд перевезли его прах,
Чтоб там он лежал, весь завален цветами, в то время,
Как плакали колокола. Два месяца всяких уловок и ожиданья.
И вот наконец¹⁶⁰

Юг снова на Север вторым наступленьем идет,
Бросая последнюю ставку.

Она обоюдоостра – это риск,
Но гаснет звезда, а риск этот может ей блеск возвратить;
Сейчас на широком пространстве, на западном поле игры
Фигуры крепче – те, что сражались за Юг – или прочь сметены,
Иль затерялись в Виксбурге опустошенном.

Ночью прохладной весенней
Портера бьют броненосцы по береговым батареям,
И бархат ночной прорезают горячие вспышки.

Сходят солдаты Гранта на берег.

Грант оттесняет резервное войско Джонстона
И наконец, перед городом став опустевшим,
Ждет угрожающе, точно огромный бурый медведь, присевший на задние лапы.

Пушки его начинают клевать колоннады веранд
И испещренные солнцем сонливые улицы. Он начинает осаду¹⁶¹.
Сорок восемь суток орудия бьют и длится осада,
Точно рука, не спеша, сжимает голодное горло.
Голод растет и растет.

Городов оставляемых голод,
Голод осад, голод погибших надежд.
Дни за днями идут, а осколки снарядов все ноют и хнычут,
Пока не становится город огромной кротовьей норой, полной ям
и пещер,
Где исхудавшие женщины прячут детей, где мужчины, устав,
Зарываются в землю от смерти, из воздуха мчащей –
Из такого обычного неба, которое стало враждебным – и все еще нет ни
малейшей надежды,
Никакого просвета на небе, когда приближается утро.
Один только бурый медведь, на задние лапы присев, там упорно,
как Время само, выжидает,
Что свалится дерево с ульем медовым.

Эти известия ползут к соглядатаям заокеанским¹⁶².
Те нерешительно и отчужденно вникают в известия.
И видят они, что весы не в пользу склоняются Юга.
Без крепких ударов опять не достичь равновесия.
Еще один раз заколеблются эти весы,
Когда броненосцами Лэрд¹⁶³ почти что изменит картину.
Но это не скоро еще.

Соглядатаи смотрят на доску,
Знаменья ждут повернее, чем в Чанселлорсвиле сражение,
Или любая победа на Юге южан.

Ли видит, куда наклонились весы, и готовит бросок,
Чтоб знаменье это добыть, и готовит последний удар
По обшитому сталью щиту северян. Уже он пытался однажды
Врезаться клином на Север, но был остановлен. Был тогда шанс
победить.
Есть и теперь этот шанс. Этот риск, точно камень прикинув в руке,
Ли размышляет над ним.

Со времен Харперс-Ферри четыре года прошло,
И первый бой при Манассасе был два года назад, – и в этом последнем
году

Удачны удар за ударом – и все же не видно конца.

Ли – это тот человек с узловатой дубиной в руке,
Который быков на луту отгоняет от брешей в заборе.
Пока удавалось их каждый натиск отбить:
Бернсайда – Мак-Клелана – Хукера в Чанселлорсвилле –
Попа в Манассасской битве второй и Бенкса в Долине;
Но луг его вытопан – новый луг армии нужен.
Армия движется, как саранча, поедая зерно,

И нынешний съеден почти что весь урожай. Он не может заделать
Дыры в заборе своим, когда нечем кормить батраков.
И если станет он ждать, пока года еще одного колесо повернется, —
Быки возвратятся, отъевшись, рогами тряся, заточив их еще поострее,
А он им навстречу выйдет с желудком пустым
И с переломленной голодом палочкою неволшебной.
Возможность есть только одна:
Со всею оставшейся силой хватить по щиту,
В надежде разбить на куски его твердым единым ударом,
И двинуть на Север войну, где война не коснулась полей,
Где сможет оборванный люд свой насытить зерном из амбаров быков,
Где добудут они и одежду, и обувь, и, если удастся — возьмут
Вашингтон,
Но уж как бы там ни было — а боевую инициативу захватят.

И он взвешивал риск, и, я думаю, взвесил его хорошо,
И подъем он почувствовал в сердце своем и в солдатских сердцах.
Ведь солдаты его — это старые все ветераны,
Они полностью битвы не проиграли ни разу,
И всего только раз на пути остановлены были.
Ли четыре северных армии за год отбросил,
Трех военачальников синих лишил он поста¹⁶⁴,
И даже теперь одержали южане победу.
Он камнем в судьбу запустил —
И камень ударил со звоном. Ли на карту поставил судьбу.

А в Вашингтоне слухи дошли до Линкольна.
Двинулась армия Юга на Север.

От этого слуха дрожат
Города Пенсильвании — южане с цепи сорвались, они на Север идут.
Сзывайте вашу милицию с дробовиками, закапывайте серебро,
Ружье на плечо — или прочь убегайте из штата —
Они надвигаются, с цепи сорвались они.

Задира Джо Хукер, прослышав об этом,
Армию из-за Потомака быстро назад перебросил,
Срочно планы наметив, в то время, как Ли еще думал, что Хукер на Юге.
О Хукере сведения должен был он получить от конной разведки Стюарта,
Но далеко на восток пустился Стюарт в последний набег неудачный¹⁶⁵,
И серое полчище движется, глаз не имея,
В этот решающий час.

Южане уже в Камберленде,
Берут города небольшие и сытно покамест едят,
Коней отбирая и обувь, и в лавках вялым голландцам
Конфедерации деньги бумажные тычут, при виде которых
Тяжко голландцы вздыхают.

Южане с цепи сорвались,
Южане на Севере, там южане и тут;
Хэллек трет локти, гадая — где же они?
Линкольн не спит по ночам. В министерстве военном
Ночью и днем щелкают телеграфисты.
Слухов и выдумок тьма.

От Филадельфии в миле всего лишь они –
Йорк они жгут – они наступают на Балтимор – ...

А Ли проезжает тем временем в сердце самом Камберленда.
Огромный жаркий закат на солдат марширующих краски бросает,
И на коня, и на саблю, и на лицо бородатое Ли –
Но лица его мощный покой не меняют краски заката.
А далеко, далеко Джо Хукер по телеграфу
Вызывает на соединенье с собой гарнизон,
Оставшийся у Харперс-Ферри. Но потирающий локти
Хэллек – послать гарнизон отказался. Хукер в отставку уходит и
исчезает с Востока,

Чтобы, на Запад отправясь, ожесточенно драться в горах,
Следуя вплоть до Атланты за Шермана рейдом,
И во второй раз резко в отставку подать после того, как Хоуард в чине
его обогнал –

Перед самым концом, перед славой и Смотров Великим,
Чтоб умереть на постели в конце концов медленной смертью, когда в нем
огонь уж погас,

Словно потухший и позабытый костер.

А заслуживал он получить от судьбы
Лучший – крутой и мгновенный конец, в соответствии с кличкой его, –
Этот, в своих ожиданиях обманутый, вспыльчивый, этот до мозга костей
человек,

Который так верил в себя, только раз эту веру утратив, –
Но раз этот, будучи битвой при Чанселлорсвилле, перечеркнул остальное.
Он с жизнью заносчив был часто, заносчива с ним была жизнь,
Но эта последняя месть жестокой была чересчур.

В жизни такое бывает: в цвете сил Джексон погиб,
Пуля сразила Стюарта, когда скакал он верхом,
Пал Кастер под звуки трубы. Голландец Лонгстрит продолжал
Жить, ссориться и довоевывать мертвые битвы. Ли отошел молчаливо.
Мак-Клелан, войну пережив, разглагольствовал долго в печати и устно.
Грант дожил до президентства. Томас умер в тоске.

Итак, уже Хукера нет на нашей картине – и адъютант утомленный,
В три часа ночи доехав до хижины Мида,
Будит его неожиданной вестью о том, что главенство к нему перешло.
И пенсильванец худой надевает очки,
Чтобы приказ прочитать. Высокий, суровый, с печальным лицом,
А нос, как у птицы драчливой – острый и длинный,
Рассудительный ум и холодный, и рот осторожный.
Удали Хукера не было в этом военном в железных сединах,
Но он решителен был, и умел, и искусен в науке войны.
„Пучеглазая чертова старая та черепаха” –
Вот как его иногда называли солдаты.
Когда объезжал он ряды – не слышалось криков восторга,
Но его осмотрительность жесткой и твердой была,
И могла она выдержать бури, ломающие удалцов,
Хоть ответную бурю она не влекла за собой.

Глазами учителя школьного – хмуро и пристально он изучает приказ.

До битвы осталось три дня.

Сперва он подумал устроить смотр

грандиозный,

Затем эту мысль он оставил — и действовать начал.

В то утро разведчик известие Ли приносит в палатку,

Что армия Севера сдвинулась и устремилась вперед.

Ли отзывает Эрли и Юэла с фуражировки

И собирает войско свое на распутье дорог —

Туда, куда Гетти когда-то пришел с упряжкой волов.

И вот мы видим теперь:

Две армии, точно два краба, ощупью ищут друг друга,

Как бы в тумане сведений ложных и слухов —

В течение этих последних сонных двух дней сенокоса в июне.

Жаркий июнь — на копну он улегся пшеницы и спит

Там, где ветер разносит пыльцу над сожженным жнивьем золотым ...

А мимо шагают солдаты, мучась от жажды, густую пыль подымая

С утопанных серых дорог, — и вот наконец

Друг друга тронули крабы клешни —

У города Гетти сцепились, и, срезаны пулями, персики падают наземь,

Расплесканные в куски под стволами деревьев.

Задумана не была встреча людскими умами,

И это нам ясно, когда мы вникаем в события.

Вы скажете — рок проскакал на коне

Впереди этих толп неуклюжих, и в каждой руке

Держал он клубок судьбоносный. И когда наконец

Он подъехал к одной, на зонтик похожей, купе деревьев,

Еще мертвецов не выдавшей, еще не слыжавшей орудий, —

Он в узел связал те клубки и их бросил об землю

Со звоном железным.

Возможно, что так это было.

Но мы знаем одно — Мид планировал бой

Примерно в пятнадцати милях оттуда, у Пайп-Крик-Лайн,

А где Ли собирался сражаться, если б он уклониться от боя не смог, —

Мы не знаем, но ясно одно: не там, где бой разыгрался.

Тем не менее рок —

Слепой и глухой, едущий вскачь на храпящем коне —

Бросил оземь клубки, и битву здесь заварил.

Желтый совсем
От лютиков луг.
Ребенок пришел
Охалку нарвать.
Девочка ищет
Клад золотой,
Мягкий, как масло,
Что сбито вот-вот.

Желтый цветочек
Кидает в подол,

Гладко, как золото,
Масло ее.
В чашечках ярких
Солнечный свет
Пышно одетой
Кукле отдаст.
Руки в пылице,
Как крыло мотылька,
Полон подол,
Но жаль перестать.
Там у оград
Они гуще растут.
Бежит, наклонясь
Под ношей цветов.

Видит — дорога
И всадник на ней
С серым лицом
От пыли иной.
Звякает оловом
Голос его.
С саблею он,
Чтоб детей убивать.

Он ей кричит —
Но ни слова она.
„Город тут где?“
Но не слышит она.
Звякая, едут
Другие за ним.
„Детка, не бойся!“
Но — сабли у них.
Лютики льются
С подола на луг.
Она убегает
К себе домой.
В мамин передник
Прячет лицо,
Сияясь сказать:
„Страх-то какой!“

В ночь ту Баффорд¹⁶⁶ поздно добрался до Геттисбурга;
На запад он шел с бригадами конницы синей,
А северные каролинцы и Петтигрю¹⁶⁷
Шли на восток через город с цепью фургонов
В надежде добыть сапоги для солдат¹⁶⁸.

Они повстречались.

Стал подкреплений и распоряжений ждать Петтигрю.
За линию города выставил Баффорд пикеты.

А завтра настало первое июля. Жаркое, тихое утро.

В лагере серых дивизия Хета готова к делу была,
Чтоб синих отбросить пикеты. Но ни на одной стороне
Не думал никто о решительной и предусмотренной битве,
Хоть Бафорд смекнул боевое значение двух этих гребней холмов,
Каким предстояло прославиться вскоре, и указал, что один
Прикрытием может служить, если бригаду его назад оттеснят.

Теперь он со штабом своим говорит пред таверной.
Из ближнего первого корпуса вдруг офицер подъезжает.
„Вы здесь, сударь, зачем?“

Офицер объясняет:

Он тоже приехал сюда, чтоб добыть сапоги для солдат.

Сапоги мертвецов — легендарные сапоги Геттисбурга —
Носил ли когда-нибудь кто-нибудь вас, когда кончилось все,
Когда эти люди погибли, и нивы засорены
Были костями убитых, — где ваши гвозди и кожа? Сабли домой увезли,
Сабли попали в музеи — лежат под стеклом, в стеклянных чистых футля-
рах,

И выглядят там хорошо. С них отмыта война.
Но в чистых стеклянных футлярах не держат старых сапог,
Еще перепачканных грязью походной.

А все ж кто-нибудь,

Кто любит такие вот мелочи, басни, намеки, —
Мог спрятать в футляре с наклейкой когда-нибудь пару сапог,
Чтоб просто увидеть, как с саблями рядом выглядит кожа.

Еле успел офицер свой рассказ досказать —
А Бафорд велит ему тотчас в отряд возвращаться.
„Но почему, генерал, что случилось?“

В тот миг, когда он говорит —

Выстрел дальний и гулкий одной единственной пушки
Теплое рубит молчанье. Насторожили лошади уши.
„Вот, что случилось“, — и Бафорд, ответив, пускается вскачь.

Джек Дифер — бочкогрудый пенсильванец —
В колонне вдоль опятных шел заборов
И, приближаясь к Геттисбургу, думал
Об урожае.

Крепким рос мальчишка,
А женщина с копною кукурузных
Волос — умело справилась с хозяйством.
Но что за цены ломают батраки!
Хоть урожай хорош был прошлогодний,
И цены хороши. И этим летом
Так выглядит прекрасно урожай.
Пшеницы длинный колос золотой
Разглядывал он с пристальным вниманьем,
И мысленно он взвешивал его
И превращал в коров, в налоги, в деньги,
И в новую на конной тяге жнейку,

И в стоящую краску для сарая,
А, может быть, и в платье для жены.
Немного было мыслей у него,
Но эта мысль крепка и хороша
Была на вкус, как колосинка с жестким
Крутым зерном. Сейчас хрустел он ею.
— Но краска, деньги — разве это все?
Они — пшеница, да. Но ведь пшеница ...
Как объяснить — но сладко видеть вновь
Хорошую пшеницу, что так ладно
Растет.

Он вовсе не был человеком,
Поэзию на ферме разводившим.
Он толк в сортах навоза знал, и редко
В слезах бывал, когда сдыхали кони,
И о шмеле не рассуждал красиво.
Когда ж теперь он шел, как вол навьючен, —
Высокая шуршащая пшеница,
Казалось, шумом наполняла сердце.

Как следует взгляните на колонну
Идущих мимо: вспомните Булл-Ран,
И перья петушинные на шапках,
И конгрессменов; вспомните бригады
Неловких ополченцев: этот нес
Перед собою флаг, шагая в бой,
Тот — войлоком обитый чемодан ...
Тех, облеченных в красные штаны,
В невежества сумбур и в идеалы,
Готовых воевать, как удалыцы
С открыток глянцевиных — до тех пор,
Пока в боях знамена есть и сабли,
Но также в бегство броситься готовых
Панически-слепое — эти люди
Когда-то были теми. Эти люди
Теперь — солдаты. Опытные воры,
Отличные бойцы и фуражиры,
Те, кто ворчат, и вовсе не желают
Быть на войне убитыми, и все же
Там не сдадут, где распадалась сила
„Зеленых” ополченцев, и в живых
Останутся, где гибла так ненужно
Она: их для того и муштровали.

Пусть эта школа не была красивой:
Они не носят петушинных перьев;
Кой-кто в одних кальсонах и носках,
И головы повязаны платками,
И стерты ноги их до пузырей,
А лица — потные с дубленой кожей ...

Когда по городкам они проходят,
Где люди вслед им шлют благословенья, —

То кой-кого растрогает привет
И женский плач, — но большинство из них
Так много женщин плачущих видали
И слышали приветствий!

Кто позлее —
Кричит в ответ любезным горожанам,
В прохладных палисадниках сидящим:
„Бери ружье и защищай свой дом!”
Солдаты ухмыльнутся и замолкнут,
Но все же дальше продолжают путь.

Джек Дифер, бочкогрудый пенсильванец,
С воловьей силой житель Камберленда,
Перебивавший доску кулаком, —
Через жару, и пыль, и гул растущий,
Но все ж не заглушающий высокой
Пшеницы шелест — этот роста шорох,
По ветру стелющийся этот шорох,
Тот в сердце шорох — краткий — вечный шорох, —
К знакомому распутью вышел.

Там
Услышал он тревожный шум сраженья,
В котором все смешалось; слушал так,
Как будто шум ему был незнаком,
Хотя он знал его.

Он никогда
Не обращал вниманья на дорогу,
Которой шел: всегда куда-то шли, —
Дорога есть дорога. Но вот эту
Он знал.

Знал повороты и холмы,
И пашни знал за ней, за городком,
Туда, по направленью к Чемберсбургу.
Ошеломленными глазами видел
Он не дорогу пред собой, не явь,
А серых видел он людей, топтавших
Несуществующее поле хлеба
И сыпавших в истасканные шапки
Созревшее и крепкое зерно,
Пока снаряд взрывался над амбаром.
„Кузнечики!” — сказал он сам себе
Сухими онемелыми губами,
Прикинув расстояние до гула,
Который крепнул.

„Эти Джонни — там!
Они дерутся с нами в Геттисбурге,
Уже, должно быть, и ко мне на ферму
Пролезли эти Джонни — черт возьми,
Паршивцы эти у меня на ферме!”

Сражение первого дня можно считать небольшим
По обычной оценке боев.

Конечно, в нем много погибло народу,
Погибло поболее, чем при Булл-Ране, и тысячи ранены были.
Кто ранен был так, что со временем можно слегка подлечить, —
А раны другие ничем не залечишь, пока не испустит дух человек.
В Корпусе Первом недостает половины состава —
Убиты и ранены. В городе, шторы в домах опустив,
Женщины с бледными лицами жмутся друг к другу,
Иль прячутся в погреб для яблок. Им без сомнения казалось,
Что конец света настал.

И все же написано в книгах,
Что это совсем не крупная битва была.
На стороне северян всего два корпуса было,
Лонгстрит еще не подоспел, Юэлла войска были не в полном составе,
До вечера корпусу Хилла дивизии не доставало, — это была
Совсем не крупная битва.

Первый выстрел раздался
Оттуда, где кучка была часовых-северян.
Они укрепились за городом, в роще на ферме.
Фермер был там, и услышал он выстрел — и после увидел,
Как снова сели солдаты на беспокойных коней
И прочь поскакали, стреляя, в то время, как серая масса на них
надвигалась.

Фермер, должно быть, миролюбивым был человеком.
Умер он, говорят, от того, что увидел он и услышал в один этот миг,
Хотя даже близко пуля не пронеслась ни одна,
И мимо промчалась гроза, не разразившись на ферме.
Конечно, должно быть, он был не из храбрых. Лучше бы он подумал
о том,

Что даже в весьма незначительных битвах не место
Миролюбивому, вроде него, человеку. Но вместо того
Он, говорят, возьми да умри.

Были смерти еще в этот день:
Среди Отисов, Смитов, и Бойдов, и Кленси,
Среди уроженцев Виргинии и Пенсильвании,
Висконсина и Каролины, Нью-Йорка и западных разных земель.
Оборванные пехотинцы-южане — мертвые на пшеничных снопах.
Кой-кто из убитых был знаменит.

Рейнольдс¹⁶⁹ убит:
То был образцовый солдат, учтивый и храбрый —
Выстрелом сбит он с седла в самом начале сраженья.
Нет времени у Доблдэя оплакивать друга — Рейнольдс был другом его.
Правый фланг северян отброшен назад,
И напирает на город Хета южное войско,
И Доблдэю приходится натиск сдержать, пока не появится Ховард
И командование на время не примет.

Ожесточенная битва.
Мид узнает о случившемся. Он посылает Хенкока¹⁷⁰ на поле сраженья.
Посредине сраженья Хенкок принимает команду. Серые рвутся вперед.
Под одним из знамен северян — пять знаменосцев убито.
Последний из них, умирая, еще продолжает держать поникшее знамя.

Женщины с бледными лицами из домов выползают на свет
И отступающих в синем солдат умоляют: „Не оставляйте нас, молодцы!
С нами останьтесь, город наш защищайте!” Их лица худы,
Слова, спотыкаясь, бегут из испуганных ртов.
А в поле, далеко, фермер миролюбивый,
Уши зажавши, слышит все тот же резкий, единственный выстрел,
Который он будет слышать снова и снова, пока от этого он не умрет.
Против Хенкока и Ховарда — Хилл и Юэлл.
Шум разнобойный и дикий — и слышится резкий, высокий
Мятежников клич боевой — и песня пуль заостренных,
Косящих людей и колосья, в то время, как люди в поту
Ворчат, забывая патроны руками, что черными стали.

Но вот наконец Хенкока и Ховарда силы отбиты.
Они в меньшинстве, их прорвали на фланге, из города выбив,
Они отступают, как могут, к хребту, что похож на крючок рыболовный.
И гул затихает, и солнце садится.
Усталые люди мечтают о пище.

Штабные Юэлла

Верхом по захваченным улицам мчатся в пыли
И слышат, как пуля ударила в их генерала.
В кость или в мышцы? Смертельная рана или пустяк?
„У генерала раненье!” — тревожные вздохи, и сыплются градом вопро—
сы.

Голову вбок, точно птица, Юэлл повернул: „Нет, сэр, я не ранен!
Но если бы пуля в вас, генерал Гордон, угодила,
То нам повозиться пришлось бы, и с поля вас выносить.
Видите, что подготовлен я к драке лучше, чем вы:
Вовсе не больно, когда попадут в деревянную ногу!”

Так это кончилось. Ли приезжает на поле сраженья,
Чтоб увидеть, что слободка взята, что северный натиск отхлынул.
А Мид доберется лишь к утру до этого поля сраженья.

Так закончилась эта некрупная битва первого дня,
Вызвав жгучие споры. Пядь за пядью выигрывали и проигрывали этот
бой

Корпусов командиры. Никаких не скрывали они у себя в руках
Стратегических планов волшебных; но дрались они и держались, как
только могли.

Битва кончена, и доска приготовлена для предстоящей главной игры.
Северян проигравшие битву бригады
Отступили от города, выстроенного на стыке дорог,
Где пытались они укрепиться, и так, откатившись,
Они стали на месте, где свершиться судьбе предстояло.
Кто избрал это место?

Достаточно в книгах на то претендентов.

Ховарду выражена благодарность Конгресса была
За выбор этого места, но также его несомненно
Благодарил бы Конгресс, если б выбрал он место другое,
Лишь бы сражение окончилось это победой.

На стороне же южан — по крайности дюжина „если б”:
Скажем, вечером этого первого дня — вот если бы знать!
Если бы прибыл во-время Ли! Если бы Джексон был жив —
Тогда бы могли быть взяты высоты, которые позже
Стоили стольких напрасных попыток и крови такой.
Все эти „если б”, и благодарности, и остальное — все верно,
Но мы одно только можем сказать, когда смотрим на доску:
„Здесь это случилось. Вот так расположена местность.
Тут решалась судьба, тут скрестились слепые мечи.”

Когда-то вы садились в дилижанс
И ехали на поле боя, — ныне
В автобусе, я полагаю, ездят.
А в дилижансе можно было есть
Зажаренную курицу, в вощанку
Завернутую, между тем, как гид
Бубнил неторопливо про войну.
А летние большие облака,
Свернувшись простоквашей, в синеве
Навалены, как пышки с кремом, были.
Пах дилижанс колесной мазью, кожей,
И головой кивала сонно лошадь,
Украшена соломенной шляпой,
С продетыми ушами сквозь нее.
День летний, и сенная лихорадка
В разгаре, и жара, и можно было
Все поле боя видеть, начиная
С Могильного хребта — там все, как прежде,
За исключением памятников; вдруг
Там группы статуй удивляют вас,
Внезапно появляясь из земли
То в мраморе, то в бронзе, — и на плитах
Могильных — интересный ряд имен ...

Все было так спокойно, мирно, жарко.
И так опрятно под огромным небом,
Как будто воевали тут не люди,
А статуи-гиганты, из которых
Не кровь лилась, а чистые потоки
Нетленной бронзы, — даже там, у Круглых
Вершин, и там, где Пикетта валун, —
Там, где открыта бронзовая книга,
И эту книгу все еще читают
И воробы, и ветер, и туристы.
И ветер прилетал, сновал в траве
И говорил ... в тиши ... в сиянии света ...

„Пикетт пришел
И Юг пришел
И конец пришел
И трава идет,

Овекает ветер
Бронзу книги той,
Бронзу тех солдат,
Стебельки травы.
Говорит нам ветер —
„Давным-давно,
Давным-
Давно.”

Тут полагалось пресс-папье купить
С переводной на нем картинкой-флагом,
В надежде — не сломать его дорогой,
Когда ты возвращаешься домой.

Нарисуйте теперь на бумажном листке неуклюжий крючок рыболовный,
А налево, вблизи от крючка, там, где начал крючок загигаться, —
Крест мальтийский с отрезанной верхнею долькой наметьте.
Город мы обозначим крестом. И лучами расходятся девять дорог от него.
На восток и на запад, на север, на юг.

А теперь чуть подальше налево
От пролома в кресте, с другой стороны Геттисбурга —
Обозначьте волнистой и длинной чертою хребты и холмы,
Так, чтоб шли почти параллельно они верхней части крючка.
(Сам крючок рыболовный повернут изгибом в другом направлении
От креста и волнистой черты).

Так хребты расположены. Так расположена
местность.

Рыболовным крючком обозначен Могильный хребет:
Это — северный стан в ожидании атаки. Волнистой чертою
Обозначен хребет Семинарский: южный натиск начнется оттуда.

Между ними долина — более мили она шириною.
Примерно три мили меж выступом нижним креста и ушком на крючке
рыболовном.

От ушка — от Круглой Вершины Большой до Малой Круглой Вершины —
недалеко.

Оба эти хребта и скалисты, и мощны, — удобны для целей войны,
Только Северный крепче хребет и короче.
Растянуться приходится армии Ли, как змее, извиваясь,
Ложась вдоль забора, в то время, как армия Мида может свернуться,
Иль частично свернуться, подобно змее, прижавшейся к камню бочком.
Миду легче солдат перебрасывать — больше солдат у него,
А у Ли есть бывалый престиж, искусство и опыт,
И задача его — обвить своею змеею другую змею,
Прижатую к камню частично — и так ее истребить,
Или в каком-нибудь месте крючок разломать,
Змею пополам разрубив.

Задача Мида — держаться.

Так на шахматном поле. Стоят деревянные кубики так
На карте рельефной.

И зная все это —

Скорей позабудьте об этом. Пусть вместо волнистой черты
Холмистые встанут хребты с валунами, поросшие лесом, куда слетаются
птицы,

Где мошки толкуются, и зяблик полое строит гнездо,
Где камни черны под дождем и серы на солнце,
Где „Джек-проповедник” – дикий цветок – вырастает в прохладных
сырых углублениях.

К чему имена полководцев на кубиках видеть –
„Хилл” или „Хенкок” или „Пендер” –

старайтесь увидеть вместо того

Три мили живых людей – три длинные мили двойные
Пушек, солдат, лошадей, костров и повозок,
Хирургов, возниц, генералов и ординарцев –
Стошестидесятитысячной цепью живой они растянулись;
Кто спит, а кто ест, а кто думает; пишут короткие письма
В мыслях о смерти; кто кости бросает, а кто сквернословит;
Стонут в повозках больничных, стоят на часах,
А тихие звезды по небу идут в серебряных латах ...
Люди, что слушают голос ручья или шутку, или – как лошадь щиплет
траву,

Или не слышат ни звука – слишком устали, чтоб слушать.
Всю ночь, пока круглое солнце не встанет, и утро пока не наступит, –
Три двойных мили живых людей.

Прислушайтесь к ним – в ночи их дыхание встает,
Как жизни огромный аккорд – в бормотаньи и вздохах
Волнуемой ветром пшеницы.

Сто шестьдесят тысяч людей,
Дышащих ночью на двух враждебных хребтах.

В ту ночь на земле каменистой Джек Эллиат спал.
Он был на Могильном холме – холодные звезды шли мимо.
Неважно, что тверже, чем камень Иакова, было ложе его –
Он все ж мог уснуть, и был рад, что он может уснуть.

Он прошел через Чанселлорсвилл и через лес тот свистящий,
Сквозь этот последний день он тоже прошел.

Хорошо после дней таких спать!

За четыре последние месяца перевидал он
Много дорог, и любые погоды, и смерти, и двух одержимых
Предчувствием смерти людей – незадолго до смерти.
Один был – Джон Хабердин, другой был капралом из Миллерстауна
родом.

Вещи такие потом вспоминаются часто даже во сне.
Прежде, чем на землю лечь – про себя он подумал:
„Нам было жарко сегодня в городке этом краснокирпичном,
Но завтра еще будет жарче!”

Когда он проснулся

И круглое солнце увидел взшедшим на чистое небо, –
Почувствовал, как, точно пар, поднялась та же мысль с каменистой
земли,

Солдата каждого тронув.

Один из них вниз с холма поглядел.

„Должно быть, их чертова армия вся там собралась”, — сказал он и свистнул.

„Ну и пикник будет нынче, ребята! Могу вас уверить — Будет заправский пикник!” — и он свистнул опять.

„Эси, заткни свою пасть насчет пикников, — отозвался другой, — Слишком от этого хочется жрать.”

Он шумно вздохнул.

„Хватит того пикника, что достался нам в Чанселлорсвилле, — сказал он, — Брюхо с тех пор у меня не в порядке!

Ты их различаешь?”

„Да, — сказал Эси, — но довольно далеко они.”

„Кто нам теперь попадется, хотел бы я знать? Те, что попались вчера — Были метко стрелявшие черти.”

„Об этом не беспокойся, —

Эси ответил, — будет их сколько угодно на выбор.”

В ответ тот снова вздохнул.

„Два дня назад на дороге видел ты негритянку, Ту, что горячие там пироги продавала? — спросил он, рот облизав, — Были они с ежевикой. Ребята, что шли впереди, накупили их вдоволь; Мы с Джеком сложились, чтоб тоже три штуки купить, И только что мы приготовились смыться из строя — Так кто же, рыча, налетел в ту минуту? Патрульный! Достался ли нам хоть кусок? Как ты думаешь, а? И так я был зол, что плевать не мог целый час! Пусть только война будет снова: устроюсь патрульным иль лопну!”

Кто-то сказал тонким голосом вдруг: „Они двинулись, гляньте! Они движутся — я говорю вам — глядите!”

Тогда все стали смотреть.

Что-то защелкало тихо, как будто в костер побросали ветки с шипами. Начался звук далеко — потом прекратился — и начался снова.

„Нас поначалу, наверно, оставят в покое, — Эллиат думал, — попробуют с левого фланга.

Хоть нам достанется скоро, а все ж не сейчас.

Чувствую я как-то странно сегодня себя. Я не думаю, что я погибну; Все ж какое-то странное чувство. Тут в самом деле вся армия их собралась. Знать я хотел бы — такое ли чувство было у них — У Хабердина и у капрала из Миллерстауна родом? И каково это — имя свое увидеть на пуле?

Странное чувство, должно быть. А битва будет большая.

Знают об этом и Джонни. Какой там хорошенький домик внизу ... **ФАЭТОН — КОЛЕСНИЦЕГОНИТЕЛЬ В ПЬЯНОЙ КАРЕТЕ СВОЕЙ,** ЧТО ТЫ СУЛИШЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО ИМЯ ДЖЕК ЭЛЛИАТ НОСИТ? Стали мы здорово крепким полком, если мы сами в том признаемся, Да и Старик это знает, — но это сражение, наверное, будет тяжелым. Мне интересно — они каково себя чувствуют там.

КОЛЕСНИЦЕГОНИТЕЛЬ, ВЧЕРА КОЛЕСНИЦЕЙ ТЫ ПРАВИЛ ПО НЕБУ

ВНЕ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ – НО Я ТЕБЯ НЕ ВИДАЛ. СЕГОДНЯ Я ВИ-
ЖУ ТЕБЯ.
ЧТО ЧЕЛОВЕКУ СЕГОДНЯ ТЫ ДАШЬ, У КОТОРОГО ИМЯ МОЕ?”

Стрельба началась в то утро в девять часов,
Но разразились атаки не ранее трех.
Было их две: одна – на левый фланг северян,
С целью захвата Круглых Вершин, а другая на правый обрушилась фланг.
Ли их планировал так, чтобы разом ударить,
Натрое перерубая тем самым змею северян.

Но это не вышло.

На левом фланге южан был упрямый, воинственный, нерасторопный
голландец Лонгстрит:
Его было трудно в бою одолеть, и убедить его в чем-нибудь было не менее
трудно:

Он собственных взглядов держался на то, как сражение вести,
И три или четыре часа он не двигался с места после того, как Ли
приказал наступать.

Правда, пойдя в наступление – он шел с напористой силой.
Навстречу Лонгстриту, в долине у Круглых Вершин,
Слабый угол прямой образуя, Сиклс расставляет синее войско свое
Вдали от хребта, у Эмметсбургской дороги.
Персиковый там раскинулся сад, и поле спелой пшеницы,
И много еще там мирных, спокойных вещей,
Которые мирными скоро быть перестанут.

Солдаты в синих мундирах, шагая в спелой пшенице,
Цветовую симфонию синего с желтым являли, –
Так говорят и так помнят еще очевидцы –
Даже теперь, когда стары, и голоса их скрипучи.
Был шум, говорят, непрерывен, как звуки волчьего воя, когда разрази-
лась

атака.

И говорят – когда пушки заголосили все разом,
То на хребтах каменистых твердая почва дрожала,
Точно ребенок больной.
ИНОЮ МЫ ДРОЖЬЮ ЗАСТАВИЛИ ЗЕМЛЮ БОЛЬНУЮ ДРОЖАТЬ
В НАШИ ДНИ, В НАШИ ДНИ, В НАШИ ДНИ, – НО ЭТО НАС НЕ НАУЧИЛО
В ПОЛЕ НЕ ТРОГАТЬ ХЛЕБНЫХ КОЛОСЬЕВ.

Так налетела гроза

С воем на угол.

Каждый, кто дрался в этом бою,
Был закаленным, испытанным, твердым бойцом,
Которого трудно убить.

Шли они и умирали.

Шли снова и умирали. Стояли и умирали.
И вот наконец тот угол смят и раздроблен,
Сиклса убили, убиты Уилард, Барлоу и Семмс,
Вытопан сад, и вытопан хлеб, и кровью залит, и захвачен,
И дальше к Круглым Вершинам высокие Худа техасцы
Вовсю наступают, в то время, как раненым падает Худ.

На самом верху Маленькой Круглой Вершины
Одинокая стынет фигура и смотрит, как натиск крепчает, —
Уоррен с греческим ртом — саперных войск начальник у Мида.
— Иногда, и даже в бою, наступает мгновение,
Когда прозорливый видит, куда наклоняется чашка весов,
И может, увидя, судьбу изменить. У Уоррена были глаза,
И этот момент наступил для него. Он повернулся —
Его озарило виденье, подобное вспышке —
Как гребни Круглых Вершин взяты врагом,
И артиллерия серая там разместилась, и как проиграна битва —
И он, сломя голову, скачет отряды собрать,
Чтобы в последний момент их успеть привести,
Пока еще серая лезет лавина наверх, и южный клич боевой становится
резче и резче.

Гребень холма трижды взят и трижды отбит
В волчьем свирепом бою, в задыхающихся Илиадах,
Слишком стремительных, чтоб их заметить и помнить,
Слишком неясных, чтоб заморозить их в песне.
Как-никак, когда падает круглое солнце, и ночь, как монахиня, тихо
В черном покрове проходит, держа, как детей, у груди
Первые слабые звезды, и расстилает там чистые ризы свои, —
То все еще там, на Круглых Вершинах стоят северяне, владея двумя
литыми ключами войны.

Спускается ночь. С камней Чертова Логова капает кровь.
С истомленной жаждой земли подымается ропот.
Мертвых и раненых там двадцать тысяч лежит.
Так воюет Лонгстрит, так защищается Север.
Вот они — раны и смерть, поражение, победа
Там, где конец крючка рыболовного загнут.

Так потерпел неудачу Лонгстрит еще раньше, чем Юэлл и Эрли
Гораздо удачней удар нанесли по крючку
На Могильном холме, на Хребте и Возвышении Калпа,
Но не настолько удачно, чтоб глубоко среди острых камней
Укорениться победою жесткой
И змее чешую раздробить.

Когда надвигаться пошел
Пронзительный вопль последней атаки —
Джек Эллиат сверху видел ее приближенье.

Они уже ждали часами на этом жестком холме,
То под обстрелом, то в стороне от обстрела.
Один жевал стебелек и что-то мурлыкал под нос.
Другой подкидывал старый черный свой нож — так, чтобы он,
замысловато крутнувшись, в землю воткнулся.
О девочках двое солдат говорили, пока не сдурели вконец,
И тогда их сержант осадил.

Потом они ждали опять.

Джек Эллиат ждал, реву внимая другому,
Который то рос, то стихал, то далеким был, то приближался.

Джек временами на бок ложился и в небо глядел,
Как будто он мирный хотел выстроить дом из синего неба,
Но мирного дома ему было там не найти.

Один только рев,
Солнца медлительный спуск, да обреченность в душе ...

Он лежал возле дерева за небольшим валуном
На густой и жесткой траве. Ниже по спуску холма
Были дома, и стена из грубых камней, и в позах ленивых синие люди.
За ними стояли орудья на гребне холма.

Он подумал: остались ли там еще люди в домах?
Длинная крыша косая была на доме одном. Джек пальцем лениво чертил
Линию кровли этой косой. Ему нравилась линия эта.

Начали снова взрываться снаряды южных орудий.
Сзади ответили им батареи. На дом он взглянул
В тот миг, когда падали ядра. Хотел бы я жить в этом доме.
Обстрел орудийный стихал.

Человек, у которого старый и черный был нож,
Спрятал его и с ружьем своим начал возиться.
„Вот оно. — Джек подумал. — Идут они.”

Вдруг

Напряжение легкое словно прошло по солдатским телам,
Тут и там, как обрублены, кончики слов рассыпались,
И вперялись глаза, и привычно и быстро двигались руки.
Вот оно. Чувствовал он — его руки движутся так же,
Как руки всех остальных, помимо воли его. Вот оно. Он ощутил
То знакомое старое чувство стеснения в груди.
Тот, кто стебель жевал, — надкусил его слишком глубоко
И внезапно выплюнул стебель.

Джек Эллиат видел

Сквозь сумерки легкую серую ту бахрому,
Что войною была; она надвигалась на них,
Но не прямою чертою, как на картинках, а смазанной и искривленной
чертой,

Подобной неясным каракулям детским, которые сделал
Мягкий цветной карандаш. Но черта подвигалась
Со своими платочками красными маленьких флагов,
Тут и там обвисая.

Но все же была далеко,
И все еще эта атака имела игрушечный вид —
А вот ее лес поглотил — а вот она вышла из леса
И увеличилась, и увеличились флаги.
Их батареи с хребта попытались атаку сломить —
Песок дымящийся, брошенный в ряд муравьиный, —
Но все же они наступали — одна бахрома за другой —
И еще — и еще —

Он из виду их всех потерял на минуту
В ложбине.

„Вот оно!” — у него пронеслось в пересохшем мозгу.
Это будет большое сражение. Конечно, орут они клич боевой,
Хотя их не слышно. На этот раз могут прорваться.

Прорвутся иль лопнут, — можно судить по тому, как они наступают.
Господи, хоть бы орудия наши сделали дело свое,
Когда выйдут они из ложбины.

Ах, черт побери!

Прозевали их наши орудья! Они наступать продолжают!
Комариное тонкое стал различать он жужжанье.
„Придержите, ребята, огонь, пока близко они не подступят!” — Это новый
кричит лейтенант.

Он довольно хилый на вид. „А ну тебя! — Джек пробурчал.
Ополченцы мы, что ли, — ты думаешь, кто мы такие?”

Вдруг внизу, где тот дом его был, над стеною каменной низкой
Пламя вспыхнуло — стала сразу огромной стена, —
Поднялась над нею из дыма стена. Теперь и Джек закричал.
Боевое красное знамя, как нос корабля,
Промелькнуло сквозь дым и затмилось дымом и вспышкой.

Сердце Джека стучало в груди учащенно.
„Прорвутся иль лопнут”, — шептал он, огонь придержав
До того, как совсем не рассеялись дыма обрывки.

Он услышал, как рядом с ним что-то чвякнуло мягко.
Он на миг повернулся: тот, кто жевал стебелек,
Сквозь боль приподняться пытался и встать на колени,
А на лице у него неуместная жалась улыбка,
Но залило кровью улыбку, и скрючился он.
Джек вытянул руку, чтоб тронуть его, и почувствовал, как по руке
Прошелся напильник.

Отдернувши кисть, он ее пососал.

„Ах, сволочи”, — голосом ровным негромко сказал он.
Все это, казалось, не заняло времени вовсе,
Но когда повернулся он снова, то дымные склоны холма
Серыми были — и надвигалось, шатаясь, красное знамя,
И те же кричащие люди чужие, которых он знал хорошо. —
Теперь уж не как муравьи — вблизи, спотыкаясь, бежали —
И этот противный, высокий и резкий клич боевой,
Пронзающий с разных сторон грохотание боя глухого.

Он губы разжал. Он почувствовал — что-то раздулось в груди у него
Пузырем непокорным, огромным.

„Ах, черт!” — он сказал,

Заряжая ружье и стреляя, — „Вам не достанется холм!
Богом клянусь — не достанется вам этот холм!”
Тут он увидел, как серый солдат закружился, как сумасшедший танцор,
И прямо под ноги ему свалился другой. Но они из холма вырастать
продолжали.

Что-то толкнуло его оглянуться налево.

Там из-за камня

Лицо желтоватое кажет клыки и наводит прицел пистолета.
Джек стреляет — и падает сломанной дудкой лицо.
В этот миг что-то резко его ударяет, и дух у него захватило.
„Назад, паразиты! — он прохрипел, — пошли назад, паразиты!”
Он уже зарядить не успеет ружье —

Слишком близко они подошли! Он стоял и орал.
Как дубиной, прикладом размахивал он
Сквозь сумерки, полные острых и ярких ударов.
И, ударив прикладом, почувствовал он, как что-то рухнуло наземь.
Больше не было вовсе дыхания. Не было мыслей.
И тогда, как тупым кулаком, вновь пришлось удар по нему.

Джек в траву повалился, и ночи черные овцы его затоптали ...

С своим ребенком на руках Мелора Вайлас
Сидела в этот день у родника и чувствовала – теплый ветер дует
И рябью морщит малый пруд, а в нем когда-то отражались два лица
Отдельно, а затем друг к другу на короткий миг прижавшись,
Как будто были рты из серебра, и там слились в один ...

По детским сжатым кулачкам прошелся ветер, но их разжать не мог.
Ребенок крепко спал. Ребенок был крепыш.

„Ты, ветер, сдул зеленый лист и бурый лист,
И у меня ты в беспокойном сердце дуешь вкривь и вкось,
Будя меня опять.

Я, было время, думала, что сердце
Мое – ребенок. Что сердце как ребенок может спать.
Но нынче, когда ветер потеплел – мне вспомнился любимый.
Неужто будешь дуть все лето, теплый ветер?”

„Вы на двенадцать долек милосердия
Однажды разделенную ту плоть
Вновь разделите, скрывши в каждой дольке
Беспомощно-прекрасное дитя, –
И все ж в разгаре лета, все ж когда
Колосья спелые кивают в ветре,
Как люди с белокурой головой –
Под солнцем – вновь соединятся дольки
В единую бездетную любовь,
В любовь, в которой милосердия нет.”

И вновь она подумала: „Не так, совсем это не так, совсем не то.
Люблю ребенка моего я с буквы „К”, затем, что крошечный ребенок мой.
Люблю ребенка моего я с буквы „С”, затем, что сильный у меня ребенок,
И потому, что мой он – с буквы „М”.

Но я теперь в тревоге.
На дереве мы вырезали сердце – но это место заросло корой.
Монетки половина у меня – но я хочу его монетки половину.
И зимней спячки кончилась пора.”

Теперь уже длиннее тени стали. Ребенок пробудился, закричал.
Качать его и унимать Мелора стала, и чувствовала – теплый ветер дует.
„Да, я должна найти его”, – она сказала.

В это же время примерно – солдаты с другой стороны

Подъехали к дому. У них были грубые дикие кони.
Двенадцать всадников было, и быстро скакали они.
Бенту положено было в лесу быть, но он возвратился домой,
Чтоб колесо у телеги поправить — оно расщепилось.
Его захватили в сарае. Никто его предупредить не успел,
Хотя Джон Вайлас пытался, но Джона силком удержали солдаты,
И стали обыскивать все, а младшие дети как мыши шныряли взад и вперед
И пищали: „Рекрутчики, мамка, рекрутчики снова!“
Но и тогда, если б Бент запрягался в сене, —
Его не нашли бы, пожалуй, — слишком они торопились,
Но, может быть, он укрываться устал.

Так или иначе,

Когда добежала Мелора до края полянки,
Она увидала их там, и Бента — верхом он сидел;
Мать застыла как столб, и отец стоял, онемев,
А главный рекрутчик мягко весьма говорил:
„Мэм, не волнуйтесь, он еще будет хорошим солдатом,
Если себя он будет как надо вести.“

Так они Бента забрали.

Потные артиллеристы на гребне холма —
Перемазанные пенсильванцы за банники стали хвататься
И отбивать атаку жердями, камнями, дубьем,
Вопя и кусаясь. Говорят, что они восклицали
Яростно: „Лучше погибнуть на поле родимого нашего штата,
Чем потерять наши пушки!“ — Так говорит один генерал.
Сам он там не был. Не знаю, какие слова кричали они,
Но тому, что они там дрались — свидетели есть,
И тому, что серые волны, на них накативши, дрались —
есть свидетели тоже.

Схватки водоворот на мгновенье — затем на мгновенье
Тяжко дышит затишье.

И вдруг —

Твердый топот идущей колонны — наконец подкрепления синих, —
Звук роковой для серых бойцов.

Твердая эта колонна

Перевалилась через искромсанный гребень холма
И с воплем бросилась в бой. Серых атака,
Согнувшись, отпрянула, — сломлена серых атака была.
Потные артиллеристы вновь бросились к пушкам своим
И стали разбрасывать ядра в волну, что катилась назад.

Так второй закончился день сцепленья бычьих рогов,
Двадцати тысяч убитых и раненых день.
Так ночь пришла все это покрыть.

Поле битвы живое было всю ночь

Шопотом, вздохами, словом. С камней
Чертова Логова медленно капала кровь.
Линкольн у себя в Белом Доме справлялся, что нового слышно.
Отвечает Военное ведомство: — Нового мало. Есть донесенья
О перестрелке горячей близ Геттисбурга — и все тут.

В Ричмонде Дэвис знает не больше Линкольна.
В Висксбурге опустошенном падают, падают ядра —
Эта осада еще продлится два дня.

А на поле сраженья
Мид созывает совет и обсуждает вопрос об отходе.
Его левый фланг продержался, и Круглых вершин он не отдал врагу.
Но правый фланг его смят, был временный в центре прорыв;
На возвышении Калпа частью его укреплений враг завладел.
Очень тяжелые Мида потери.

Все это он крепко обдумал,
И наконец он решает не двигаться с места и бой принимать.

Джек лежал на Могильном холме.
Раны его начинали гореть.

Он подымался
Сквозь пустую холодную тьму к слабому свету,
К водянистому желтому свету мутной луны.
Пошевелился слегка и застонал.

У него на лице и руках
Было прохладное что-то. Была то роса. Он лежал на спине
И глядел, как по влажному темному небу гнал облако ветер.
„Старый колеснигонитель”, — подумалось Джеку.

Он тупо припомнил атаку.
Атака низверглась на них. Они отбили атаку.
А теперь — влажно-темное небо, боль и роса.

Он до фляжки своей дотянуться попробовал, но не достал,
И ему стало страшно.

„Воды я хочу”, — он сказал.
Голову он повернул сквозь немые столетия.

В двух шагах от него
Тихо лежал человек, крепко уснувший.
Бородатый лежал человек в неприятельской форме.
У него была фляжка. Джек провел языком по губам.
„Эй, Джонни, — шепнул он с трудом, — есть вода у тебя?”
Но тут он увидел: у Джонни всего только пол-головы,
И враз помрачнел, потому что такие как этот — не могут одалживать
фляжки.

Теперь он был в полубреду, и казалось ему —
Два тела есть у него: одно из боли сплошь состоит,
А другое боли не знает, и лежа на ложе росистом,
Удивленными, трезвыми смотрит глазами на первое тело.
„Все здесь мертвые, кроме меня”, — он подумал.
„Если голоса я не подам, то решат, что я мертвый,
И санитары меня не найдут — вон поодаль блестит их фонарь —
Ах, да это луна! — Дай им знать, что ты здесь, — закричи!”
И горячее тело кричало, стонало. Прохладное тело смотрело на это
лениво.

Спелый плод раскрылся желтой луны,
И оттуда на темную полосу неба в разводах

Понеслась колесница с конями, несущая бронзовый шар
Нестерпимого солнца — и прямо над ним она стала —
Вперед устремленный полет — и все ж замороженный шар в застывшем
движении,
Тяжелый от света.

Над Геттисбургом виденье игрушечной смерти.
Так он увидел ее, и голосом тонким и слабым он закричал.
Что-то изрезанным краем вошло в его сердце и стало на место.
Прохладное тело смотрело на это лениво.

И все оказалось потом фонарем,
Что подвигался, качаясь, сквозь кучи наваленных трупов —
И только что замер. Джек вновь закричал.
И голос сказал: „Послушай-ка, Джерри, тебе померещилось это, —
Два раза я мимо этого парня прошел, — он мертв несомненно,
Побьюсь об заклад.”

Джек услышал свой голос пискливый:
„Я жив, черт вас всех поberi! Я жив — вы не слышите, что ли?”

Что-то близко совсем засмеялось.

И облако Джеку сказала:
„Ну ладно, приятель, тебе мы поверим на слово. Ишь, парень ругается
как!

Ну ладно, ругайся, пока мы положим тебя на носилки —
Оно помогает — полегче-ка, Джо!”

Джек упал
Из двух своих тел прямо в шепчущую темноту,
И во тьме временами он слышал то кашель, то замечанье
Облаков говорящих каких-то.

Одно говорило: „Теперь уже два с половиной
Ты мне должен; ты плохо их, Джо, выбираешь сегодня.”
„Что ж делать, бедняжки, — Джозеф ответил, — Ну, все равно —
Если этот парень умрет на пути в перевязочный пункт,
То пари отменяется. Джерри, не очень трясина — ему больно.”

Еще один ясный рассвет занимается над Геттисбургом
И день обещает погожий и жаркий. И пушки с рассвета
Забухали вновь.

Уже третий день.
У Возвышения Калпа все утро проходит в упорном бою.
Насилу-то схватке конец — южан оттеснили.
И крючок рыболовный на кончике самом очищен от серых.

Ли удар наносить уже пробовал справа и слева.
Еще центр остается — вчера там удался прорыв
На краткий и яростный миг — вломилась атака Вилкокса,
Но с тех пор уже центр укреплен и окопан, щетинится жерлами пушек.
Это риск. Вся война — это риск.
Ли прикинул те силы, которыми располагал, и возможности взвесил,
И решение свое объявил.

Своевольный голландец Лонгстрит
Возражает: он все возражает с начала сраженья.

Он сражение не одобрял с самой первой минуты,
И неодобрение это добавило лишнюю гирьку,
И добавит еще на весах, где и так не в пользу южан перевес.
Не наша задача судить — был он прав или глуп:
Люди такие такими рождаются, и их не изменишь, —
Но по воле судьбы бывает, что люди такие
В роковую минуту стоят на самом решающем месте;
Так и случилось с Лонгстритом: если приказы
В виде он том получал, как они отдавались,
То подчинялся он им не вполне, но при этом
И отказаться от них он вполне не пытался,
А поступал вместо этого так, как он нужным считал,
Делал все вполсилы, и как ожидал — потерпел поражение.
Ожиданья его оправдались, и он записал все резоны свои
Позднее, в споры вступая.

Нам этих споров не нужно:

Видим мы и без них, как строптивый тот человек
С упрямой складкой на лбу не соглашается с Ли,
А между ними — судьба - невидимка.

Лонгстрита слушает Ли,

Неизменный и невозмутимый.

„Здесь неприятель,

И по нему я ударю”, — Ли говорит непреклонно.

Клей одинаково клял с досады
И усталость свою, и в небе снаряды,
И скачки вчерашней кошмар (на ходу
Взводами в седлах спали солдаты);
Элил его серый конь — на беду
У пенсильванского фермера взятый.
Кажется, что у него на коленях
Игрушечных двое шаров здоровенных!
Не вышколен, не рысист, ну а все ж
Другого в трудный час не найдешь.
„Скоро мне будет, верно, не внове
И на джерсийской ездить корове!”
Пестрый теперь Черноконный отряд,
Кони любых мастей у солдат!
Только отряд вконец изможден,
Последним походом вымотан он.
Духом угрюмый, внутренне сжат,
Шепли на все раздражался подряд.
Все оставляло его возмущенным,
Что он под летним встречал небосклоном.
Больше не так беззаботен Бристол,
Из глаз его радости отблеск ушел.
И кони, и люди в этом походе
Выдохлись — силы у всех на исходе.
Клей ухмыльнулся команде — „По коням!”
„Каждый тут пугалом смотрит вороньим,
Но — как-никак — мы для драки сошлись!”

И всем отрядом они понеслись
Туда — где изогнулась дуга
На подступах правого фланга врага.

Вот первое сигнальное орудье ударило в час дня.
И твердь земли заболевает снова,
И землю два часа потом тошнит, и неумолчный рев стоит
Двухсот пятидесяти пушек, грохочущих одновременно.

Близ Филадельфии, на расстоянии восьмидесяти с чем-то миль от битвы,
Старик нагнулся, ухо приложил к земле, и этот рев расслышал, говорят,
Там у себя на грядках, как смутный рокот моря в раковине полой.
Пятнадцать лет сажал он там цветы, похожие на трубы.
И вот теперь сквозь эти трубы дул железный шум из глубины земли.
Он вытер рукавом лицо и в дом поковылял с глазами, полными испуга.

Вот ящики зарядные взрываться уж начали близ пушек северян ...

По линии крючковидной залпы уже затихали.
Устало солдаты ждали, чтоб дым рассеялся всюду,
А в центре ждали солдаты, в пальцах сжимаемая ружья,
Около тех деревьев, где рок верховым проехал — близ низкой стены
и пушек.

Это — солдаты Хенкока, это Второй был корпус,
Там, где одиннадцать штатов смешаны воедино —
С Мэном в строю Миннесота, вкуче с Нью-Йорком — Род-Айленд,
Севера все металлы слиты в топор боевой.

Севера крепкие прутья собраны в ликторской связке,
Снежные лютые зимы, ветра бритвенный нож,
С ними воюет лето, что в Новый год еще живо,
Жимолость и магнолия, синий виргинский флаг.

Пикетт¹⁷¹ высокий к Лонгстриту подходит с лицом изнуренным.
Пикетт был другом Линкольна в дни, унесенные ветром,
Мальчиком был он учтивым, Линкольн чудаком был в накидке,
Они говорили в Спрингфильде, мальчик о сабле мечтал.

Мечтал о воинственной сабле, какие бывают в мечтаньях,
О том, чтобы рыцарски биться, как в старых сказаниях бились.
Те дни развеяны ветром. Он держит в руках теперь саблю —
Сегодня он в ход ее пустит, и это надолго запомнит.

Он ждет приказаний Лонгстрита: ни слова Лонгстрит не молвил.
Но Старого Питера¹⁷² мысли — в его выражении рта.
И Пикетт задачу понял: он знал, кого поведет он.
Лицо его стало гордым. Молча стоял Лонгстрит.

„Я выступлю, сэр”, — сказал он и повернулся к солдатам. Ряды подхватили команду — и двинулись серых колонны — Неспешно, потом быстрее — ступая оленьим шагом — Пятнадцать тысяч виргинцев, седьмая волна прилива.

Пройти им мило ухабов — путь, развороченный смертью, И низкую стену из камня — за нею Второй был корпус, За корпусом — свежие силы, что в битве еще не бывали. Виргинцы пошли в атаку, и пушки их стали рвать.

С холма, говорят, не на волны, а было на море похоже, И море без усталости рвали камни, летящие с неба, Но все же — смыкаясь — смыкаясь — текло оно дальше и дальше, Как над прилива провалами море, смыкаясь, бежит.

Их путь на всем протяжении отмечен телами убитых, Что сыпались в гиблой атаке, как с воза мука на дорогу. Уже не пятнадцать тысяч — но все же они наступали, И флаг Виргинии синий не падал, не падал, не падал!

Они только раз задержались, и выстрелив — в дыме пропали. Их больше не было видно, но дым прояснился на миг — И снова они наступают, но синие в них вклинились, Один из их флангов сломан, но центр идет как прилив.

Кашинг¹⁷³ последнюю пушку подвинул к линии фронта, Ли раскрошил остальные артиллерийским огнем. К стене подходила атака, а Кашинг, кишки обхвативши, Успел еще залпом ответить, прежде, чем наземь упал.

Армистед¹⁷⁴, вспрыгнув на стену, руку кладет на пушку. Последний из трех бригадиров у Пикетта под началом, — Он шляпой на сабле машет — „А ну-ка, поддай им жару!” Но следом за ним только кучка — все ранены или убиты.

Следом за ним только кучка — а было пятнадцать тысяч, Когда шло море в атаку на стену и горный крючок. Шли они в полной мощи, ступая оленьим шагом. Их убивали, хватали. Железо вошло в их плоть.

А Ли был в миле оттуда, в тени небольшого леса, Смотрел он, губы сжимая, и видел их натиск и смерть, И видел потом на мгновение, как флаг был виргинский воткнул Рядом с другим — знакомым — с другой стороны стены.

Два флага посажены вместе враждующими цветами. Потом их окутало дымом — когда ж рассеялся дым — Был Армистед в луже крови, убиты и смыты другие, Долина от тел посерела, от рушащейся волны.

Пикетт вокруг осмотрелся — мальчик, мечтавший о сабле И говоривший с Линкольном. Сабля в руках у него. Их было пятнадцать тысяч. С пятью он вернулся с атаки.

Вингейт ожидал клича южан,
Который их бросит на вражий стан;
Нежно поглаживал он конягу
И думал: не дашь ли ты, серый, тягу,
Как драка начнется, иль струсишь слегка?
Был страх у коня в кружочке зрачка.
Но Клея не удивил этот взгляд —
Он видел его в глазах у солдат,
И он говорил: „Не робей, Толстячок,
Нашей беде не настал еще срок,
А будешь послушным — останемся целы,
Хоть, кажется, будет горячее дело, —
Неладное что-то в затее всей ...”

Он вспомнил Люси в свете свечей.
Была она белой и золотой,
Была вечерней она звездой.
Всем бойцам, уходящим в поход,
Яркие ленты она раздает.
Но облик ее все становится мгlistей,
Стирается, хоть он еще золотист, —
Как будто он красится мрачною кистью
В цвет, что для дам не берет портретист, —
Пока тень от Люси не стала багряной.
Глаза протерев, он глядит на поляну ...

„Когда-то я с девочкой вместе рос
В краю, где свод небесный прохладен.
На дереве мы отмечали наш рост
Аршином, который был нами украден.

Для прятков пещера была у нас,
Был пруд, в котором ветер купался.
Опоссуменка поймали мы раз
И заперли в клетку, хоть он кусался.

Я помню — в заборе там был пролом,
Друг с другом там вечно ссорились птички.
Любила бывать она в месте том —
Смуглая, тонкая, в длинных косичках.

Смуглая, тонкая, в сбитых туфлях,
Крепко рогатка зажата в ладони.
Острый как жало язык — а взгляд —
Духа в серебряном медальоне.

Белое с золотом, белое с золотом —
Ваш холод нельзя сравнить с ее холодом,
С холодом воздуха, с холодом дна,

С холодом обледенелого сна.

Золото с белым, золото с белым,
Вы — как свеча с пламенеющим телом.
Но что, если вас я поставлю рядом
С метеоритом, со звездопадом?

Дуй, ветер, на север, дуй, ветер, на юг,
Ветер зноя и ветер вьюг —
Все равно обещано тело
Золоту с белым, золоту с белым.

Честь моя — это семья и род,
Меня уже саван судьбы моей ждет.
Сердце -- на ключ! Рука — для щедрот,
Пока Вингейтовский дом живет,
Пока жжет огонь, а вода холодит,
Пока дурак дурака плодит.

Но в эту минуту, за час до боя —
Забыл я белое и золотое,
Я радость зову, что утеряна мною.
Как будто у ней — эппельтоновский рот,
Садится в седло она как Эппельтоны,
Но если мечтает она иль взгрустнет —
Проступит сокрытое в ней затаенно.
На сутки может засесть за шитье
И выглядеть так, как из гипса святая,
Но только лишь скрипки послышится звук —
Взыграет и сердце у ней, и каблук,
И грация в ней проснется иная,
И делает сразу же схожей ее
С французом-отцом, шалопаем и хватом, —
С учителем танцев Дюпре, что когда-то
Не в добрый свой час появился на Юг.”

Но вот запела труба эскадрона —
И стал он частью мчащего звона,
Сшиба сабель, взмахов, рывков ...
Падают кони, топча седоков ...
Но лошадь Клея утомлена,
А рука нетверда, рука неверна,
И сам он — как лист в кружащем полете,
Как лист в визжащем водовороте ...
Каждый с соседом тут сводит счеты,
Тут не нужны фехтованья красоты!
Тут только место дикой резне.
Чувствует Клей — голова в огне,
И по глазам его что-то течет —
Но вот они бросились вновь вперед
И дымом развеялся водоворот!
Но из-за раны в голову он
Наполовину был ослеплен,

И если сознанием он обладал,
То это сознание он потерял.

На поле битвы в себя он пришел.
Глядит — перед ним Вейнскот Бристол
С лицом, похожим на маску хорька,
В крови запекшейся вся щека!

„Что с нами?“ — он хрипло спросил Вейнскота.
„Спрашивай, если тебе охота,
Но только не я, — прощедил Вейнскот, —
Дам об этой пирушке отчет.
Мы на ирландских были поминках,
Или делили лепешку с начинкой
С вражеской конной сплошной стеной, —
Не знаю, но мы занимались войной!
Ты все еще бредишь? Ты поднял тут склоку,
Что ты — прямая племянница року,
Всех янки грозил ухлопать в бою
За то, что украли зазнобу твою.
Ты бился как лев, и нес ахиною,
И шишку стяжал.“

Улыбка у Клея:

„Не помню. Должно быть. А как бы узнать —
Мы верх одержали?“

Мрачно опять
Бристол говорит: „От меня отвали,
Спроси генерала Роберта Ли.
Я знаю, что будем мы ночью в походе;
С фланга того нам всыпали вроде,
Остаток отряда к дороге идет,
Убиты Джон Лейстер и Гарри Спод,
И братья Лоули, и Баллантайн
Майор невредим — но Джим Дивайн,
Но Кэррол, но Вайт — никого не осталось!
Эх, я бы сегодня выпил хоть малость!“

Вингейт до раны дотронулся чуть:
Горит, но присохла. „Пройдет как-нибудь!
А я лет на десять хотел бы уснуть!“

Ночь третья наступила. Бой окончен.
Ли на хребте копает Семинарском окопы этой ночью. Продолжают
Лицом к лицу две армии избитые стоять весь следующий день,
Как заколдованные звери.

Ли думает, что будет атакован,
Возможно — он надеется на это. Атаки нет. Готовит отступление.

Пал Виксбург, пал опустошенный Виксбург,
Пещерный люд из щелей вылезает и жмурится на солнце.
А чаша Юга на весах все ниже, ниже ...

Хлопок увядает.

Виргинии Северной армия — оборвана, истощена —
Плетется назад по дорогам в летней белой пыли,
В свежих раненых еще, с обузою пленных,
С обузою раненых и заболевших в пути, —
„Страдания людского сплошной протяжный стон длиной в шесть миль.”
Ты наконец достигла бурлящего Потомака.
Враг — позади, а впереди — река в разливе,
И эту набухающую реку пересекая вброд, в неясном звездном свете,
На желтой ранней зорьке —
Хватает еще духу у тебя, чтоб пошутить:
Солдаты долгоязыые твои поддразнивают низкорослых,
Почти одолеваемых потоком.
„Давайте-ка, ребята, переименуем название на „Волнорезов Ли!”
„Валяй, сморчок, — садись ко мне на спину!”
„Да нет же, просто мы семь лет уже не брали ванны,
И генералу Ли известно, что надо нам помыться хорошенько!”

Так ты барахтаешься и скользишь в воде, и наконец достигла
Ты южной стороны. Мид в это время не нанес ударов.
Ты уцелела для других дорог. И по знакомым будешь ты дорогам
Идти еще два долгих года. И все же все твои дороги —
Любая пыльная дорога — ведет теперь к Аппоматоксу.

КНИГА ВОСЬМАЯ

Теперь уже конец, но не дают концу они свершиться.

Конец был Джону Брауну, когда на солнечном восходе
Увидел он вооруженный город и не кинулся бежать.
Но и потом убиты были люди еще до наступления конца,
А Браун жил еще до той поры, пока ноябрь совсем не стал холодным —
... На землю в сумерках голубовато-серых с деревьев листья желтые
летят,
И кружат и разбрасывают их ноябрьские начавшиеся ветры ...
Вот так Конфедерация теперь —
Больна смертельно, но еще живет, и будет жить еще
Двадцать один отчаянный и гордый месяц.
Полунадежды гаснут в тот же миг, когда их высекают героическим
ударом,
Который не приводит ни к чему, и смерть за смертью следует вплотную.

Кто должен и кто может — пусть за агонией следит
По наименованиям чащ и по следам кровавым в дебрях леса:
Колд-Харбор, Йелло-Таверн, Споттсильвания¹⁷⁶,

Все здания судов, все сельские лавчонки,
Затерянные в Вилдernesе¹⁷⁷, там, где шли ожесточенные бои
(Боев ожесточенней не бывает); держитесь заячьих тропинок
В непроходимых дебрях, где волосы у раненых солдат
От веток пламенивших загорались, и где лежали раненые в топях
Как полуобгоревшие поленья — найдите эти „адовы полакра”,
как с тех пор
зовется это место¹⁷⁸.

Прислушайтесь к индейским именам на Западе индейском —
Чаттануга, Чикамауга — и ко всем словам,
Что вышиты на флагах и выбиты на камнях арсенала.
Отрывистый рассказ мой не вместит всех очертаний мира,
И даже очертаний всей войны с начала до конца —
Он — как тотем резной, раскрашенный тотем
С изображеньем некоторых тварей, небес и человеческих личин,
Что ночью мне покоя не давали,
Пока я их не воплотил.

Поэтому послушаем теперь
Сквозь бурю, сквозь бои, сквозь слухи и сквозь скрежет
Военной мясорубки — эти звуки и эти голоса.

Вот на скамейке ричмондского сквера
Сидит работница, и дама рядом с ней, и разговаривают о войне,
О ценах и о пище говорят приглушенными голосами.
Обеих мучит голод. И каждая потом идет своей дорогой.
Но дама спрашивает что-то на прощанье.
В ответ работница, подняв рукав на платье,
Показывает даме жалостную кость руки.

Грант за своим последним назначеньем приехал на Восток.
Отныне он — главнокомандующий армиями всеми.

Пять лет прошло с тех пор,
Как он сидел у печки со стаканом в лавчонке сельской,
Приземист, молчалив, в шинели полинявшей,
Из Грантов старший, считавшийся семейной неудачей.
Теперь уж целую неделю сверкает он в парадной форме полной
С шнурами золотыми, с пером на шляпе черным и в синей изумительной
шинели.

Подтянуты, с иголочки одеты — с ним говорят с Востока джентельмены.
Он только раз такой парад себе позволил.
Когда же начинаются бои — потухшую сигару он сосет;
На чин его указывают только потрепанные звезды на погонах
Его солдатского мундира.

Колд-Харбор мрачный. Атака северян не удалась.
Отброшены со страшною резней. Спустились сумерки.
Пронесся слух, что вновь идти в атаку,
Хотя все знают, что она не выйдет и пользы никакой не принесет.
Встревоженный проходит офицер по лагерю ночной порою.
Ни разу не было за эти годы бунта,
Но в этот раз он опасается. Чем заняты солдаты?
Он видит, как они в молчаньи пишут имена свои
На тряпочках, и пришивают эти клочки ткани

К тужуркам, пока могут это сделать, пока не брошены в атаку.
Когда они погибнут завтра утром, то кто-нибудь прочтет их имена.
В ночь, в середине месяца июля, у Пикетта родился сын.
Две армии стоят лицом к лицу. И Пикетта солдаты
В знак торжества вдоль всех своих кордонов зажгли костры,
И из палаток лагеря другого костры эти видны.
Грант и его начальник штаба слышат весть.
„Что ж, — спрашивает Грант, — дров не найдется для маленького Пикетта у нас?“

И вот в честь сына Пикетта костры уже позажигали северяне.
— Ночь напролет две линии костров — одна против другой —
На следующий день серебряный сервиз младенцу шлют они,
А приблизительно спустя неделю на укрепления Пикетта пойдут.
Игрушечные маленькие лодки выходят на замызганную реку.
Солдаты занимаются обменом: меняют кофе на табак вонючий
И северный шеврон на южный сувенир,
И хлеба белого ломоть — на кукурузную лепешку.
И северянин лейтенант переплывает ночью реку,
Чтоб побывать на южной вечеринке, устроенной в лавчонке деревенской,
Побалагурить с девушками и поплыть назад, чтоб на другой же день
С гостеприимными хозяевами драться.

А по земле ничейной

Одетый в серое солдат ползет как уж.
Его заметив, северные часовые пошли стрелять.
„Да ну, заткнитесь, янки, — он голосом усталым говорит, —
Я вылез для того, чтоб отыскать тут шляпу капеллана, —
Нет у него другой, а эту ветром только что снесло.“
Стрельба прекращена.

„Ну ладно, Джонни, — отвечают часовые, —
Бери-ка свою шляпу, да живей! Тебя не тронем!
Но чтоб тебя тут не было, когда заступит смена нас.“

Снайпер южный, сидящий в эвкалиптовых ветвях,
Фигурку крохотную в синем продырявил
Горошинкой как раз между глазами
Из гладкоствольного ружья для белок.
И брат убитого три дня приберегает выстрел,
И наконец, ломая ветки, снайпер рухнул вниз,
Как выбитая из гнезда
Глыбастая распластанная птица.

Плачевная осада Питерсбурга¹⁷⁹.

Зерно сперва исчезнет, а потом — не станет кошек и мышей пискливых.
Худые кошки, с голоду сдыхая, по улицам влачатся.
Они сдыхают, или их съедают. Не стало больше кошек в Питерсбурге.
А в Чарлстоне трава подобралась до самых пристаней,
Куда со всей земли суда спешили.
На камнях пристаней — трава и мох.
Джорджийская красавица вкушает шербет в окрестностях Андерсонвиля,
Где северные пленные гниют. Другая плачет
О брате, что убит, когда была атака северян.
А трубы фабрик северных дымят — и все дымят;
Хоть пародисты негритянских песен цены повышают,

Но все же Бонс и Тамбо каждый вечер
Играют в переполненном театре.
Полны отели. Немецкой оперы гастроль. Четверкой правя,
В Ньюпорте дамы разъезжают.
Старуха продает газеты с новостями о войне,
И вдовы в захолустьях берут на траур грубый матерьял.

В долине Шенандоа гниют колеса мельниц¹⁸⁰
(Там Шеридан прошел) ; там, где дома стояли, —
Солидные дома, построенные так, чтоб одолеть ненастье, —
Остались только трубы. И трубы почернели.
(Там Шеридан прошел) . В течение многих лет
Для войска Ли зернохранилищем была долина эта.
Докладывает Шеридан о деле завершнном.
„И если ворона пролететь захочет отныне над долиной —
Ей провиант придется брать с собой”, — заканчивает Шеридан.

А тот человек одинокий, чей подбородок
Схож с подбородком Джона Кальгуна, —
Знает, что кончено все, но сознаться в этом не хочет.
От него отступились многие в эти последние годы.
Он ошибается. Он неподатлив. Тоскливо ему.
Он недостаточно гибок с судьбой и людьми.
Кончено все. Быть не может, чтоб кончено все. До конца он дерется,
Одержимый последней мечтой, что каким-то образом, где-то
Совершится последняя битва — чудесная битва:
Он возглавит крыло Южной армии, Ли возглавит другое —
И там они вырвут победу от гибели на волоске.
Почему это только мечта? Он большую стратегию знает,
Опытным в Мексике он считался военным,
Он военным министром был раз.

Он такой же начитанный, строгий
Человек, как и тот, кого мы знаем и видели в месте другом;
Ему широты не хватает того человека,
Но та ж у него одержимость одною идеей,
Те же сжатые губы, и также есть идеал,
Воле которого жизнь подчиниться должна целиком
Или разбиться в куски — это лучшее в нем.
Мелочен он, но мелочность в нем не мужская:
На мелочность старой девы похожа она,
Умной и острой, но и сварливой,
Вечно слегка нездоровой, зато долголетней.
Есть злопамятность в нем, присущая женскому полу;
Женщины будут всегда лучше его понимать, чем мужчины —
Кроме немногих мужчин — вопреки мексиканским походам
И вопреки этой самой отчаянной, самой последней воинственной грезе.
Если б взял на себя он задачи, которые взял на себя тот другой человек
кабинетный, —
Он не снес бы их с тем же искусством и с тем же величием.
И все ж — можно сходство увидеть.

Итак — он мечтает теперь
Безнадежно о битве, в которой ему никогда не сразаться,
И, если до худшего дело дойдет, — о гибельном миге последнем

На щите, как поведал Плутарх.

Тому никогда не бывать.

По ошибке — жены своей плащ он захватит за миг до того,
Как возьмут его в плен — и с плащом его этим увидят.
Человек этот гордый предстанет фигурой из фарса, из жалкого фарса
Перед кучкой зевак туповатых.

Он глаза прикрывает рукой,
Чтобы дать им на миг отдохнуть, и опять за работу берется.

Человек худощавый — Линкольн — живет день за днем.
Одно время над ним угрожающе тучи сгустились.
Пятьдесят тысяч убитых за последние жесткие месяцы эти,
А все еще Ричмонд не взят.

Газёты кричат,

Что войне не будет конца, Гранта зовут мясником.
Человек худощавый уже завершает свой срок президентства,
И друзья его лучшие всяких сомнений полны и раздумий.
Он и сам временами считает: когда выборам срок подойдет —
То не будет он переизбран. Он думал об этом, не дрогнув.
Он бумагу составил и собственноручно печать приложил.
Его весь кабинет, не читая, ее подписал.

Он бы мог многословно

Исторически обосновать оправданье падения мощи своей.
Но он написал очень кратко, строго следуя здравому смыслу:
„Мы не будем, по-видимому, больше править этой страной,
А раз так — то должны мы, пока у нас есть еще время, сделать все, что
возможно,

Чтобы план разработать совместно с правителями, что придут после нас, —
Как вернее спасти нам Союз прежде, чем они к власти придут,
Так как выберут их на таких основаниях,
Что им никакими путями его не спасти,
Если наши места уже будут заняты ими.”

Но в конце концов все-таки тучи рассеялись. Вести пришли,
Что еще на четыре года ему обеспечен пост президента.
Он задумался. Он говорит: „Что же, видно, решили они,
Что не стоит менять лошадей посредине реки.”
Уже дезертиры бежать начинают из армий южан ...

Как-то солнечным утром проснулся Лука Брекинридж —
Один в придорожной канаве и снова голодный,
Хотя голодать уже было ему не в новинку.
Взглянул на ружье и подумал: „Да, надо б почистить!”
На ноги взглянул и подумал: „Да, надо б достать
Другие портянки, если придется еще нам
Порядком маршировать — эти до кожи протерлись.”
На ребра свои поглядел сквозь прорехи в грязной рубахе.
„Ну, что ж, — он подумал, — и вправду я тощий как бритва.
Нет спору, что все это так. Что ж, надо бы что-то придумать.
Ребят хорошо бы догнать. Хотел бы я знать,
Когда я вчера из строя ушел? Ну что же, —

Если сейчас я пойду, — догоню их наверняка.”

Но когда он поднялся —

Он взглянул на дорогу — и увидел следы проходивших дорогой солдат —

Ноги, что пылью прошли и желтою грязью,

Ноги, что вечно шагают —

Он след их увидел —

И как-то вдруг очень устал.

Усталым бывал он часто после сражений,

Но это была иная усталость.

С минуту или больше стоял он и голову тер,

Как будто какую-то мысль, что медленно зрела в сознании, стереть он пытался,

Да только она не стиралась.

„Я рядом совсем, — он подумал. —

Отель только в миле всего, если Софи еще только там.

Отпуск они не хотели мне дать, когда я попросил;

Времени столько прошло ”

По дороге в дощатый отель

Лука продолжал бормотать: „Я ребят еще догоню.”

Но была уже мысль в нем другая — настолько смутная, что и мыслью назвать ее трудно,

И она бормотанье это смывала, топила его, оттесняла назад.

Открыта была наружная серая дверь. Не было там никого.

С минуту он молча стоял и смотрел, как падало солнце

В приотворенную дверь, и, как лужа, лежало на пыльном полу.

„Софи!” — позвал он. Чуть подождал и вошел.

Мухи жужжали над грязной посудой в столовой;

Только кругом ни души. Он почувствовал сразу усталость.

Он по лестнице стал подниматься. „Эй, Софи!” — позвал он

И прислушался. Слышен откуда-то маленький звук,

Точно пыльная крыса по пыльной, обрызганной солнцем

Бежит половице. Он почувствовал силу в руках.

На втором этаже очутившись, он хлопал дверьми,

Из комнаты в комнату тысячу пустую, и — „Софи!” — кричал.

Наконец он наткнулся на дверь, что была заперта,

И плечом ее выломал с треском. Софи лежала в постели,

До подбородка укрывшись вся покрывалом..

Ее руки худые вцепились в край покрывала.

„Здесь ты, Соф”, — он сказал.

„А, — сказала она, — это ты.”

Посмотрели они друг на друга.

„Остальные, — сказала она, — разъехались все.. Вчера вечером все укатили.

Постояльцев совсем не осталось у нас. Негр сказал,

Что сюда идут янки. Не было места в повозке у них для меня.

Они мне сказали, что временно здесь я остаться могу —

Присмотреть за отелем. А если хочу, то пешком уходить.

Мистер Поллет, я думаю, спятил —

Все, пока выезжали они, разговаривал он сам с собой.

Раньше я никогда на кровати такой не спала.
Я не знала, что можно так мягко спать на кровати.”

„Башмаков, — он спросил, — никаких не оставили тут?”

Она головой покачала.

„Ты, я думаю, можешь на тряпки порвать одеяло, —
Они, думаю, против не будут.”

Лука ухмыльнулся по-волчьи.

„Да, я думаю, против не будут. Попробуют пусть!
Нет ли тут хоть чего-нибудь съесть? Я голодный как черт!”

Они съели ту пищу, что ей удалось разыскать, и она ему ноги обмыла,
Заматавши их в свежие тряпки.

„Ну, на время сойдет, — он сказал. Взглянул он на тряпки. —
Что же, Софи, пойдем, — нам далеко идти.”

Посмотрела она на него, широко открывши глаза, и
сказала:

„Говорили, что янки идут; что ж — окончилась, значит, война?”
Он сказал: „Башмаков не носил я, Бог знает, с каких уже пор.”
Он сказал: „Если б сплошь были Келси одни, то куда бы ни шло.
Я теперь башмаки раздобуду, растить урожай я примусь,
А когда мы вернемся домой, кабана мы зарежем, —
Там всегда есть в горах кабаны.”

„Ладно”, — Софи сказала.

„Ну что ж, собирай-ка свое барахло”, — сказал он.

У нее было мало вещей.

Так два дня они шли, и никто их не остановил.
Софи славно умела ходить для худышки такой.
Он сказал ей: когда заживут они дома — она потолстеет.

Под вечер третьего дня, когда подвигались они
По пустынной дороге — конский топот она услышала.
А Лука еще раньше услышал, и понес по-другому ружье.
Офицер показался. Молодой, с изнуренным лицом.
Стары были в орбитах глаза. Осадил он коня.
„Не туда ты шагаешь, солдат. В каком ты полку?”

Стали узкими сразу глаза у Луки. „— атый Виргинский”, — сказал он с
растяжкой.

„Но я в отпуску.”

„Гм, — сказал офицер, —

Отпускное свидетельство есть?”

Рука у Луки

Скользнула к курку. „Вот, — сказал он, — это и есть моя отпускная”,
Ладонью другой руки поддерживая ружье.

Сам с собой офицер, казалось, мысленно спорил
В течение долгого мига. Затем он в молчании дальше поехал.
Лука проследил, пока он не скрылся из вида. Когда он исчез —
Рука соскользнула с курка. Ружье перешло на плечо.

На узкую палатку пала ночь.
Виргинским летом ночи глубоки,
Когда на томном низком небе звезды
Как воск горят, а мягкие цветы
Почти не закрываются ночами,
Купаясь в тьме, как женщина тайком
Купается в душистой теплой влаге ...
Цветы, что продолжают лить свой запах
Без солнечного пламени. Как спят
Все армии — так армия спала.
Война, казалось, на короткий миг
На стог случайный мира прилегла,
Доспехов не снимая, и однако
Она спала по-детски глубоко,
Была такою тихой, что, казалось, —
И часовые даже на постях
Как призраки шагают — этой ночи
Под стать.

На память помнил адъютант
Кое-какие греческие строки
И вещи бесполезные другие,
Как например — знал музыку и птиц,
Что может пригодиться в мирной жизни,
Но вовсе непригодно для войны.
Он юношей с пытливым был умом,
И несомненно склонный к романтизму, —
Ведь не было ему и двадцати,
А иногда такие недостатки
Простить мы можем людям молодым,
И даже, если эти люди гибнут,
Как это сплошь и рядом происходит
Во все века, и за такое дело,
Которое, как объяснять мы любим
Им много лет спустя, не стоит вовсе
Того, чтоб за него им погибать,
Но мы своими доводами тронуть
Не можем их, поскольку люди эти
В малопригодный превратились прах.

Итак, когда подъехал он к палатке,
То, как собаке, спать ему хотелось,
— А все-таки — и звездное сиянье,
И запахи все, слившись воедино,
Зашевелились в сердце у него,
Как музыки бесцельные мотивы,
Что с облака сиявшего упали
На воду потемневшую.

Хотя

И у него хватало мыслей горьких,
Чтобы копаться в них, а нужно было
Доставить донесенье до того,
Как спать идти, — все ж он остановился.

Он силуэт увидел в желтом свете.
В ночи светилась выдолбленной тынкой
Палатка с четкой черной тенью в ней
Сидящего мужчины – видел профиль,
Напоминавший профили скульптур.
Ли у себя в палатке был один.
И он в руке держал бумагу-тень,
Но, видимо, он не читал ее.
А если и о чем-то думал он –
То мыслей у него прочесть нельзя,
Их даже уловить нельзя как тени,
Каков бы ни был сам источник света.
„Его лицо узнаешь среди миллионов, –
Подумал наблюдатель неподвижный, –
Но волосы его и борода
Так побелели, как тот белый терен,
Что на пути к Чанселлорсвиллю цвел,
Когда был Джексон жив, и молодыми
Мы были, и когда мы побеждали,
И близок был конец. Теперь, должно быть,
Конец совсем уж близок, что бы мы
Ни делали, и этой ночью он
Один, и нету Джексона в живых.

Его я видел в Вилдернесе; он
Хотел-было атаку сам возглавить,
Но не пустили в бой его солдаты.
Сначала Гордон, а затем и сами
Солдаты закричали: „Ли – назад!
Скорее генерала Ли – назад!”
Всю жизнь я буду слышать эти крики
И видеть эти руки, что хватались
За лошадь Ли и за ее поводья,
И царственное это изваянье
Оттаскивали силою от смерти.
Мы высоко вас ценим, масса Роберт,
Как видно, мы о вас такого мнения –
Мы – или то, что тут от нас осталось,
Тот жалкий сброд, что тут от нас остался.
Что сам он думает об этом всем?
Он ни на что не смотрит, – просто так
Сидит. Я до сих пор не знал, что может
Быть человек так с виду неподвижен –
И в то же время так исполнен жизни,
Как он в невозмутимости своей.

Как будто – дело проиграть не может,
Раз верит в дело человек такой, –
И все же мы проигрываем дело.
И он все это знает. Нет, не скажет
Он это никогда. Но знает он.

Пошевелись он — мне бы стало легче.

Да, шанс был в Споттсильвании у нас,
И в Вилдернесе кой-какие шансы.
Мы северян всегда сильнее били,
Чем нас они — и все-таки мы здесь,
Они же продолжают наступать.

Что заставляет нас идти вперед?
Хотел бы знать я ... Может быть, когда
Такого человека видишь ты
Вперед идущим — что-то заставляет
Тебя за ним идти.

Немного, верно,
Таких людей найдется на земле,
Вослед которым люди так бы шли.

И все-таки — к чему, к чему все это?
Что думает он?

Неподвижно руки,
Как камни или тени, на колени
Легли, а борода его блее,
Чем белый терен, — но в его лице
Нет разрушений, а в его глазах
Уверенных нет и следа разгрома.
И если он стареет — то не так,
Как человек, — а как река стареет.

Мать на балах его когда-то знала.
И говорит она, что он любил
Шутить, и был тогда темноволосым;
Он темен был и прям, как прям сегодня.
Пошевелись он — я б тогда вошел.

Вот лица копыеносных тех царей,
Которых помним мы по школьным книгам:
Вот Агамемнон с бородой курчавой,
Ахилл в жестокой юности своей,
Эдип, еще не вырвавший глаза.

Его б средь этих колесниц увидеть!
Пусть будет Путешественник в упряжке
Передним — когда когти на крылах
Опустятся — не думаю, что им
Удастся стон исторгнуть из него.
Так под когтистой сенью мы идем
Вперед. Он — впереди, и мы за ним.

Чуть-чуть пошевелился четкий профиль,
И адъютант пошел представить рапорт.

Выезжает из мира за годом год — как гонцы, спешащие к трону.
Он слишком далек, чтоб с ним пакт заключить, иль он гордостью слишком
надут.

Есть годы — как кожа и кости одни; есть годы, звездой озаренные.
Годы уходят в ночь как послы, которых на облако шлют.

Спешатся, может, они наконец, сыскавши на небе кольцо.
Спешась, коней привязав, пойдут, латы надев боевые,
К королеве пиратской воздушных пространств, принимающей странных
гонцов

Под деревом мудрости — там, где с ней — мертвые и живые.

Иль может быть — белой пеной с удил годы пропали где-то,
Но вечно сверкающий шум их езды — в наших ушах с тех пор.
Людам, попавшим в лабиринт, вовсе не зная об этом, —
— Находить и терять под копытами лет, что скачут во весь опор.

Но все пройдет, потерявший найдет, а нашедший утратит снова.
Заблуждения, ненависть и любовь, лабиринтовы все тайники.
Счастливыцы есть, неудачники есть, но нет надежной основы.
Года не вернутся, — но тут и там нам выпадают деньки.

Дни, когда солнце светило так, что крик исторгало из статуй,
И женщина шла, веселья полна, и птица крыльями встряхивала,
И струю выбивал ударом жезл из камня, что высох когда-то,
И плуг спускался с холма — и под ним земля свою грудь распахивала.

Вмиг попадается птица — и птица вмиг ускользает.
Этим лет не удержишь. Тот, кто теряет, и тот, кто находит — ждет.
Двигутся годы к закату, высокие годы далеко - далеко мелькают,
И каждый — мешок с новостями у призрачных сложит ворот.

Сердца сотрясают нам всадники стуком подков неумолчных.
Ужель вы не станете мрамором — руки скрестивши на грудь?
В ногах у скончавшихся мирно — пускай улягутся гончие,
А кое-кто — с львами уляжется.

Вам время пришло отдохнуть.

Джон Вайлас чуть прищелкнул, понукая
Мешок цинготный, впряженный в оглобли.
Расшатанная двигалась телега
Усталым насекомым, чуть скрипя
В пыли дорожной. Сзади день остался,
И множество лежит их впереди,
Развертываясь, как рулон текстильный
С рисунком, отпечатанным на ткани:
Изгибы изгородей, нив, ручьев,
И тут и там — фигуры верховых,
Лесной ручей пересекавших вброд,
И в серебре медлительный восход
Большой звезды над одиноким лесом,

Костра сосновый запах, пумы крик,
И теплота сарая, что молочным
Дыханием пропитана коров;
На муле волосатый проповедник;
Румяная хозяйка, вслед за ними
Бежавшая, неся еще горячий
В печи поспевший яблочный пирог,
Со старика не взявшая ни цента.
Он так держал залатанные вожжи,
Что Времени косою они казались —
Огромною, качающейся тихо.
— Старик, ты — Время, ты, с детьми своими
Последними, в тележке дребезжащей —
Вы чересчур бедны, чтоб кражей жить,
И чересчур стара, чтоб умереть —
Худая лошадь, что волочит вас
По выбитой колесами дороге
День изо дня назад на твой Восток.

Они в поселках становились притчей.
В те дни скитальцев странных было много:
Отпущенных солдат, пешком на Запад
Идущих в выцветших армейских блузах,
Поющих песни странные; героев
И курокрадов, честных и лгунов,
Кто — в застарелых ранах, нывших в дождь,
А кто — кичась раненьями, которых
Вовек не получал, семь раз подряд
Сбывая их за каждой новой стойкой;
Войною с меств сорванные семьи,
Беспечные, которых понесло
Как перекасти-поле по дорогам,
Кормившие всклокоченных детей
Бог знает чем — и рядом был всегда
Свирепо ошетилившийся пес,
Голодный и бежавший под фургоном;
Барышники, и люди, от призыва
Бежавшие; жулье, цыгане, люди
Сомнительных занятий, что плодятся
Как мошкара по зарослям войны;
С набором трав полубезумный лекарь,
Развозчик патентованных лекарств
С гармошкою и шелковым цилиндром
Чернильного оттенка; продавцы
Бальзама из змеиноного отвара,
Колес на счастье; и скиталец тот
Простоволосый, сумасшедший, старый,
Который на амбарах выводил:
„Бог есть любовь”, а на граните скал —
„Готовься встретить твоего Творца”;
Затерянные племена, народы,
Кочующие дико по дорогам;
Все те, кто непоседлив, неприкаян,

Летит, гонимый ветром беспокойно —
И будет так лететь, пока последний
Вконец изголодавшийся барбос
Последнего на свете не облает
Раскормленного фермера, и сам
Не ляжет с дробью, разорвавшей сердце
Голодное, и медленные годы
Не обглодают начисто барбоса
И малый храм костей не превратят
В прах, ветром перетряхнутый настолько,
Что больше ветру нечего развезть.

В дороге беспокойный люд встречался:
Бродяги сумасбродные, скитальцы
Все время забредали в городки,
Но ненадолго: колесо поправить
Иль починить башмак, поспать, поклянчить
Или размножить заповеди Божьи —
И снова в путь.

Но если эти трое —
Джон Вайлас, дочь его, ее ребенок —
Похожие на Время, что улитки
Влекут дорогой пыльной — подъезжали, —
Молва о них опережала их.
Такое что-то было в их повозке
Скрипучей, в кляче тощей иль в глазах
Хозяина ее, что превращало
Их странствие в легенду. Наконец
Распространились слухи, что Джон Вайлас —
Тот самый Вечный Жид, который бродит
По свету каждый раз после войны,
Но на войне не гибнет оттого,
Что вечное лежит на нем проклятье;
Что он — тот самый шкипер, что привез
Рабов впервые; будто он — Джон Браун,
Восставший из-под камня своего;
И был он барабанщиком, пропавшим
В бою при Валли-Фордж, в снегу замерзшим
И обреченным с той поры блуждать, —
Старик ужасный, бьющий на ветру
По барабану - призраку. Твердили,
Что он — десятки призраков различных,
И долго говорить опасно с ним,
Но досадить ему — призвать себе
На голову несчастье, потому что
В конце концов вот этот человек
Был Временем, согбенным под косой,
Седоголовым Временем, везущим
И дочь, и сына дочери куда-то
Подальше от войны, туда, к каким-то
Чугунным и решетчатым воротам,
Где свалят бремя наконец они, —
Войны всей бремя, всех несчастий бремя

На дерн зеленый, на могильный холм
На скалах в Новой Англии, над морем.

О женщине другое говорили, —
О женщине с огромными глазами,
С лицом — сердечком, что по городкам
Скитаясь, своего солдата ищет.
О ней рассказ переплетался с каждым
Рассказом про такую же судьбу,
Что в сумерках, за спущенною шторой
Передавали женщины, пока
Она не стала легендарной тоже,
Как песня, что под буковую скрипку
Поется, как все старые баллады,
Которые никто не записал;
Они — сама страна, но ни поэту,
Ни музыканту не принадлежат —
„Дэн Такер” иль „Из Албани красotka”¹⁸¹,
И девушка, что от любви скончалась
Средь чащи леса, и Барбара Аллен
С жестокостью и гордостью своей.

Итак, Мелора сделалась мотивом,
Который на гармонике играет
Слепой старик в дощатом кабаке;
И песенкой для гребешка, для банджо,
Варганчика; мотивом скрипача,
Залезшего на ящик из-под мыла;
Той музыкой, что раздаётся там,
Где квакает древесная лягушка,
И слышен крик сверчка горячей ночью
В июне. И, сама того не зная,
Она легенды оставляла след,
Как яркий алый всплеск кистей рябины, —
Везде, где кляча тощая прошла,
И наконец те люди, что о ней —
О ней, живой, немногим больше знали,
Чем о таких далеких существах,
Живущих в песнях, как „Дочь Джея Гульда”,
„Коломбо”, „Маленький Масгрейв”, „Лорд Рендалл”;¹⁸² —
Узнали все же столько, чтобы петь
О ней, связавши с именем Мелора —
Мотив минорный, капающий тихо,
Мотив земли, мотив воды, печаль
Цирюлен деревенских, ту, что вьется
Над холмиком могильным Джесси Джемса¹⁸³,
Над прерией, там, где погиб ковбой;
Отчаянный минор тюремных песен,
От грусти томных; и напев печальный
Баллады о трагическом конце
Тех, кто любили слишком сильно, чтобы
Сносить таких отцов жестокосердых,
Но так любили, что и в смерти самой

Шиповник вырастал из их сердец,
В любовный узел заплетясь — на диво
Всем деревенским людям. Это грусть
Всех сиротливых, сгинувших баллад,
Что мы, создав, презрели, потому что
Они землю пахнут; а теперь
Мы стали вновь искать их, но не можем
Создать их снова; так Мелора стала
Легендой и именем для песни.

Джон Вайлас путь держал свой на Восток,
И в странствие последнее пустившись,
Он ощущал, как солнце ударяет
По костяку его, и согревает
Последним жаром, как полено дров,
Так долго пролежавшее в огне,
Что пламя всю пожрало сердцевину,
Но все ж лежит, сгорая на решетке,
И не спешит крошиться иль остынуть,
И превратившись в чистый белый пепел,
Огнем чужим и поздним пламенует.

„Да, это — солнце старости, — он думал, —
В последний путь пускаемся мы с ним.
Оно садилось десять тысяч раз
У нас перед глазами — знали мы,
Что, как Дедал, на первых крыльях утра
Оно восстанет и восторжествует
Как наша юность, в свежести своей
С постели встав, готовая безмерно
Свет и пространство впитывать в себя.
Наш чели ничто наполнить не могло —
Ни страсть, ни ярость, ни великий шторм.
Теперь переполняется он грузом
Дней малых, и когда вот это солнце
Утонет — мы утонем вместе с ним,
И нам — конец.

И это справедливо.
Раз я провел моих желаний годы
В затерянном лесу, искавши камень
Затерянный, почти что не заботясь
О Харриэт и о семье, и мало
Считаясь с безопасностью и миром, —
То мне теперь под старость возвращаться
Дорогой той же, по которой юность
Когда-то убегала от всего,
Что ей претило; принимать назад —
Как старая змея, что надевает
Когда-то ею сброшенные кожи, —
Восток тот, от которого бежал я,
Те городки, осмеянные мною,
Тот прах, что думал отрясти от ног,
Дремоту, от которой я сбежал.

Да, Харриэт права и справедлива,
И Харриэт в ту комнату вернулась,
К тем занавескам ситцевым, откуда
Забрал ее я двадцать лет назад;
Ушла с детьми, что ей принадлежали:
Я детям только семя дал мое,
Их слез и смеха я почти не слышал,
И еле знал их имена и лица, —
Все потому, что слышал ветер в ветках,
И дочерьми моими были звезды
Падучие, а сыновьями были
Забывшие ручьи, и диких чащ
Серебряные бешеные блестящие.

Тем, кто искать уходит дикий камень,
Тем, кто его находит — тем не надо
Жениться или зачинать детей.
Они тем самым могут совершить
Несправедливость глубже всякой боли,
Нарочно причиненной. Ну а все ж
Иже исках — исках, и не могу
Отречься от того, что я искал,
Хотя оно как обоюдоострый
Нож: режет он дающего ладонь
И неохотно взявшего.

Я взял
Мою жену давно из комнат тех,
Где ситцевые занавески были,
И вот туда она опять вернулась
Года спустя, с детьми; но верю я —
Она добра, и потому детей
Учить не станет проклинять меня,
А если б стала, то нашла б тому
В глазах своих соседей оправданье.
Верна себе, она растить их будет,
Как нужно всех детей таких растить,
И как их до скончания времен
Растят в таких домах, — так воспитает,
Как будто никогда не уезжала,
И наконец — заслуженный покой
Получит. Все же кто-то из детей
Когда-то, может быть, сбежит из дому.

Мы дочерей и сыновей имели,
Но изо всех детей — в одном лишь сыне
И в дочери одной совопились
Две крови наши странные тем браком
Доподлинным, который больше, чем
Ножны и меч. Все остальные дети —
Ее. Те двое — частью и мои.

Я сына по лесам бродить учил,
Пока не научился он шагать

Со мной по тропкам диким, потаенным —
Легко как шепот, нежно как весна.
Я мог бы приручить его сестру —
Но я не захотел, я разрешил ей
Скитаться по листве цыганских тропок,
Отвергнутые мудрецами камни
Искать. Обоих долго и ревниво
Удерживал я около себя.

И все же — в день, когда его забрали,
Когда сидел он на своем коне
Пред тем, как все уехали они, —
Из глаз его смотрела мать его,
И к ней он обращал свое лицо.

Моя в том кара, в том моя вина.
Так это было. И теперь он мертв.
Он от горячки умер, и на Юге
Его похоронили. Он на этой
Погиб войне, которую считал я
Волчком, с которым поиграть пристало
Железным дуракам, и убивать
Кого-нибудь другого сыновей,
А не моих. Он глубоко зарыл.
Его я при себе держал ревниво
И долго. Да, он хорошо ходил,
Когда был жив. Он сыном был моим.
Не стану им, как ярлыком, кичиться.

Пришло нам извещение о смерти.
И после этого она со мной
Уж оставаться больше не могла.
Мне так теперь понятно — почему.
И вот теперь обратно по следам
Суровым юности моей я еду
С моей вот этой дочерью, в повозке
Гремящей, и ее волочит лошадь
Худая, как сам голод во плоти.
Заделался я притчей в городишках —
Все потому, что слишком в дочке этой
Есть много от меня, чтобы она
Пшеничным хлебом удовлетворилась,
Чтоб, полкубивши, отдала любовь
За будничный покой; чтоб безмятежно
Жизнь проводить, забыв про нож у сердца.

Таков удел, бег скованный таков
Тех, неуравновешенность которых
Насытиться им не дает, и гонит
Их от стола земного без молитвы
И мяса — пусть полезны эти вещи,
Но ищут люди те себе взамен
По-лисы одинокого куска,

И кто в конце концов, как я, вернется
В телеге иронической годов
На те луга, которые считал
Когда-то слишком сочными, утратив
Все знанья, и одно лишь сохранив:
О том, что бегство не бывает дверью —
А вьющуюся медленно дорогой,
И сотни петель рано или поздно
Себя повторяют. И еще я знаю —
Под звездами холодными какими,
Когда и как из старой раны кровь
Струится, просочась из-под покров
Мышления, закованого в латы.

И все же этот путь не безотраден —
Есть радости в нем даже для меня:
Мы медленно ползем от городка
К другому городку, и каждый раз
Навстречу солнцу. Лошадь головою
Трясет, и дочь о чем-то говорит,
Ее ребенок бодрствует иль дремлет;
То постоим немного, то поедем.
Я чувствую, как медленное солнце
Все лето проникает сквозь меня.
По временам я наяву впадаю
В дремоту: сон я вижу наяву
Без всяких сновидений; задремав,
Я во второе детство попадаю;
Оно спокойней первого, но та же
Есть мудрость в нем. Вот так я прикасаюсь
В протяжный сонный час передвечерний
К тебе, созревший плод, — ты осень сердца,
Единая вечерняя звезда,
Которую мы называем — старость.

Да, иногда я вновь впадаю в детство!
Мы едем, а нам люди смотрят вслед.
Не раз казалось мне, что их глаза
О нас троих придумывают сказки.
Я слышу воркованье этих сказок
Сквозь сон — как голубей на голубятне,
Пока не начинает мне казаться,
Что стал совсем другим я существом,
Иль, сам того не зная, создал сказку,
И в промежутке, смерть минуя вовсе —
Из тела вышел, ставши привиденьем.

В такой вот миг мне кажется почти,
Что я — не я, а Питер Рагг¹⁸⁴, его
Обманутая наважденьем тень,
Что все еще Бостон сквозь вьюгу ищет,
Иль призрак Джонни-Яблочное - Семя¹⁸⁵,
Который улизнул тайком из рая

В безветренную ночь, чтоб посмотреть,
Как дикие сады его растут
И мнутся, и горку положить
Румяных сладких яблок-самосеек,
Блестящих от луны, натертых тряпкой
Из тучки серебристой, и индейским
Заклятием — вблизи дверей счастливых
Тех добрых душ, что знают толк в плодах.
Ну, а про дочку вот, что я скажу:
Хотя я знаю, что она сама
И вся ее история — реальные, —
Все ж в этом сновиденьи наяву
Она слилась с той песней, что когда-то
Давно я слышал — об испанской даме¹⁸⁶,
Что в старину британца полюбила,
И в алых туфельках своих — его
По всей зеленой Англии искала,
И никаких не знала слов английских,
А только знала, как его зовут.

Ее мне голос слышится, в котором
Гитары звук мешается со звоном
Кастильских колокольчиков для мулов;
Ее лицо я вижу под высоким
Из раковины выточенным гребнем ...
Потом я вижу — это дочь моя —
И просыпаюсь, все же сознавая,
Что между сказкой мы и сновиденьем.
Вы видите, что я нашел какой-то
Покой в последнем странствии своем:
Я не ворчу на то, что солнце жарит,
И несмотря на все, что в жизни было —
Ем, пью и сплю, и с дочкой говорю,
Слежу за каждой сменой дня и ночи.
Испанка та британца отыскала.
Что ж — может быть, мы мальчика найдем,
Которого почти что я не помню,
Хоть наша быть — совсем иная быть.

Так с нами жизнь повозится немного —
Потом брожение стихнет.

Так обиды
Наносим мы сильнее, чем хотим;
Так мы страдаем сами. Так уходим
Искать в глухих чащобах дикий камень.

В Коннектикуте я сирени запах
Услышу, верно, раньше, чем умру,
Увижу стены чистых, белых, чинных
Церквушек юных дней моих; увижу
Сады, что полны резеды и флоксов;
На выгонах увижу загородки,
Которые ломал я, убегая.

Я думал, что я лягу на несжатом
И диком поле, не выдавшем плуга,
Меж деревом пчелиным и оленьим
Упавшим рогом; думал лечь я рядом
С ручьем таким затерянным, что даже
Оленям не найти его; что слишком
Уединен, чтобы его запомнить.
Была мечта. Теперь мне все равно.

Заройте там меня, где отступавших
Солдат зарыли, под звездой тусклой.
Заройте там, где терпят крах адепты
Отшельничества, оказавшись вновь
Лицом к лицу с землей своей. Заройте
Там, где заборы сдерживают землю,
Где солнце тонет за оградой пастбищ,
На дикий камень не упав ни разу.

И все-таки бежать мне удалось.”

Одежду Люси Везерби, разгладив, сложила аккуратно в сундуке
С тяжелым вздохом.

Сундук уже набит был до отказа.

Ни уголка свободного нигде; как Люси ни старалась —
А голубое платье не вошло.

Конечно, будет скоро у нее немало новых платьев.
Пусть голубое старое уже — но бросить так она его не может.
Ах, если б Генри не был таким ужасным эгоистом временами!
Но Генри был такой, как все мужчины, такой, как братья все.
Воображает, что в Канаду леди поехать может, взяв с собою только
Картонные коробки и сундук.

Как это все досадно!

Ведь у него есть чемодан для бритв и для рубашек, а она не может
Два сундука иметь. Еще есть кринолины,
И Генри раздражен из-за того, что не желает бросить их она.
Она прекрасно знает, что мечтает он с собою взять дурацкие все книги, —
Как будто их везде нельзя купить!

Себя за щеку Люси ущипнула и принялась укладываться вновь.
Зеленое, конечно, можно вынуть, а платье голубое уложить,
Но мысль зеленое оставить платье — была невыносимой для нее.

Война, конечно, и теперь все мысли поглощены войной.
А тут еще ужасные те янки стоят почти у городских ворот,
Хоть бедный мистер Дэвис так старался, и наши мальчики так храбры и
изящны,
И несмотря на то, что в старых платьях пришлось ходить нам целые два
года,
И наших слуг послать работать в форты,
И несмотря на песни, на „ура” и на святое дело ...

Но нужно храброй быть. Нельзя быть эгоисткой.
Разумней надо быть, и надо помнить о здоровье Генри.
А Генри думает, что в самом деле уехать нам удастся ...
Зеленое иль голубое? Она никак решиться не могла,
А тут еще писать все эти письма.
Ей просто написать придется Клею и Юджи о здоровье Генри,
И что у ней готово сердце разорваться, но не бросать же ей больного
брата ...

Притом всегда оставить адрес можно, и если вздумается им приехать –
Мы им прием устроим с настоящим традиционным ричмондским
радушьем.

Хоть говорят – британцы - лейтенанты просто прелесть!
И нарасхват там девушки - южанки,
Там „Славный синий флаг” играют на балах!
А Сара Кенефик невестой графа стала!
На миг себя вообразила Люси в полнейшей безопасности идущей
По улице спокойной английского по виду городка.
И Люси в новом платье, в новой шляпе и в туфлях новых.
Мужчина седовласый – черты лица его довольно смутны – на нем британ–
ская шинель –

Идет с ней рядом, на нее глядит, и слушает ее
Рассказ о том, как пушки слышала она, и как буквально
Неделями им приходилось жить, от мясника не получая мяса,
О раненых, о генерале Ли,
И как единственно из-за здоровья Генри им наконец пришлось любимый
Юг

Оставить. Голос Люси задрожал. Он гладит руку ей,
Надежду выражая, что в Канаде они гостить останутся подольше.

Зеленое иль голубое? Ужасно трудно выбрать,
А тут еще писать все эти письма – Джиму Меррихью,
Еще из Алабамы милому майору ...
Звон свадебных колоколов ей слышен, но это был уже другой жених.
Он седовлас, и звезды на мундире у него ...
Оправленный в британский голос титул.

Ах, душка, милочка, тебя я так люблю!
Так долго за тобою шла погоня, но ты спаслась!
От рук ты ускользнула, которые тебя обвинить хотели
И с непонятной страстью взять тебя.

Что эта страсть такое?

Ни ты, ни я не знаем – но мы сносить ее не захотели
И вырвались на волю.

Если надо в конце концов
В брак белокурым девушкам вступать, – а девушки должны ведь
это делать, –

То иначе все делается это – не с юностью, а более разумно.
Такой ценою мы освободимся. Я навсегда твоя, а ты моя.
Ты милочка, ты душка.

Со звездочками на мундире так
Мы седовласых женихов добудем – и будут все ж у нас
И кавалеры, чтобы танцевать – ведь мы так любим танцы,
И преданностью мужу очаруем мы целый свет, и будем мы

Резвиться целый день на солнечном припеке.

Еще раз голубое платье она у подбородка придержала
И белою рукою разгладила его. И положила,
Чуть улыбаясь. Нет, оно не помещалось.
Но, может быть, она предложит помочь укладываться Генри, —
Тогда с его рубашками, возможно, поместится и голубое платье.
Что за беда, что несколько рубашек придется здесь оставить.

Близится к морю Шерман, гудя,
Ликуй! Ликуй!
Близится к морю Шерман, гудя,
Словно Моисей — оседлал он шмеля,
Свободой бедных рабов наделя!
Год ликования настал!

Масса был толст и важен как кит,
Ликуй! Ликуй!
У массы был льва свирепого вид.
Но гордость массы Господь разит —
Кит выплюнул все! Лев мертвым лежит!
Год ликования настал!

Кто темнокож, а кто желтоват,
Ликуй! Ликуй!
Кто темнокож, а кто желтоват —
Слушай, как трубы свободы гремят,
Обетованной Земле будешь рад,
Год ликования настал!

Пускай ты болен и одинок —
Ликуй! Ликуй!
Пускай ты болен и одинок,
Пускай ты в тюрьму попал под замок, —
Над тем, что ты скажешь, сжалится Бог,
Год ликования настал!

Всем по мулу достанется нам!
Ликуй! Ликуй!
Всем по мулу достанется нам!
Я заживу как в раю Адам,
Детей я в школу белых отдам!
Год ликования настал!

Все — на колени! Богу псалом!
Ликуй! Ликуй!
Все — на колени! Богу псалом!
Бог фараона прогнал мечом!
Об Израиле, вставшем из праха, споем!
Год ликования настал!

Громче греми благодарности звон!
Ликуй! Ликуй!
Громче греми благодарности звон!
Лазаря из гробовых пелен
Вырвал Господь, в облака облечен,
И дал нам год ликованья!

Вот Шерман вышел из Атланты, к морю направляясь.
Идет красноземельным сердцем Юга сквозь пахнущую хвоей дымку
Последних теплых месяцев в году.

По вечерам
Так небо зелено, как тонкий чистый прудовой ледок,
Который, тая в жаркий полдень, вновь становится водою.
И несколько деревьев черных торжественно стоят на фоне неба.
Солдаты чувствуют, как трогает зима
Морозом воздух.

Но в часы восхода
И в полдень, когда, делая привал, солдаты лбы от пота отирают —
Тогда — ни облака на синем нежном небе.
Диковинный поход — полувойна, полупикник с парадом, —
Он пагубную борозду прорезал в краю красноземельном;
Поход понаторевших в воровстве бродяг и мародеров;
Их посылали на фуражировку — они кидались грабить, где могли;
Они такую рану нанесли, что шесть десятков лет не заживет.
Поход порядочных, — не грабивших, когда они могли бы грабить,
И потому и не вошедших в легенду Юга ...
Жесткобородый Шерман по дорсам красноземельным скачет.
Домой он пишет, что порастолстели и счастливы его мерзавцы,
И говорит он, что война есть ад¹⁸⁷, — а, может быть, не говорил он так...
И говорит, что в дрожь его кидает
При мысли, что случится, когда в руки
Мерзавцев этих попадет Чарлстон. И все ж, когда об этом рейде мы
Читаем, — то встает пред нами Шерман совсем не огнедышащим драконом,
Каким его пытались выставить, а просто человеком
С крутой рукой, проехавшим по краю,
Взнуздав коня нещадно, не стремясь особенно щадить врага,
Но также не стремясь его свирепо мучить,
Чтоб только мучить. И то, и это вдребезги ломал он,
И все ж в конце концов такие предложил условия
Поверженным врагам, что те, кто в Вашингтоне управлял,
Поспешно отрелись от Шермана и от его условий.
За чересчур проявленную мягкость.

Итак — теперь, сквозь осени дымок

сосновый
Червь длинный армии его ползет к Саванне,
И остается борозда за ним.

В садах опустошенных
Зарытое в земле попрято отлично серебро,
И мародер сажает пули в старый масляный портрет,
И женщина вопит и негодует на воров,
Одежду уносящих ее умершего ребенка на своих штыхах нетрезвых.

Один из мародеров на сосне качается за слишком уж отъявленный грабеж.
А юноше с лицом по-детски свежим — достанутся надолго шрамы
После того, как девушку - калеку из пламени он вытащит пожара,
Но ненависть увидит он от той, кого он спас, — отнюдь не благодарность.
И повсеместно
Зашевелилась черная земля. Над черною землею веет ветер,
И дует в черные он лица, и обдувает старые он руки,
В узлах от ревматизма, и скрюченные от лопат и вил,
И дует в спины старые, дугой согнутые над хлопком.
Свободы ветер, ветер лета ликованья.

Заглохшие плантации оставив, бредут как заблудившиеся дети,
За синими солдатами плетутся, смеясь и напевая,
Как беглые, стремятся прочь, оставя лачуги одинокие свои,
Несут узлы и палки, и зелья наговорные в бутылках;
И черная увесистая мать несет свое дитя грудное,
Укутав в стеганое одеяло; и девушка с коричневой кожей,
Тонкая, с возлюбленным своим
Ноябрьскими лесами бродят как Адам и Ева, —
Их пища — кролики, коренья и свобода,
И старый раб седой, работавший в полях,
Не зная сам — куда — волочится по грязи.
Он смутно слышал о каком-то месте,
Где в золотом цилиндре за письменным столом сидит Линкам,
Мешки в руках он держит — серебряные доллары в мешках
Для старых и седых рабов, которые туда к нему приходят,
У всех у Божьих чад там башмаки и новая шикарная одежда,
У всех у Божьих чад там есть покой и есть жаркое,
Там горы туш на вертелах, и соуса мясного реки,
Никто не будет там работать ни на минутку, никогда!

Хоть ноги разболелись от ходьбы, но тащится он дальше,
И сотня, тысяча таких же, как и он — вот так же тащатся
И распевают песни, как в дурмане, и опьянев от странной лихорадки,
От детского восторга, от сиянья огромного такого, что ухватить нельзя —
Непризнаваемый народ, упрямый и неученый,
Свободный наконец, но со свободными еще не равноправный,
Невежественный, радостный, забитый, с ребяческим умом, и по дорогам
Войны — все ищущий диковинную новую ту вещь,
Которая так много значит, но которую в руках не подержать,
Которая должна существовать, но отыскать которую так трудно,
Тот сон, сошествие то Духа, свободу ту.

Кто прочь уходит к смерти неизвестной или к вовсе неизвестной жизни,
Кто, поплутав, поголодав немного — в конце концов назад приходит,
А кто с плантаций старых не уходит, работать отказавшись
К негодованиям хозяев и хозяек:
Поют лениво, да играют в кости или в карты, спят в жаркие часы,
И ожидают, что небо дружелюбное щедроты на них свои прольет.
Мул каждому и сорок акров каждому земли — предел мечтаний!
Другие — верные превыше обязательств, хотя их не подписывали вовсе,
В дни разрушений преданные так же, как в солнечные дни, —
Еду для голодающей хозяйки воруют, жизнь поддерживая в ней,

Жизнь дома охраняют, пытаются от сорных трав дорожки очищать,
Дрова таскают, колот и очаг разводят,
Со снисходительным презрением отзываясь
О беглых овцах вольности. Свобода —
Без смысла болтовня, свобода — призрак.
Вся суть лишь в том, чтобы очаг как должно был разложен ...
О чернокожий эпос! Эпос черного копья!
Не мне со слишком белым сердцем быть твоим певцом,
Но день настанет — и придет поэт, чтобы тебя воспеть.
Он так правдиво воспоет тебя, с такою густотою мягкой звука —
Глубокая насыщенная мягкость и голос хриловато - золотой,
Что в гимны негритянские вливает темень неба,
И бархатная нежность голосов рабочих на плотинах,
Поющих ночью, под луною, схожей с банджо ...
Ты станешь наравне с любой из песен,
Пропетой в старину народом многолюдным,
Холмами под американским небом ты взойдешь,
И черное свое копье с Роландовым положишь рогом рядом.

Тем временем по Джорджии уже коса похода косит дальше, дальше,
Газеты южные, как могут, умаляют значение похода.
Линкольн тревожится, а Дэвис еще больше.
Последняя военная зима — зима борьбы и муки.

Куджо в саду серебро зарывал.
Душный могильный мрак наплывал,
Зимней сыростью грунт пропах,
Мэри Лу лампу держала в руках.
Дружно работали и молчаливо.
Свет был желтый. Свет был тоскливый.
Могильный светильник, бросающий слабый
Последний луч над вингейтовой славой.
Чаша для пиршеств в вингейтовом зале,
Ложки, что духи - Вингейты держали,
Подсвечник, блюдо с узором, черпак —
На всем английский фирменный знак.
И со следами молочных зубов
Миска, — осталась с давнишних годов, —
И канделябры Элспет Маккей, —
Она принесла их в день свадьбы своей,
Чтоб жизнь освещать в вингейтском доме —
Рассветную тьму и вечернюю тьму,
Пока река и ночь не забыли ...

У Куджо в глазах привидения плыли,
Когда сундучки все он в яме попрятал
И землю так ловко прихлопал лопатой.
Он знал сундучки: что в этом, что в том,
Как знает слепой дверь в собственный дом:
Десятилетиями каждый прибор
Раствором и замшей до блеска он тер,

И мог серебро он считать своим, —
Так долго губы сжимал он над ним,
На нем его пальцев остался нажим ...
И все закопал он на месте том, —
Как будто зарыл он Вингейтов дом,
Себя, луну, глинтвейна бокалы,
Бальные туфли, в дымке причалы,
И Мэри Лу, и старого Вилли —
Они его миром единственным были.
Хозяин, хозяйка, и раб, и дом —
Все под одним улеглось холмом.
Вот кончил — и головой покачал.
„Кажись, это, миссис, все”, — он сказал.
И белая с черным застыли, смотря
Друг на друга сквозь свет фонаря.

Она шаль запахнула, фонарь взял он —
И повел ее в дом, что был разорен.
Она стала молиться спокойно там
О милости Божьей к верным рабам,
И чтобы взяла справедливость верх,
И рок всех янки во прах бы поверг.
И на коленях холодных, усталых
Она у кровати огромной стояла, —
Там, где с мужем лежала она
Как новобрачная, как жена,
Как мать, как измученная на сносях,
И мукой родов разрываясь в костях.
Тут помнит кровати резной орех,
Как будил ее утром рождественский смех;
В радости, в горе, в любви и в заботе
Годы мелькали как листья в полете.

В конце помолясь о луизиной крошке,
С колен поднялась, успокоясь немножко.
Сказала, ударив рукой о кровать:
„Из дома меня не посмеют прогнать!”
Кольцо о кровать зазвенело металлом.
Прислушавшись, миг она простояла:
Ей чудилось имя мужское и шаг —
Но нет, — только мошки и эхо в ушах.
Куджо был в вере не так укреплен, —
Уши закрыл ладонями он:
Пытался он ветра подувшего шум
Не допустить в свой встревоженный ум.
Он думал: „К беде этот ветра разгул,
Еще недавно ветер не дул!
Откуда-то поднялся он из земли,
Когда серебро мы то погребли.
Должны были мы упрятать добро,
Но в яме не любит лежать серебро!
Оно привыкло к столу и к рукам,
Оно одиноких не любит ям

И в дом пробраться хочет назад!
Тебя, серебро, я был чистить рад;
Бывало — как зеркало ложки блестели ...
Но в этом совсем неповинен я деле!
И ты, серебро, меня не тревожь.”

С глазами закрытыми вицел он все ж:
Из ямы сундук за сундуком
Вздыхались, зловеще звеня серебром,
Замки разомкнулись, открылись мешочки,
И ложка, и нож, и поднос резной —
Из ямы вздымаются поодиночке
И к дому спешат под бесовской луной.
А в трубах такая абракадабра —
Нет, это не ветер, не ветер поет,
А Элспет ищет свои канделябры
В саване с рюшами ночь напролет.
И голос глубокий из бездны морской
Изрек приговор и заговор свой:
„ЧТИ СТАРШЕГО В ДОМЕ; ЛЮБИ СВОЙ ОЧАГ,
ДА БУДЕТ ТОБОЮ НАКОРМЛЕН БЕДНЯК,
НО НОЖ ПОД РЕБРО ТЕБЕ, ВКРАДЧИВЫЙ ВРАГ!”

А Куджо слушал все с содроганьем,
Тянулся рукой за Священным Писаньем,
А ветер дул, не зная покоя, —
Дул, разоряя гнездо сухое.

С шермановскими бродягами Бэйли шагал по дорогам.
Жизнь находил он приятной, — ворчал, напевал свою песню.
Ел он за десятерых, был здоров, и играла в нем кровь;
Он и ребята раздобыли себе негритоса с глазами навывкат —
Тот им готовил харчи, — и если о том капитану было известно,
То капитан глаза на то закрывал.

На ужин вчера индюшка была,
Утка — позавчера. Что ж, конечно, нельзя ожидать,
Чтоб такое всегда продолжалось — но все же, пока это так —
Это знатно выходит — война и должна быть такой!
Их гонит нещадно Старик, но это не страшно, —
Старик знает дело свое — и наш негритос молодец!
И наша команда — ребята такие, каких поискать!
У нас — ни ворюг, ни трусливых лентяев в команде,
Что надо команда у нас, работает как заводная!
Ах как это здорово было, — как сыр мы в масле катались,
В Атланту вступив после боя!
А нынче вот этот поход — ну что ж, мы его заслужили!
Теперь уже Бэйли — сержант!

А в ранце его
Лежат сувениры для вдовушки рыжей из Кайро.
Одни он купил, а другие — ну вроде как подобрал,
Ничто не украдено, нет, — нельзя это кражей называть.
Он не ворюга какой-нибудь иль мародер.

Бедная! Верно, пришлось ей теперь туговато,
Верно, вовсю разревется, увидев ту брошку.
Правда, болтают, что это вещь ненадежная — вдовы...
Черт с ним! Невинностью сам он не очень-то может похвастать,
Баба ему по душе, что прошла огонь и воду и медные трубы —
И сохранила задор, и веселость, и бойкость.
Милка, чертенок, моя ты зазноба теперь,
Бьюсь об заклад, что рыжие дети пойдут — ничего не попишешь,
Но чтоб все как один они вышли в отца, — пусть попробуют только не
выйти!

Он задумался. Эллиат вспомнился Бэйли теперь.
Вот еще тоже дружок и шальной паренек.
Скучно мне без него. Надеюсь — ему повезло,
Верно, досталось ему хорошенько при Геттисбурге...
Месца три иль четыре назад он письмо мне прислал,
Может, с полгода назад, я позабыл уж — когда.
Вольную, верно, ему уже время пришло получить...
Он молодец, и он плату свою отработал с лихвою.
Девочку ту, о которой он мне говорил, я надеюсь, найдет он.
Всеми статьями, должно быть, подходит она для женитьбы,
Только худа вот, — мы любим их поплотней,
Неправда ли, Рыжик?

А впрочем, бывает всякое в жизни...

Нужно б ему написать, если минутку урвем.
Жаль — не на Западе мы, — его пригласили б на свадьбу!
Бесси и я ему б показали девочек в Кайро,
Дым бы стоял коромыслом! Мы б знатно кутнули!
Сердце Бэйли любовь к человечеству переполняла,
Но горло его было сухо, как дно его фляги.
Невдалеке от дороги дом показался — белый, большой...

Он отыскал капитана, отдал честь и обратился с вопросом.
Капитан иронически глянул, но недовольства не выказал он.
„Ладно, сержант, забирайте отряд и идите на фуражировку,
Кажется мне, что у нас уже мало свинины осталось,
Да и к тому ж, если парочка вам голубей попадется случайно,
То не забудьте, что любит полковник пирог голубиный.
Но не надейтесь уж очень, и времени даром не тратьте:
Н-ский корпус сегодня должен был там проходить, —
В корпусе этом вороги почище, чем в армии всей.
Чтоб через два часа трезвыми все возвратились обратно, смотрите —
не позже!

Или останетесь вы без сержантских нашивок. И если увижу, что хоть
один человек

В походе какой-нибудь тварью ручной обзавелся, —
Пускай хоть древесной лягушкой, — живьем с него шкуру спущу!”

Так Бэйли пришел к воротам вингейтской усадьбы.
Против сильного ветра шагая, он отдал приказ:
„А ну, попроворней, ребята, без глупостей всяких,
Но раздобыть голубей не забудьте, если найдутся.
Эллис и Кларк — вы останьтесь со мною у двери:

Переговоры вести буду я, если в доме хоть кто-то остался.”
Он постучал и позвал. Тяжко и долго стояла в ответ тишина.
„Эй, кто тут есть?” От тишины становилось неловко ему.
Нетерпеливо ругнувшись, дверь он толкнул.
Дверь широко распахнулась. К Кларку и Эллису он повернувшись, сказал:
„В дом я войду; а если услышите, что я кричу –
Сразу врываются.”

С насмешкой они наблюдали за ним.
„Эх, если б, черт побери, меня сделали тоже сержантом!
Почетным сержантом, а, Кларк? И дали бы мне три нашивки!”
„Да ну, – сказал Кларк, – Бэйли поделится с нами, парень он свойский,
Если здесь можно законным путем чем-нибудь поживиться.”
„Кто ж говорит, что он плох. Бэйли – правильный парень,
Только он все же сержант!”

Тем временем Бэйли,
Как потерявшийся призрак, бродил по огромным пустым помещениям,
Зорко разглядывал вещи, которые по временам его привлекали внимание:
Смешной старикан в парике, висевший на стенке,
Странные кресла – кажется, будто руки твои слишком грязны, чтобы их
трогать, –
А ведь это линялые створчатые кресла!

Старое все, полинялое, тихое все.
Ветер гуляет. Бэйли как будто на цыпочках шел,
Сам не зная, зачем так идет.

Вот рабочая старая там корзинка стоит.
Из любопытства пустого открыл он корзинку. Видно, вынули все из нее,
Кроме пары маленьких ножниц с золотым ободочком.
Форму птицы имели они: лезвия были как клюв.
Он их взял, и раскрыл, и закрыл – они не заржавели,
И довольно красивые, и причудливой формы такой –
Верно, понравятся Бесси.

Он подержал их в руках.
Места они не займут. Еще раз на них он взглянул – и скривился.
„А ну их!” – сказал он. – У меня сувениров довольно,
Ведь не какой-нибудь чертов я мародер.”

Он начал укладывать ножницы снова в футляр,
Но, обернувшись, лицом к лицу очутился с седою и тощей старухой
В черном, с глазами, которые кожу ему на лице насквозь прожигали,
И голосом, точно бичом сыромятным врезавшимся Бэйли в сознание;
Она его раз пятьдесят обозвала по-разному – вором,
И дьяволом -янки, лжецом и Бог знает еще чем,
И платье свое разрывая у горла старой и тощей рукой,
Она заявила: он может ее пристрелить как собаку,
Но вещи детей ее будет он красть –
Через труп ее переступив, не иначе!

О Господи Боже!
Как будто мы ходим и только стреляем старух
Затем, чтоб развлечься! О Боже!

Он даже не мог объясниться.
Как все они, эта – такая ж! Ему стало тошно.
„К чертям, – закричал он, – заткнись об ножницах этих проклятых,

Война идет – слышишь, старуха?”

„Вот, вот, – подхватила она, –
Беспомощных женщин ругай, проклинай, здоровенный и храбрый солдат!”
Что делать еще оставалось тут человеку?

Он вышел из дома
Взбешенный, разгневанный, злой до предела!
Но голос ее вслед за ним раздавался, над ним измываясь, его прожигая.
Куда же, к чертям, запропастились люди его?

Тут всех, кроме Эллиса с Кларком,
Он увидал: они, вместе собравшись, стояли,
Окружив негритоса седого; тот плакал и руки ломал.
У одного из солдат голубь со свернутой шеей запихан был в блузу, –
Что ж, и на этом спасибо.

Негра рукой тронул Бэйли.
„Где ж тут колодец, а, дядя? Есть тут колодец?”
А негритос только знай, что ревет, словно старый дурак.
„Он думает – скальп с него снять мы хотим, – сказал один из солдат, –
Я дважды ему говорил, что свободным он стал,
Но даже и слушать не хочет о том черномазый;
И деньги ему я давал, но он уронил их.
Другие все разбежались, когда подходили войска.”

„Скажи, что не тронут его, и заставь его воду достать, –
Совсем как язык проповедника я пересох! А где же Эллис и Кларк?”

Он Кларка нашел, деловито копавшего пол земляной
В негритянской лачуге, в то время, как Эллис светил
Горящей сосновою щепкой.

Гнев Бэйли взорвался
Кипящею лавой. Они с уважением в слух обратились.
„И если еще раз, когда я отдам вам приказ, – заканчивал он, –
Ах вы - - ”

Кларк отер лицо рукавом.
„Извиняюсь, сержант”, – сказал он пристыженно- тихо.
„Ну то-то же, ладно! Какого же чорта вы здесь завелись?
В крестики - нолики режетесь, или какого-то пса собрались погребать?”
„Видите, – Эллис смиренно сказал, -- я слышал, сержант,
Что они в этих хижинах клад иногда зарывают,
Вот и подумал я, что мы могли б поискать ... Ну и вот ... ”
„Ах вот что? ...” – Бэйли сказал.

Он щепку схватил и взглянул на утопанный пол
На секунду. Затем его гордость и ярость вернулись к нему.
„Адово пламя!” – сказал он и щепку отбросил.
„Вас с Кларком на это и взять, чтоб в такое поверить!
Слышите – я говорю вам: живей убирайтесь отсюда!”

Когда оставалось до въезда уже полдороги,
Эллис сказал: „Там горит что-то сзади, сержант.”
Бэйли стал, оглянувшись: клуб дыма на небо валит,
А ветер был сильный.

Бэйли поколебался на миг.
Должно быть, от щепки горячей лачуга гореть начала.

Потом он сжал зубы. Ну что ж, если хижина и загорелась?
Старуха проклятая в черном обзвала его вором,
И ей поделом, если все лачуги ее погорят.
До дома пожар не дойдет, а они тут время теряют –
„Плевать, – он сказал, – черномазый потушит пожар.
Не наша забота! А ну-ка, смывайся, ребята:
Если мы опоздаем чуть-чуть – капитан заводиться не станет,
Раз полковнику есть голубок ... Ну а все же – прибавьте-ка шагу.”

И они поспешили. Дым поднялся выше за ними.
Ветер горящей соломы клочки относил на вингейтовский дом.

Салли Дюпре из окна своей спальни зорко всмотрелась,
Как не раз ей случалось зорко вглядеться в ту купу деревьев,
И увидала там темный, густой поднимающийся дым.

У них в Эппелтоне все было довольно спокойно.
Они в стороне от дороги большой, а что до рабов –
То лучше без тех, кто ушел за солдатами вслед.
Ну, жалобы теток, конечно, что ж делать, – жалобы теток.
Стары они, а все же у них есть в доме мужчина,
Хоть всего-навсего это – старый калека дядюшка Пол.
Дядюшке Полу и теткам казалось, что наступил конец света,
Но Салли не думала так.

Ее юность года износили,
Многое стерлось, но не улыбки ее завиток
И не затаенная легкость ног ее узких.
Салли снова взглянула на дым. Глаза ее серыми были –
А тут потемнели как дым. „Пожар! И горит Вингейт -Холл!
Дом, с которым любимый мой обручился еще до того, как увидел меня –
Ты горишь, ты сгорвешь, оставляя дымок небольшой,
Ты стену сжигаешь меж нами этим жестоким пожаром,
Сжигаешь вражду между нами в пламени черном своем,
Сгорая дотла.”

Она на мгновенье ступила
На светлый стеклянный паркет предзнаменований,
Ярче, чем градинки над догорающим тихим костром.

Затем она ахнула.

Тело ее стало снова прохладным, и темень померкла в глазах.
„Надо рабов разыскать, если рабы согласятся пойти.
Что касается Боба и Джима – не знаю, а Нэд непременно пойдет.
Дядя Пол пусть мне даст пистолет. Мне придется пугнуть их вначале.
Без меня они так не пойдут. От тетушек толка не будет.
Почему она к нам не пришла, когда первые вести до всех докатились?
О, я знаю причину. И именно это в ней мне пришлось по душе.
Скорее же, Салли!”

И она по лестнице вниз сбежала как ветер.

Всю ночь до рассвета над Холлом они протрудились –
Две женщины, черных от дыма, Боб, Куджо и Нэд.
Но когда рассвело – дом Вингейтов сгорел,

Вингейт коня подгонял, как мог.
Плелся по грязи с костями мешок
Под сероватым небом апреля.
Насмешливо пел Бристол - пустомеля:
„В коннице будь, если ищешь веселья!
И мы поступили, и вот он какой –
Последний номер наш цирковой!
Сквозь обруч горящий мальчики скачут
Без седел на полузаморенных клячах –
Отряд Черноконный – при всей недостатке!
Но по-настоящему черен вполне
Лишь овод – у Шепли он на спине!
Но дам и детей пусть страх не берет:
Накормят и львов, и нас через год.
Зачем ваш взор слезой затуманен?
Не пропадет джентельмен - южанин!
Он просто живет силой воли одною,
Как старый петух – жестковат на жаркое,
Как новый банкнот из казны, каковое
Добро подойдет на штаны для заплат,
Иль пламя разжечь, если спички горят,
Иль кролику сделать бумажный ошейник, –
Банкнот этот годен на все, кроме денег!
Старый и малый – живи без забот!
Тут янки прет, и там янки прет!
Но наш джентельмен ни при каком
Афронте – с отчаяньем не знаком,
Он так же идет дорогой своей,
Один раз питаюсь в пятнадцать дней!
И так замечать умеет свой след,
Что вымыть лицо даже времени нет,
И он в бою так радостно лих,
Как питомец приюта калек и слепых!
Он шляпой из листьев пальмовых рад
Пять янки нещадно избить подряд,
Жаль – янки драться так не хотят!

Вот мы, дамы и джентельмены!
Последний наш номер, ни с чем несравненный!
Из Джорджии лучшие танцовщики!
(От глаз уберите ваши платки!)
Вот сено лошади верной ест
Сержант, – натурален тут каждый жест!
А вот генерал! Кровь – его страсть!
Доведайтесь – где человек, где грязь?
А вот в своей дикой берлоге взвод,
Подросток на кляче, что еле идет ...
Пожалуйста, просим дам и господ –
Шляпа уже по рядам идет!
Клянемся, – фокус такой мы знаем,

Который вовеки забываем!
„Интендантское исчезновенье” —
Загадка, не знающая разрешения!
Вот мы! Вот мы! За рядом ряд,
Последний наш цирковой парад!
Витязи Ли, сироты Лонгстрита,
Смесь кукурузы и чугуна!
За пост и молитву дверь рая открыта, —
Для нас за пост открыта она!

Свадебным звоном мы прогремели,
Мистера Дэвиса мы имmortели,
Мы с виду — общипанные индюки,
Хотя все еще мы духом крепки.
Мистер Линкольн, в День Благодаренья
Мы предназначены вам на съеденье,
Пусть нас загнали до изнеможенья, —
Еще не разрезали нас на куски!
У нас были блохи — дела их плохи:
С голоду все передохли блохи!
Рекруты были, формы, паек,
Кавалерийский фасон сапог —
Должно быть, они потерялись в пути,
Так как не можем мы их найти:
Каждый в свой отправился дом,
Как в песне поется, — вильнув хвостом.
А мы — как тот баран старика:
Стрижены крепко, бодливы слегка,
Мы — Ли инвалиды: каждый с рукой
И сердцем, завернутым в шарф шерстяной,
О Дикси, Дикси, край мой родной!”
И, шляпу сорвав, он жонглировал ей.
Без всякой боли и грусти Клей,
Воспоминанья усилием одним —
Вспомнил Люси под небом другим.
Клумба из лилий. Золото с белым.
Всем мертвецам она ленты надела.
Красивой была — и вот ее нету,
А мертвые едут дорогою этой
По грязи, по камню. Каждый ездок
Тут оседлал с костями мешок.

Люси, хоть ты с золотой головой —
Будучи мертвым, уже я не твой.
Отец в переполненной той палате,
Где от стены до стены — кровати,
Где ржавчиной старый пол отдает...
Отцу не видать уже псовых охот!
Вирсавия, или Плантатора сын —
На зов не откликнется пес ни один, —
На старый, высокий дрожащий зов,
Который в раж приводил всех псов.
По свежему следу, гончая, мчись!

Не вскочишь в седло после ран таких.
Сердцем, мне кажется, был он чист.
Я знаю, он берегом ездил реки,
Джорджийского парня и Синюю гибель
Он кликал, и клич его шерсть на них дыбил!
Стал белым — а был когда-то румян.
А может, он ночью скончался от ран?
Вон облако там — грозное оно.
Тот мир, что я знал — умер давно.

У Шепли — ножа обнаженного вид.
Видно, что сердце у Шепли болит,
Видно — всерьез был в нее он влюблен, —
Я рад, что не мой это свадебный звон!
Его донимать не должен Вейнскот —
Он шутит беззлобно, да тот не поймет.
„Вот мы, смотрите, вот мы, вот!
Цирк свой последний номер дает!”

Шепли, голову поворотив,
Заметил: „Мистер Бристол шутлив!”
В тоне звучала обида и злость.
Бристол удивленно воззрился: „Брось!
Что это, Юджи, с тобой стряслось?
Ты пса потерял иль румянец щек?
Неделями смотришь куда-то вбок.
Но если ты в настроеньи таком —
Хочешь, тебе я спою псалом?
Никто из ребят не корчит обид,
Ты что — нездоров, или ты сердит?”

Шепли взглянул на него в упор —
И был совсем слепым его взор,
Как у того, кто давно воевал
И тайную долго обиду скрывал.
„Мистер Бристол, — сказал он, — шутник.”
А голос враждою дышал напрямик.
Бристол, рассмеявшись, стал красен, как рак.
„Что же, — сказал он, — если ты так — ”

„Вот мы, вот мы! Спешите, ребята!
Цирк бродячий Конфедератов!”
Был рот его весел, он шляпой потряс:
„Красотки смылись и бросили нас!”

Шепли, с седла наклонясь вперед,
Несильно ударил поющий рот.
„Примешь вызов иль так снесешь?
Голоса нет у тебя ни на грош!”
С лица Бристола вся краска сошла,
Галантно он поклонился с седла.
„Что ж, выбирайте место дуэли,
Кого в секунданты вы бы хотели?

Даже от Господа Бога снести
Пощечину — не позволяет мне честь.
Мистер Шепли — я к вашим услугам.”

В тумане глядели они друг на друга,
И, глядя на них, весь отряд затих.

Ринулся всадник с холма на них.
С приказом спешил он — в пыли был весь.
В повязке рука.

„Кто командует здесь?

А впрочем — вовсе не в этом суть:
Придется вам янки сдержать чуть-чуть.
Старайтесь заставить их думать, что тут
Весь наш арьегард — они сильно прут.
Конечно, кому-нибудь не повезет,
Но их не пускайте за тот поворот,
Пока у вас не свалится с ног
Последняя лошадь, последний ездок!
Атака также весьма желанна,
Если силы вам разрешат.
До встречи в Земле Обетованной!
Мы в помощь не можем вам дать солдат.”

Свистнул Бристол на лихой манер:
„Приказ — подтверждаю — мы приняли, сэр!
Ребята, вам выпала честь — вы даете
Кошачий концерт! Привет наш пехоте!
И массе Роберту в утешенье
Скажите — мы сложены здесь как поленья!
Но, сэр — простите мое любопытство:
От скольких нам армий придется отбиться?”

От корпуса будто, — ответил тот, —
А, может быть, их и побольше прет!”

„Спасибо! Вы — удивительно милый,
Хотите остаться всплакнуть над могилой?
Нет, не хотите? Мне так и казалось, —
Тут скоро начнут нас поджаривать малость.”
Бристол повернулся к Шепли учтиво.
Так сатана напускает спесивый
Вид на себя, когда грешный народ
С вульгарными просьбами пристаёт:
„Сэр, сожалею — наш легкий расчет
Временно должен быть нами отложен —
С войной и приказом спор невозможен.
Но если мы выйдем из всех передраг —
Я честь окажу тебе, старый дурак!”

Тут усмехнулся в ответ кривовато
Шепли тому, с кем дружил он когда-то,
И каждый земли защитить свой клочок

За первым удобным прикрытием лег.

За каждое дерево дрался Клей.
Вдруг — раскаленной иглы горячей —
Что-то ему пробило колено.
В землю плечом он уткнулся мгновенно.
Крикнул, перевернулся на бок ...
Еще ускользящим зрением мог
Схватить на одно мгновение Клей
Ярость последней стычки своей.
Один Коттер при смерти, мертв другой
С мозгами забрызганной головой.
Казенов Стюарт ползет червем,
Которого пересекли серпом,
Тщится достичь дороги ползком,
Под нос себе бубня еле-еле
Песенку о кадете Русселе.
Пулей навылет в живот поражен,
Наполовину в аду уже он.
Шепли хрипит сквозь кровавую рвоту:
„Сюда, сволочня! Получайте по счету!
Верхом с вами дрались, и дрались мы так!
Смотрите — дырка во мне с кулак!
Вейн, они снова идут вперед —
И в голове у меня отдает ...”
На труп лежащий глянул Вэйнскот.
„Ты, Шеп, — он сказал, — забежал вперед.
Они убили Шепа, мерзавцы,
Прежде, чем мы могли расквитаться!”
Нагнувшись, его пистолет он берет —
И Клею в тумане видится мгlistом,
Как твердо в последнем безумьи Вэйнскот
Идет, дуэлянтом выглядя истым.
Шинель, изодранная в клочки,
До горла застегнута на крючки —
Как будто на нем костюм элегантный,
Который застегивают дуэлянты,
Чтобы, запястье и шею прикрыв,
Бледности не обнаружить прилив.
Без всяких заслонов, не защищен,
Шляпу он бросил, и сплюнул он,
И закричал: „Сюда поскорей
Идите-ка, янки, за шляпой моей!”
Два выстрела в звуке слились одним.
„Вот мы, на красной собаке верхом!
Старшая, младшая, козырь валет!”
И тут в него залп ударил в ответ.

Вингейт из кровавой тьмы выплывал.
Голень кто-то тронул — и он закричал,
И человек с подбородком небритым
Сказал ему: „Джонни, слегка потерпи ты,
Пока прибудет возок костоправа.

Легко ты, парень, отделался, право!
Но черта какого вы бились так шало,
Когда уже знали, что дело пропало?
А остальная бригада вся где?"
Голос исчез, как зыбь на воде,
Потоком струящимся унесен ...
Вингейт погрузился в кровавый сон.

Взят Ричмонд. По улицам города ходит Линкольн
Один, без охраны. А вот Джорджа Пикетта дом.
Линкольн постучался у двери. Джордж Пикетт уехал.
Но сухопарая, странная эта фигура с женой Джорджа Пикетта завела
разговор:

С минуту ей сном это кажется, что она здесь его видит.
„Скажите, что просто один Джорджа Пикетта старый приятель.”
Он, повернувшись, уходит. Она с изумлением глядит ему вслед.
На Линкольна с красного неба красный падает свет.
По улицам странные тени бегут, и пылают дома.
Банда бездельников бочку вина разбивает
На площади, залитой заревом красным. На мостовую льется вино,
И пробуют грязные руки вино зачерпнуть.
Длинная в синем проходит мимо колонна.
„Тело Джона Брауна” глотки орут.
Мигом бездельники все разлетелись, как осы с полуобсосанной груши;
Колонна уходит – гуляки опять собрались.

Полусвихнувшийся раб

Залез на крыльцо и оттуда пошел проповедывать небу.
Седая старуха его прогоняет метлой.
Он что-то бормочет и в тень отступает.

Идет генерал,

И свита вокруг него сабли несет наголо. Сабли блестят
В зареве темно - багровом.

Через два дома

Женщина плачет однообразно и долго, плачет всю ночь
Над трупом. У трупа скрещены руки.

Дальше проходит Линкольн.

По дороге к Аппоматоксу армии призрак
С неделю с трудом пробирается грязью дорожной
Сквозь ненастье и стычки, тая в числе с каждым днем.
С армией – Джефферсон Дэвис короткое время.
Затем оставляет он армию, чтоб настигаемым быть
Личным злосчастливым роком своим – вплоть до финала –
Грустного фарса плененья, а потом своими цепями греметь¹⁸⁸.
С войском в течение нескольких дней Бенджамин.
Гладок и оживлен, как всегда, и одет безупречно,
Так же встречая беду, как встречал он успех,
С шелковым веером легкой и неизменной улыбки.
И разум за веером этим на старых весах
Взвешивает войну с пораженьем.

Сегодня он улыбается здесь,

А завтра исчезнет¹⁸⁹, словно он папоротника зерно проглотил¹⁹⁰
И невидимкой прошел сквозь заслоны северных войск.
Этой улыбки в северных тюрьмах вы не найдете,
Хоть до второго пришествия вы бы искали. Улыбка слишком мудра.
Там вы найдете вождя с подбородком Джона Кальгуна.
Оводы жалят его, он роком измучен враждебным.
Множество храбрых болванов там вы найдете, и джентельменов трагичных,
Но черноглазого там не найдете вы человека с глазами, полными жизни.

Неделя смертельного марша, отчаянье стычек последних,
Эти последние на урожае кровавые пятна,
Пока, наконец, избитое серое войско опять не начнет наступать, в надежде
прорвать напоследок
Спасительную дыру в сетке, что стянута ту же и ту же,
И пред собою увидит Орда¹⁹¹ весь корпус, выросший из-под земли
И всякой надежде путь преградивший.

Написаны письма,
Приказы даны, а меж тем — там и сям — длятся схватки,
И синие люди, и серые люди то тут, то там умирают
Прежде, чем эти приказы доходят до них.

Для переговоров
Сносное раздобыть помещение спешит адъютант
У первого встречного фермера. Первый ему предложенный домик
Он слишком грязным находит, и выбирает другой.
Встречаются полководцы и капитаны.
В лучшей парадной форме своей подтянутый Ли.
Парадная сабля сбоку висит у него, и глаза неизменны.
Грант коренастый в забрызганной грязью солдатской шинели,
И на плечах у него помятые звезды.

Сперва они говорят
О Мексике и о былых временах.
Затем обсуждают условия.
Великодушными Ли их находит, о чем говорит. Ли обращается с просьбой:
Людам его будут кони нужны для весеннего сева.
Грант соглашается сразу.

С яркими саблями не происходит парада —
Ни взятых, ни отданных сабель. Грант позаботился, чтобы без этого было.
Значит — конец.

Ли выходит из комнаты тесной.
Лицо его неизменно. Он умрет — и оно не изменится тоже.
Но когда на веранду он вышел и на своих солдат посмотрел —
Звук раздается хлопка: он раз ударяет в ладоши ...

А в комнате, из которой он вышел, синие люди
Меряют время ударами сердца, уставясь друг в друга.
Серые прочь отъезжают. Уехали. Кончено все ...

Бомбой взрывается комната — смеются они и кричат,
Странные громко слова произносят. Столы и стулья тащат на воздух,
И бородастые генералы друг с другом пускаются в вальс,
В течение краткой безумной минуты — пихают друг друга под ребра,
Сразу все говорят, но никто не слышит ни слова.

„Кончено — сделано — все!“

Позже — чинный порядок опять.
Серая армия - призрак в последнем строю марширует,
Чтобы оружие сложить.

Когда южане выходят вперед —
На караул берут синие ружья. Гордон этот жест замечает.
Саблю он опускает, делая взмахом глубокий салют.
Ни выкриков нет, ни приветствий ни в синих, ни в серых рядах.
Только топот шагов ...
Теперь окончено все ...

Сложила оружие война.
Кое-кто из загорелых, обтрепанных в сером людей, плача или молча,
Изрешеченные ключья рвут от знамен
И пробуют их под мундирами спрятать.

Как-то ранней весной Джек Дифер пахал.
Паром апрельским пахло от развороченной плугом земли.
Он думал о том, как в этом году его новые сорок акров земли уродят.

Обрубок левой руки его ныл, обдуваемый ветром живым.
Та боль была давней.

Когда придет он домой —
Жена растираньем немного боль облегчит,
Но толком тут не помочь.

Смекалка была у мальчишки.
Мальчишка к руке приспособил штуку такую, чтоб можно было пахать.
Не то, чтоб рука со всей пятерней,
Которую хвастаться можно перед гостями,
Но делала дело свое. Жена все тоскует
По той полированной деревянной руке,
Что как-то они в Филадельфии видели в лавке.
Да, он примерял ее, — очень красивая это рука,
И если новые сорок акров хороший дадут урожай...

А пока что
Огромные мышцы на правом плече от натуги вздувались,
И дальше двигался плуг.

Его лемех по временам
Все еще из земли вырывал тот урожай необычный,
Который от пуль остается. Дырявую фляжку,
Медную часть патронташа. Череп безглазый --
Белый такой, что не шло ему так осклабляться.
Но это находишь все реже.

Пришлось им очистить колодец.
Теперь из колодца пить вновь они воду могли.

Пахалась земля.

Он плуг повернул, и обратной пошел полосой.
Все еще неуклюжий он был, но справлялся с работой.
Пшеницу свою он увидит в этом году.

Про себя он подумал:
„Хотя ты не тот уж, не прежний, но пашня на вид хороша.“

Погода, по запаху судя, стоит в самый раз для посева.
Колодец очищен. Со временем, может, и гладкую руку ты купишь себе –
В воскресные дни надевать. Хороша она будет на праздник.”
Он вперед посмотрел.

Вдалеке у забора

Что-то оборванное на забор опиралось,
Уставясь на Джека с упряжкой его.

„Босяк, – он подумал. –

Еще и цветной – не место ему тут шататься у фермы моей.
Никаким босякам тут не место. Хотелось бы мне раздобыть батрака,
Работающего, и чтоб не дорого стоил.”

Упряжка дошла до забора.

Негр не двигался с места.

Джек с упряжкой стал.

Друг на друга уставились оба. Негр увидел калеку – вола,
А на Джека призрак смотрел с загнанным взглядом.
В шрамах лицо. Он еще был в лохмотьях обшарпанной формы военной.
„Ну, что тебе?” – Джек пробурчал.

Негр сказал: „Извините, сержант”,

И огрызком фуражки голову он почесал.

Глаза его вспоминали какую-то темень.

„Ну, – сказал Джек резковато, – откуда ты это достал?”

Съежился негр.

„В Воронке¹⁹² я, босс, побывал, – сказал он,
И в голосе тупость звучала. – Вы, может, слышали о нас?
О Воронке вы, может, слышали – под Питерсбургом?
Я думать о ней не люблю. Вам не нужен работник?”

Слегка призадумался Джек. „Воронка, – сказал наконец он, –
О Воронке я этой слышал.”

Ветер дул, и от ветра ныла рука.

„Там я не был, – сказал он, – но знал я ребят, что там были.”

Негр сказал ему: „Честное слово – себя окупил бы я, босс.

Я с упряжкой умею ходить. Я умею работать.

Меня сильно в Воронке подшибло,

Но работу на ферме я знаю.”

Закашлялся он и замолк.

Джек осматривал негра, как он бы осматривал лошадь –
Оценочным взглядом.

„Тут у меня не больница, –

Сказал он обиженным тоном. „В Воронке ты побывал.

Я видел вас, черных, и вашу работу на Юге, на фермах.

Негодная ваша работа. Нужно тебя накормить.

Как время обеда наступит, тебя мы накормим.

Не знаю, где спать мы сможем тебя уложить. Откуда я знаю,

Что сможешь ты путно работать?”

Негр ничего не сказал.

Глаза его вновь потускнели.

„Гей!” – сказал Джек,

Повернувши упряжку назад.

„Вот это так значит пахать!” – сказал негр.

Джек сплюнул. „Тебе моя баба даст закусить,

Если ты покричишь перед домом.”

Негр в ответ покачал головой.

„Подожду я, покамест пахать вы окончите, босс, — он сказал.

Может быть, я помочь вам смогу распрягать, когда дело дойдет до того.”

„Имей ввиду, — сказал Джек, — что много платить батраку не могу я.”

„Меня Спэдом зовут”, — сказал негр.

Плут шел дальше.

Негр смотрел, как ровно проводит плут борозду.

Джек Эллиат с своей дубинкой старой
Шел за город, и оттепель была.
Уже поля пригреты были солнцем,
Хоть все еще в заплатах старых снега.
Джек был слегка похож на те поля
Умом и сердцем. Сзади в городке
Свисали или развевались флаги
По случаю того, что Ричмонд пал.
И тут и там виднелись на углах
Размытые дождем клочки шутих
И факелов затоптанных обрубки —
Обрывки и ошметки торжества,
Неубраны.

Жерло старинной пушки,
На площади стоящей, почернело
От всех салютов. Целую неделю
Мальчишки не угомонятся. Вид
На всем был понедельничного утра.

Джек Эллиат, бывшее вспоминая,
Был рад, когда он миновал дома.
Одну дорогу впереди себя
Теперь он видел. Шла она холмами,
То вверх, то вниз.

„Теперь конец уже,
Совсем конец. Я этого всего
Был частью. Вот и все.”

Взошел на гребень

Он Длинного холма; остановясь,
Почувствовал он ветер, дувший прямо
Ему в лицо, и оперся на палку,
Смотря в глаза встревоженной весне.
На нем еще кое-какие раны
Остались: частью зажили они
И превратились в шрамы, — а другие —
Такие, что нескоро заживут,
В местах, куда хирургам не добраться.
Но в общем был здоров он, хоть и ветер
Ему чуть-чуть казался холоднее
Весною этой, чем в былые весны.

„О да, — подумал он, — со мною все,
Пожалуй, обошлось благополучно.
Мне повезло, пожалуй. Помню, — я
Однажды шел как раз дорогой этой
С бедняжкой старым Нэдом — до того,
Как в Самтере они стрельбу открыли.
Что ж, кончилось. Я этого был частью.”

Он кинул камень вниз на ближний холм,
Следя, как камень ниже, ниже прыгал,
Потом улегся тихо. Между тем
Сознание его припоминало
Ряд месяцев бескровных, белых, долгих —
Пока он выздоравливал. А также
То ощущение странное от первой
Одежды штатской. Что ж, и с этим тоже
Покончено. И возвратился он,
И знают все, что он остепенился,
Да он-то больше выдержать не может.

Он в памяти носил лицо Мелоры,
И на него так часто он смотрел,
Что выношенный образ стал тусклее.
Пытался он сейчас его увидеть,
Но образ смутным был. Ее найти
Он пробовал, но отыскать не мог.
Пока он болен был, он никаких
Вестей не получал. И наконец —
Весть, что они уехали — и только,
И больше ничего. Куда — никто не знал.

Увидел в мыслях он перед собой
Часы, что дома на доске каминной
Закованное время отбивали
Для Фазтона скованного.

„Я

Остепенюсь, на месте я осяду.
Забуду я. Я буду надевать
Свою изрешеченную шинель
Четвертого июля каждый раз,
И будут на меня глазеть мальчишки.
Я буду есть и пить и спать. Женюсь.
И буду я хорошим адвокатом.
И справлюсь с этим голодом. Так мало
Ее я знал. Все было так давно.
Так почему же голод не уходит?
Мужчин десяток может точно так
Найти десяток девушек, и так же
Их потерять — и никогда не вспомнить,
Иль вспоминать как смутный аромат,
Который с первой юностью утрачен,
Как ракушку в шкатулке кипарисной,
Или как тот серебряный туман,

Что исчезает с наступленьем дня.
Все это было так давно. Она,
Должно быть, изменилась. Знаю я,
Что я переменялся.

Мы находим,
И мы теряем в жизни, и должны
Жить, несмотря на это. Только дурень
Разыскивать идет вчерашний ветер,
На струны сердца дунувший ему,
Иль разбивает руки при попытке
Отрыть и друг от друга отделить
Кривые корни Времени, надеясь
Тем золотую маску воскресить
Потерянного года, из земли
Ее доставши неприкосновенной.
Лишь дурень правит в небе лошадьми.”

И вот дорогой этой он идет
Лишь потому, что только что услышал
Нелепейшую басню о каких-то
Цыганах, едущих по городкам
И ищущих какого-то солдата.
А если даже это и она ...

И он Мелору мысленно увидел
Из леса выходящей; низко-низко
Из западного облака за нею
Светило солнце. И увидел он,
Как длинная и узенькая тень
От тела ее легкого ложилась.

Оковы, как соломинки, упали
С часов времен. И кони от ворот
Вмиг тронулись.

Вся жизнь, горячка вся,
И вся война придуманная эта,
Которая закончилась вот-вот,
И эта вот игрушечная смерть —
То были только тени Фазтона.
Сам Фазтон — вот он.

Последний взгляд
На город бросил он и на поля
Еще в заплатах снега. Ветер дул
Ему в лицо. И дальше он пошел
На перекресток, где идут повозки.
Туда придя, стал терпеливо ждать
Там под навесом трех корявых вязов,
Наполовину скрытых от дороги.

„Найти ее, — сказал он, — и тогда
Должно быть, мы на Запад вновь поедем.
Да, только так.” Жег ветер плоть его.
Пускай горит. Он вглядывался в год,

Который потерял.

Так он увидел
Телегу, что так медленно скрипела
С ухаба на ухаб, влекома клячей
Такою тощей, как сама нужда,
А вожжи были стиснуты в руках
У женщины с огромными глазами.

Эдмунд Раффин¹⁹³, тот старый сепаратист,
Что дал первый выстрел, по Самтеру прогремевший,
Гуляет в саду у себя в вечерней прохладе,
С красным в полосах флагом. Сложенный ровно
Флаг через руку его переброшен. А в правой руке
С серебряною рукоятью он сжал пистолет.
Только что весть он услышал о том, что Ли сдался, что пал уже
Ричмонд.

Поверх высокого черного шарфа лицо его мраморно - бледно.
Вдыхая весенние запахи, совершает он небольшую прогулку.
Джентельмен, беззаботно гуляющий в лучах заходящего солнца.
Вот солнце почти что зашло. Улыбается он
Старческой, суховатой и сжатой улыбкой. Время настало.
Руками умелыми, быстрыми флаг развернув и на плечи накинув,
Он взводит курок, прямо к сердцу приставивши дуло.
Спуск нажат – и мертвец оседает на землю.
Хлещет кровь под последним солнца лучом,
И красный цвет флага окрашен
В другой красный цвет, который куда скоротечней.

Худошавый Линкольн очнулся утром однажды
От нового сна – этот сон в то же время был старым¹⁹⁴,
Так как он видел его уже много раз раньше:
Сон, предвещавший обычно
Важные вести, хорошие или дурные,
Но чаще, насколько он помнил – хорошие вести.

На палубе он стоял затененной.
Бесформенный черный корабль отплывал
В широкие бурные воды от смутного мола.
Море то было или река – но огромное что-то; пока он стоял там –
Стрелой понесся корабль в темноту, все быстрее и быстрее –
В этом вихре движения проснулся Линкольн.

Настолько ему показалось все это занятым,
Что он в этот день рассказал это нескольким людям,
Полусерьезно и полусуто, для разговора просто, во-первых;
А кроме того, у каждого есть человека любимый заскок:
Тот соль боится рассыпать, по дереву этот стучит,
Кто лестниц боится, или разбитых зеркал, или пятниц,
Так что он думал, что извинительно будет ему, как причуду,

оставить себе свой корабль,
Тем более, что он вздохнуть мог немного свободней теперь,
Когда сдался Ли, и войну раздавили,
А продолжительный труд заживления ран
Не начат еще — хотя уже строил он планы;
Пускай затяжное лечение, но он его все проведет,
Ожесточенным болванам всем вопреки,
Которые только и думают, как бы Юг наказать побольнее
Теперь, когда Юг побежден.

Да, а что же насчет корабля ...

Он, кажется, смысл разгадал.

„Джонстон сдался, должно быть.

Надо думать, что это известие придет, —
Ведь это последняя точка над „и“, которой мы ждем.”
Он улыбнулся слегка, и стал говорить о другом.
После обеда с женой на прогулку поехал
И о будущем с ней говорил
С простотой несравненной, и очень спокойно.
Что ж, моложе они не становятся, и когда подойдет
Конец его президентского срока —
Не опечалится он. В Спрингфильд вернутся они и найдут себе дом.
Жить будут просто и мирно, старых друзей навещать,
Иногда защищать он возьмется какое-то дело иль два.
Практику там старина Билли Херндон не оставлял, —
Думаю, будет он рад вновь со мною вступить в компаньоны.
Жаться нам не придется — хватит нам на расходы,
Хватит на жизнь, — тихая жизнь у нас будет,
Возраста нашего бабье лето настанет.

Из экипажа он вдаль посмотрел и увидел все это:
Отдых, покой наконец.

Обратно поехали к Белому Дому. Переоделись, поели
И отправились вместе в театр, в свою флагом обитую ложу.
Пьеса была хороша, ему нравилась пьеса,
Смеялся он шуткам, смешил его комик
В длинных плакучих усах.

Время шло.

Грянул выстрел. Безумный убийца
Прыгнул из ложи, латинское прокричал изречение свое,
Глупым своим пистолетом потряс и исчез.

Линкольн в своей ложе, флагом обитой, повержен лежал.
Живой, но лишившийся речи. Подняли с пола его и понесли из театра.
Несколько он еще часов пролежал.
Затем отказалось сердце работать. Дыхание в горле забилося.
Бесформенный черный корабль Линкольна унес.

Салли ждала в Эппелтоне своим
Ярким осенним солнечным днем,
И начинало гореть у ней тело,

Тело горело и сердце горело,
Пока твердила она урок,
Который знать должна назубок:
„Цвет муки кукурузной – желт.
Скрипит у двери сломанный болт.
Старика утешь, мудреца пожалей,
Смотри на любимого с трезвостью всей.
Сломалось – чини, протерлось – зашей,
И твердой будь в печали своей,
Когда увидишь, как под дождем
Твой любимый плетется хром
И уже навек останется так ...
Сажай маис, вырывай сорняк,
И тело твое с головы до ног
Пусть будет как охотничий рог.
В огне и морозе свою любовь
Спасай, когда твой возлюбленный вновь
Вспомнит потерянную им кровь,
И руки ломай за колесом,
Которое ты вращаешь с трудом,
Пока, закалясь, твои руки, Салли,
Не станут тверже, чем руки стали,
Пока равнины простор неживой
Не зарастет молодой травой
И дом не встанет из праха твой,
Где старшего чтут и любят очаг,
Дом, где будет накормлен бедняк,
Где встретят ножом тебя, вкрадчивый враг,
Пока помнит река и ночной небосвод ...”
Спокойно смотрела она вперед.
И все же нечто тайл ее взор
Воле вингейтовской наперекор
И власти имени Элспет Маккей:
Искра плясала в глазах у ней,
Ее не задули ни горестей час,
Ни радость, ни годы, с листвою умчась.
– То с чужеземной статью француз
Дюпре и его припрятанный туз,
Француз Дюпре, открывающий бал
С невестой, которую он украл ...
Обернулась она, улыбнувшись слегка –
Увидела тропку в глуши сорняка.
Там мимо багряного дерева Клей,
Хромая, с трудом приближался к ней.

Джон Браун в могиле лежит, и гниет его тело.
Над ним расстелите песни его окровавленный флаг.
Пусть рвут его птицы, пусть солнце белил его,
Пускай его снег покроет периной пуховой,
Пускай Новой Англии облако будет трудиться над ним,
Серым кропя всепрощеньем тихих дождей, пропахших сиренью,

Пока не останется там ничего из того,
Что знало когда-то рабов и хозяев их белых,
Что зла надо всеми взлелеяло знак,
На мирное поле бросив оковы.
Джон Браун мертв — не вернется назад привиденье,
Бродящее с призрачным дулом своим.
Пусть заржавеет крепкий металл
Во прахе, который его обьял,
А уголь, чей пожирающий пыл
Его душою яростной был,
И который все еще стонет сильней
Железа, помазанного землей —
Пусть станет он холодной камней,
Пока сорняки и белые корни травы
Не высосут дикий глухой последний огонь из поющих костей.

Заройте Юг с Джоном Брауном вместе,
Заройте Юг, которого дни пролетели,
Заройте со сладостным ртом менестреля,
Заройте все добродетели клана, клинка, добродетели чести,
Заройте плантаторскую патриархально - спесивую знать,
Заройте горько - надменных, заройте учтивых,
Тех пистолетного нрава всадников, дивно умевших скакать,
Под жаркими звездами стаей веселых кентавров лететь,
Клейма заройте, заройте плеть,
Заройте несправедливый гнет —
Мудрый его состраданьем делал подчас,
Но тигра не мог у него он выгнать из глаз
И к той же кормушке пристроить, где зверь сострадания ест.
Заройте танцы, заройте смычков переливы,
Больные магнолии вместе с романтикой лживой
И рыцарство все, на котором поставили крест
До того, как дало оно плод.

Пурпурную мечту заройте вместе с этим
О той Америке, о той невоплощенной
Тропической империи, влекомой теплым морем,
Аристократии последний форум,
Где кровь или цена ее не в счет,
Не доллар и почин — закон и мера,
А некий стиль рожденья, правил свод,
Уменья жить особая манера.
Земли то было сельское сраженье
С машинами и с веком пара,
Франклиновская середина столкнулась с крайностями Гамильтона¹⁹⁵,
Душа земли восстала
На длань металла.
Эту невольничью барку огромную,
С множеством весел в море плывущую темное,
Неся на носу золоченую статую,
Где для невольников — цепи,
А избранным — великолепье,
Эту страсть, уже смертью обьятую,

Роскошь, что нам не под силу —
Тоже заройте в могилу.
Заройте тот неявленный удел,
Что с испытаниями не совладел —
В соседстве с Брауном; хоть Браун знает — враг с ним рядом лег, —
Он так забылся сном, ему не до тревог.

Он камнем был — он тишиной объят.
Был камнем из пращи, летящим в стену,
Он был убийства жертвенный снаряд,
Молитва, пулей ставшая отменной
В каленой стуже, — знал холмам он цену,
Пускай там что о нем ни говорят.

И был ему уклад деревни мил,
Душой пастух был он.
Когда он мирно шел, когда из родника он воду пил,
Взглянув на небосклон —

Он Бога видел в славе сил, иль просто видел небо
Без дна.
Пустое, голубое, где нет ни ангелов, ни гнева,
А только пустота и вышина.

Не только черный рок, — он знал земли покрой,
Знал сельский труд.
Умел он в руку взять комок земли любой
И чутя, как в нем семена растут.
Он фермер был — мир городов, колес, громад
Его не трогал вовсе.
Он ширь полей любил, лог желтый, бурый скат,
Луг, где резвились овцы.

Из тела Брауна растут стальные тросы,
Из тела Брауна, крутятся, растут колеса,
И из колес рождается иной
Машинный мир, не связанный трудами
Ни с этими суровыми полями,
Ни с этой старой бороздой.
Зверь металлический, огромный,
На Запад и Восток растущий неумоно,
В нем сердце ходит шестернею,
Кровь брызжет нефтяной струею,
А тело выгнуто змеей.
Из связок Брауна рождаются небоскребы,
Из сердца — зданья песней поднялись,
Динамо, балки, брусья, клепки, скобы,
Ночами пламя, столп из дыма днем,
Стальные города карабкаются ввысь
Огромною вращающейся клетью.
Как драгоценными камнями — вся электрическим облита клеть огнем.
В великолепии черном, дымчато - печальна,
Окрашена белей, чем шелк фаты для девушки хрустальной, —

Стальными солнцами. Вот ты, моторнорукое столетье —
Дух, что мы вызвали, чтоб управлять землей,
Который перед нашей волей слаб —
И все же наш хозяин и наш раб —
Раб неустанный, полубогом ставший.

Раз землю тронь родную, и поднявши
Глаза к высоким небесам —
Попробуй знаменье увидеть там,
Хоть раз очистив зренье
От страха и от преклоненья:
Вот жажда та живая, голод тот,
Вот сердца необъятного биенье, —
В нем предзнаменований не прочесть.

Оставшись в отдалении

От громких толп — всмотришься один в то пламя.
Будь тверд — не тронь его хулой иль похвалами.
Оно — чудовище и спящая царица,
Тот образ двойственный в тебе укоренен.
Вот явь, в которую душа твоя глядится,
Вот явь, которой был ты ослеплен!

Когда же из толпы кричат
Пророки — стар и млад,
Вопя в отчаянии и диком исступлении
Или молитвенно вставая на колени —
Оставь их с их хулой и похвалой,
Но со своей душой от них подальше стой.
И если сердце разорвет
Как тигель треснувший, и сталь прольется вся,
Расплавлена, бела, объята жаром колеса —
Отлей опять, во что бы то ни стало —
Суть самую металла,
Но форму крепкую из боли изготовь,
Пока та суть не станет целой вновь.
Пророки пусть дрожат и молятся, как в храме
Пред пламенем — в мечтах, что их услышит пламя ...
Но если и тебе сказать о нем дано —
Не повторяй за ними неизменно,
Что „проклято оно” или „благословенно”, —
Скажи лишь: „Есть оно.”

ПРИМЕЧАНИЯ

К американской музе.

1. **Шропшир** — графство в Англии.
2. **Сад богов** — национальный парк в Колорадо.
3. **Новая Англия** — сев. - вост. часть США. Включает штаты: Массачусетс, Коннектикут, Род - Айленд, Мэн, Нью - Хэмпшир и Вермонт.
4. **Английской песней затыкали рот...** — песня „О тебе, моя страна!“ пелась в Америке на мотив английского гимна „Боже, храни короля.“
5. **Графство Клэр** — графство в Ирландии.
6. **В стране чужой...** — Бене написал поэму „Тело Джона Брауна“ в то время, как он жил во Франции.
7. **Боевая песня** — „Тело Джона Брауна лежит, гния, в могиле“ — популярная песня северян во время гражданской войны.
8. **Длинный Дом** — место совета у индейских племен.

Книга первая.

9. **Вендел Филиппс** — abolitionист, прославившийся своими речами против рабства.
10. **Джон Браун** — борец против рабства. В октябре 1859 года с небольшой группой своих сторонников Браун захватил арсенал в Харперс - Ферри в Виргинии с целью вызвать восстание негров - рабов. Восстание не удалось. Браун был схвачен, предан суду и повешен 2 декабря 1859 года.
11. **Эмерсон, Ральф Уолдо** — американский философ, публицист и поэт, противник рабовладения.
12. **Торо, Генри Давид** — писатель, публицист, философ, последователь Эмерсона. Боролся за освобождение негров. Выступил в защиту Джона Брауна на митинге в Конкорде.
13. **Хоу** — врач, филантроп, издатель abolitionистской литературы.
14. **Хиггинсон** — abolitionист.
15. **Харперс - Ферри** — городок в Виргинии, где Джон Браун пытался в октябре 1859 года вызвать восстание негров - рабов.
16. **Толливер, Юджи** — известные фамилии южной знати.
17. **Ли и Кэрролы** — известные фамилии южной знати.
18. **Альбемарль** — Георг Монк, генерал, игравший важную роль в восстановлении Карла I на английском престоле и получивший от короля звание первого герцога Альбемарля.
19. **Карл Второй** — после своего вступления на английский престол в 1660 году жаловал коронные земли в Америке своим друзьям, оставшимся верными ему в изгнании.
20. **Монмаут** — герцог Монмаутский, незаконный сын короля Карла I.
21. **Карл Первый и Второй** — короли из династии Стюартов, потомки Иакова Первого.
22. **Поттаваттоми** — место в Канзасе, где по приказу Джона Брауна были убиты пять сторонников рабства.
23. **Нат Тернер** — негр, возглавивший восстание рабов в 1831 г. Был схвачен и повешен.
24. **Осаваттоми** — место в Канзасе, где Джон Браун вел партизанскую войну.
25. **Издание Гуди** — первый женский журнал в Америке, занимавшийся

вопросами мод и этикета.

- 25а. Фазтон** — в греческой мифологии сын бога солнца Гелиоса, упросивший отца дать ему на один день управлять солнечной колесницей. Чтобы спасти землю от солнечного огня, Зевс поразил Фазтона молнией.
- 26. Все ведьмы Новой Англии...** — намек на охоту за ведьмами в Новой Англии в колониальный период.
- 27. Шубел Морган** — одно из вымышленных имен, которым в целях конспирации пользовался Джон Браун.
- 28. Рассел** — аболиционистка, жена бостонского судьи, собиравшая средства для Джона Брауна.
- 29. Скульптор** — Эдвин А. Брэкетт.
- 30. Геррит Смит** — друг Джона Брауна, предоставивший участок земли для беглых рабов.
- 31. Профессор Джексон** — позже южный генерал, прозванный „Джексон - каменная стена“.
- 32. Голубой хребет** — южный хребет Аппалачей около Харперс - Ферри.
- 33. Слава, слава, аллилуйя...** — слова из „Боевого гимна Республики“, написанного Джулией Вард Хоу на мотив песни „Тело Джона Брауна“

Книга вторая.

- 34. Самтер** — форт в Южной Каролине. 12 апреля 1861 года южане начали осаду Самтера, тем самым открыв военные действия против Севера.
- 35. Пьер Гюстав Тутан Борегар** — генерал конфедератов, возглавивший осаду форта Самтер.
- 36. Чанселлорсвилл** — городок в Виргинии, расположенный недалеко от Вилдернеса, где в мае 1863 года произошла кровопролитная битва, в которой победили южане. Но Бене использует образ попавшего в засаду эскадрона как пророчество о гибели южан.
- 37. Иуда Бенджамин** — генеральный прокурор, позже военный министр и государственный секретарь Конфедерации.
- 38. Тумбс** — генерал Роберт Тумбс, государственный секретарь Конфедерации.
- 39. Стефенс** — Александр Х. Стефенс — вице - президент Конфедерации.
- 40. Рэгэн** — Джон Х. Рэгэн — министр почты и телеграфа Конфедерации.
- 41. Мэлорн** — министр флота Конфедерации.
- 42. Уокер** — генерал Лерой П. Уокер — военный министр Конфедерации.
- 43. Дэвис** — Джефферсон Дэвис — президент Конфедерации.
- 44. Если мы теперь не стянем вместе все наши силы, то бесспорно стянут в отдельности у каждого из нас петлю на шее...** — слова, сказанные Бенджамином Франклином 4 июля 1776 года при подписании Декларации независимости.
- 45. Джон Кальгун** — вице - президент в правительстве Адамса и Джексона, сторонник рабства и суверенности штатов. (1782 — 1859).
- 46. ...та девушка с глазами не - еврейки ...** — Иуда Бенджамин был женат на французской креолке, ревностной католичке, и сам принял католицизм.
- 47. Джон Хэй** — личный секретарь Линкольна.
- 48. Этот Линкольн, ныне став президентом по милости счастья, Дугласа...** — когда Линкольн избирался в Сенат в 1856 году, он участвовал в дебатах со своим противником Стефеном Дугласом. Эти знаменитые дебаты доставили ему общенародную известность, которая помогла

ему при выборах в президенты в 1860 г.

49. **Молли** — жена Линкольна Мэри Тодд.
50. **Сюард** — государственный секретарь; **Чейз** — министр финансов в правительстве Линкольна.
51. **Тысяч семьдесят пять добровольцев ...** — добровольцы, которые были призваны на трехмесячный срок.
52. **Булл - Ран** — небольшая речушка около Манассаса в Виргинии, где 21 июля 1861 года произошла первая Булл - Ранская битва.
53. **Дикси** — (или Диксиленд) было общее наименование южных штатов.
54. **Мисах** — один из трех библейских отроков, вышедших невредимыми из горячей печи, куда они были брошены. (Даниил, 3).
55. **Речь баллад английских...** — устаревший язык елизаветинских времен.
56. **„Тело Джона Брауна“** — популярная песня времен гражданской войны.
57. **„Джеф Дэвис, тебя мы повесим на яблоне кислой!...“** — песня солдат армии северян на тот же мотив, что и „Тело Джона Брауна.“
58. **Дом Генри** — Булл - Ранская битва разыгралась главным образом на том плато, где стоял дом Генри.
59. **Ла Хэй Сент** — ферма, где расположились английские войска во время битвы при Ватерлоо 18 июня 1814 года.
60. **Лексингтон** — Революционные войска в Лексингтоне неожиданно атаковали англичан 19 апреля 1775 года во время войны за независимость в Северной Америке.
61. **Бленхэим** — место, где произошла решающая битва в войне за испанское наследство в 1704 году.
62. **Гейнцельман** — полковник, командовавший третьей дивизией в армии Мак - Доуэлла.
63. **Шерман** — полковник, командовавший третьей бригадой в первой дивизии, позднее генерал. 15 декабря 1864 года начал знаменитый рейд к морю.
64. **Риккет, Гриффин** — артиллерийские офицеры в армии северян.
65. **Джексон** — Выражение „Джексон стоит как каменная стена“ принадлежит генералу южан Би.
66. **Мак - Доуэлл** — генерал, возглавлявший силы северян в Булл - Ранской битве.
67. **Джонстон** — генерал армии конфедератов, командовавший войсками при Шенандоа.
68. **Патерсон** — генерал - майор, командовавший войсками северян.
69. **... Почетно под куполом круглым на Риверсайд - драйве...** — Место гробницы Гранта в Нью - Йорке.
70. **Имбоден** — начальник артиллерии южан.
71. **... любящий сосать лимон бывший профессор тактики...** — генерал Джексон.
72. **Гранитная гора** — гора в Джорджии около Атланты. Скульптор Гадсон Бурглум высек на граните скалы профили вождей Конфедерации, в том числе — Джексона.
73. **Сентервилл** — Армия Мак - Доуэлла вынуждена была целиком отступить около Сентервилла в Виргинии.
74. **Хорас Грили** — ньюйоркский журналист, издатель газеты „Трибюн“.
75. **„Эвакуационный“ Ли** — Это прозвище возникло из-за неудач Ли во время первой небольшой кампании в Западной Виргинии.

Книга третья.

76. **Хэллек** — генерал северян, командовавший Западной армией.
77. **Форт Генри и форт Донельсон** — два важных подступа к юго - западной части Конфедеративных штатов. Форт Генри был захвачен силами Севера 6 февраля 1862 года, а форт Донельсон — 16 февраля.
78. **Вот Грант — генерал - майор** — Грант получил чин генерал - майора за взятие форта Донельсона.
79. **Британский корабль был задержан в Багамском проливе...** — 8 ноября 1861 г. британское почтовое судно „Трент“ было остановлено военным североамериканским судном. С британского судна были сняты Мэйсон и Слайдел — посланники южных штатов.
80. **То был первый бой броненосцев ...** — 9 марта 1862 г. произошел первый бой броненосцев — южной „Виргинии“ (известной на Севере как „Мэрримак“) и северного „Монитора“.
81. **Темерэр, Победа, Пляда ...** — следует перечисление деревянных судов, которые стали устаревшими после появления броненосцев.
82. **Дэви Джонс** — морской дух.
83. **С опухшим, болезненно - желтым лицом император** — Наполеон III.
84. **Гладстон** — английский министр финансов в кабинете Пальмерстона.
85. **Пальмерстон** — премьер - министр Англии во время гражданской войны в Америке.
86. **Генри Адамс** — Будучи личным секретарем своего отца, американского посланника Чарльза Френсиса Адамса, Генри Адамс писал письма в английские газеты, а также и в американские, защищая позицию северных штатов.
87. **Ваверлейская жилка** — романтическая жилка. „Ваверлей“ — первый нашумевший роман Вальтера Скотта, чьи романы пользовались огромной популярностью на Юге.
88. **„Чума на оба ваши дома“** — слова Меркуцио из „Ромео и Джульетты“.
89. **„Бьюла“** — роман Августы Вилсон.

Книга четвертая.

90. **Байу** — Новый Орлеан.
91. **Бьюэл** — генерал северных войск.
92. **Брагг** — генерал южных войск.
93. **Батлер** — генерал, возглавлявший армию Потомака в 1861 году.
94. **Шеридан** — северный военачальник, одержавший победу над войсками генерала Эрли в долине Шенандоа в 1863 году.
95. См. примечание 63
96. **Томас** — северный генерал, одержавший победу при Чаттануге.
97. **Бедный, богатый, солдат, попрошайка, воришка ...** — перефразировка известной детской считалки.
98. **Артемус Вард** — юморист.
99. **Орфеус Керр** — сатирик.
100. **Мак - Клелан** — главнокомандующий армиями северян.
101. **Северн Пайнс (Фэйр Окс)** — Битва, в которой 31 мая 1862 г. северяне потерпели поражение.
102. **Джубал Эрли** — генерал южных войск.
103. **Когда-то другие войска сошли с кораблей ...** — осада Трои греками.
104. **Сарпедон** — союзник троянцев, убитый Патроком.
105. **Скамандр** — река в Малой Азии, на которой стояла Троя.

106. Бикердайт — знаменитая сестра милосердия в армии северян.
107. Клара Бартон — основательница Красного Креста США.
108. Вилдернес — 5 — 7 мая 1864 г. битва при Вилдернесе.
109. Аппоматокс — 9 апреля 1865 года в Аппоматоксе капитулировала армия южан.
110. Стюарт из Лорел Хилл — генерал южной кавалерии.
111. А. П. Хилл — генерал южных войск.
112. Голландец Лонгстрит — южный генерал Джеймс Лонгстрит был голландского происхождения.
113. Д. Х. Хилл — генерал южных войск.
114. Фицью Ли — племянник генерала Роберта Ли, возглавлявший атаку против войск Шеридана и заставивший Шеридана отступить от Файв - Форкс.
115. Гуд — генерал Джон Белл Гуд.
116. Путешественник — конь генерала Роберта Ли.
117. Шпионка северных штатов — Элизабет Л. Ван Лью.
118. Семь дней — 25 июня — 1 июля 1862 года. Бои в течение семи дней вблизи Ричмонда.
119. Малверн - Хилл — атака Ли против Мак - Клелана 1 июля 1862 г.
120. Хэллек — генерал северян, заменивший впоследствии Мак - Клелана в качестве главнокомандующего северными войсками.
121. Маленький Мак — Мак - Клелан.
122. Старый Эб — Авраам Линкольн.

Книга пятая.

123. Тот сентябрь — сентябрь 1862 г.
124. Ли, напав на Мэриленд, попал в засаду... — после частичных успехов Ли потерпел поражение у Южной горы в Мэриленде.
125. Где Дом солдатский кленами обсажен... — Дача Линкольна в нескольких милях к северу от Белого Дома. Там было два дома: одним пользовался президент, в другом был устроен дом отдыха для добровольцев - ветеранов.
126. Считают Стентон с Хэллеком... — в это время Стентон — военный министр в правительстве Линкольна, а Хэллек — главнокомандующий силами северян.
127. Булл - Ран — Булл - Ранская битва 28 - 29 августа 1862 г., завершившаяся победой южан.
128. От двадцати миллионов душ молитву... — Хорас Грили в газете „Трибюн“ напечатал „Молитву двадцати миллионов“ — статью, направленную против Линкольна.
129. Сангамон — название местности и реки, где жил Линкольн в 1832 г.
130. О той потерянной могиле... — могила Энн Рутледж, первой любви Линкольна.
131. Билли Херндон — близкий друг и компаньон Линкольна, позднее его биограф.
132. Пиджон Крик — поселение на юге Индианы, где Линкольны жили с 1816 по 1830 г.
133. Прочел я прокламацию мою... — 22 августа 1862 года Линкольн представил своему кабинету прокламацию об освобождении рабов, которая была опубликована позднее.
134. О нашем поражении толки на всех устах... — май, июнь, июль, август 1862 г. — северяне терпят поражение за поражением.

135. Если только битва последняя окажется победой... — после битвы при Антьетаме Линкольн опубликовал свою прокламацию 22 сентября 1862 года.
136. Как будто мы боремся с ангелом смерти... — Спэйд, очевидно, думает о борьбе Иакова с ангелом. (Бытие, 32)
137. Чтоб вырезать боль у схватки... — Существует поверье, что можно облегчить родовые боли, положив ножницы под матрац роженицы.
138. Гаррисон, Бичер — известные аболиционисты.
139. Самнер — государственный деятель, оратор, противник распространения рабства.
140. Вендел Филиппс — противник рабства (см. примечание 9), благодаря блестящей внешности сравниваемый с Антиномем, любимцем римского императора Адриана.
141. Иенси — южный политический деятель, возглавивший уход южан из демократического Конвента, тем самым создавший раскол, обеспечивший победу республиканцам.
142. Слайдел, Мэйсон и Хьюз — южные политические деятели, отправленные в Англию и Францию с особыми поручениями.
143. Начинает дверь закрываться... — Наполеон 111 начинает сомневаться в победе южан.
144. Бэрнсайд — генерал северных войск, одно время — командующий армией Потوماка.
145. Джо Хукер — командующий армией Потوماка с января 1863 года.
146. Либи — лагерь для военнопленных в Ричмонде.
147. Вирц — капитан Генри Вирц, начальник лагеря в Андерсонвилле, где пленные северяне содержались в ужасных условиях. Вирц был предан суду и казнен в ноябре 1865 г.
148. Вудсон — Бене приводит здесь исторически достоверный случай.

Книга шестая.

149. Скейские ворота — ворота в Трое.
150. Илиада Виргинии — история осады Ричмонда.
151. На Пятой стоит авеню ... — на Пятой авеню в Нью Йорке стоит памятник генералу Шерману.
152. Огромная гробница — гробница генерала Гранта.
153. Близ Ларами... — город в штате Вайоминг.
Женщина, как мотылек, небольшая... — поэтесса Эмили Дикинсон.
154. Один человек о машине мечтает... — возможно, Дариус Грин, герой юмористической поэмы „Дариус Грин и его летательная машина“.
155. Чтобы железной дорогой всю перерезать равнину страны... — во время правления Линкольна была запланирована железная дорога Юнион - Пасифик.
156. Доктор усатый... — И. Саммельвайс.
157. Когда он был ранен из рядов его собственных градом рванувшихся пуль... — Джексон был смертельно ранен по ошибке своими солдатами в бою при Чанселлорсвилле в мае 1863 г.

Книга седьмая.

158. Гетти — Джеймс Гетти открыл первую таверну и лавку в Марш - Крик в 1780 г. Деревня, сперва известная под именем Геттитаун, впоследствии, в 1806 г. была переименована в Геттисбург.

159. **Пенн стоял под дубом своим ...** — Осенью 1682г. в Шахамаксоне (нынешний Кенсингтон, Пенсильвания) Вильям Пенн под большим деревом заключил мир с индейцами.
160. **И вот наконец...** — Наступление южных армий на Север началось в июле 1863 г.
161. **Он начинает осаду ...** — осада длилась с 18 мая по 4 июля 1863 г.
162. **Эти известия ползут к соглядатаям заокеанским...** — речь идет об Англии, Франции и России.
163. **Лэрд** — английская судостроительная фирма, строившая два бронеоса для южан. Английское правительство запретило передачу судов южанам.
164. **Трех военачальников синих лишил он поста...** — Попа, Бернсайд, Хукера.
165. **Набег неудачный...** — согласно общему мнению военных историков Стюарт должен был информировать Ли, а не пускаться в бесполезный кавалерийский рейд на восток.
166. **Баффорд** — Наполеон Баффорд — генерал северных войск.
167. **Петтигрю** — генерал южных войск, чья бригада почти полностью погибла в атаке Пикетта.
168. **В надежде добыть сапоги для солдат...** — В армии генерала Ли было очень трудно с обувью.
169. **Рейнольдс** — генерал Джон Ф. Рейнольдс, командующий Первым корпусом северян, был убит южным снайпером.
170. **Он посылает Хенкока ...** — после смерти генерала Рейнольдса Хенкок был назначен командующим всеми силами, участвовавшими в сражении.
171. **Пикетт** — генерал Джордж Пикетт, служивший под началом Лонгстрита и командовавший виргинцами.
172. **Старый Питер** — так звали Лонгстрита его солдаты.
173. **Кашинг** — Алонзо Х. Кашинг, лейтенант артиллерийской бригады Второго корпуса северян.
174. **Армистед** — генерал, участвовавший в атаке Пикетта и водрузивший южный флаг на стене, за которой стояли северяне.
175. **Но что-то сломалось в душе...** — В письмах Пикетта, изданных в 1913 г., много свидетельств о пережитом им отчаянии в связи с гибелью его солдат.

Книга восьмая.

176. **Колд Харбор, Споттсильвания, Йелло - Таверн** — бои во время наступления Гранта к Вилдернесу в мае — июне 1864 года.
177. **Вилдернес** — городок в Западной Виргинии и окружающая его местность.
178. **„Адовы полакра“** — Во время битвы при Споттсильвании начался лесной пожар; сгорели несколько сотен раненых.
179. **Осада Питерсбурга** — с июня 1864 до мая 1865 г.г.
180. **В долине Шенандоа...** — 6 октября 1864 г. Шеридан рапортовал, что он уничтожил свыше двух тысяч амбаров с зерном и сеном и свыше 70 мельниц с зерном и мукой; кроме того, не менее трех тысяч овец было зарезано для армии северян.
181. **„Дэн Такер“** иль **„Из Албани красotka“** — популярные народные песни.
182. **„Коломбо“, „Маленький Масгрэйв“, „Лорд Рендалл“** — герои попу-

лярных песен.

- 183. Джесси Джеймс** — полупрофессиональный американский грабитель, о котором сложено много песен.
- 184. Питер Рагг** — по новелле Вильяма Остина, Питер Рагг правил телегой и поклялся, что он доедет до дому с Божьей помощью или без нее. Он все еще едет.
- 185. Джонни - Яблочное Семя** — так в народе называют Джона Чапмана, жившего с 1775 г. по 1843 г. и посадившего яблони по долине Огайо.
- 186. Испанская дама** — Легенда о сарацинской принцессе, последовавшей за англичанином, изложена в издании Перси Сосайети по рукописи 1300 г. Вариант этой легенды есть в балладе „Young Beichan“ (№ 53 С в сборнике Чайлда).
- 187. И говорит он, что война есть ад ...** — хотя Шерман отрицал, что он это говорил, есть указания на то, что он дважды употребил это выражение.
- 188. ...А потом своими цепями греметь...** — Дэвис был взят в плен и посажен в крепость Монро.
- 189. А завтра исчезнет ...** — биограф Бенджамина сообщает, что Бенджамин бежал в Лондон, где стал преуспевающим адвокатом.
- 190. Словно он папоротника зерно проглотил...** — существует поверье, что тот, кто проглотит зерно папоротника или положит его в свой башмак, сразу станет невидимым.
- 191. Орда весь корпус...** — генерал Орд со своим корпусом сопровождал Гранта в Аппоматоксе.
- 192. Воронка** — под Питерсбургом от взрыва динамита образовалась гигантская воронка. Солдаты - северяне, очутившиеся в ней, были окружены, и множество их было перебито. Среди попавших в воронку были части Четвертой негритянской дивизии.
- 193. Эдмунд Раффин** — историческое лицо. Покончил самоубийством, узнав об окончательном поражении южан.
- 194. Этот сон в то же время был старым...** — В произведении Карла Сендберга „Авраам Линкольн“ упоминается об этом сне. Линкольн говорил, что сон о корабле, быстро движущемся к туманному берегу, не раз предшествовал большим событиям во время войны.
- 195. Франклиновская середина столкнулась с крайностями Гамильтона...**
— Бенджамин Франклин (1706 — 1790) — выдающийся американский политический деятель, дипломат и ученый. Враг рабовладения. Александр Гамильтон (1757 — 1804) — американский политический деятель, глава партии федералистов, сторонник рабства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К американской музестр. 9
Прелюдия — невольничий корабль.стр. 13
Книга перваястр. 18
Книга втораястр. 56
Книга третьястр. 93
Книга четвертаястр. 124
Книга пятаястр. 167
Книга шестаястр. 193
Книга седьмаястр. 221
Книга восьмаястр. 251
Примечаниястр. 300

Американский поэт Стивен Винсент БЕНЕ (1898 — 1943) очень рано овладел своим даром. Уже в 17 лет он выпустил первый сборник стихов — „Пятеро и Помпей“. За ним последовали — „Порывы юности“ (1918), „Небо и земля“ (1920), „Баллада о Вильяме Сикаморе“ (1923) и другие. Позднее, в 30-е годы он опубликовал сборник рассказов „Тринадцать часов“ (включающий новеллу „Дьявол и Даниэль Вебстер“) и „Плач о диктатуре“ (1935) — сатиру на тоталитаризм.

Но настоящую славу ему принесло главное произведение его жизни — поэма „Тело Джона Брауна“.

Получив в 1926 году стипендию Гугенхейма, он уехал на юг Франции и два года работал там, создавая свой эпос. На страницах его ожили Линкольн и Грант, Ли и Шерман, раскаленные плантации, выжженные поля сражений, армии южан и северян, невольничьи корабли, пересекающие океан, тайные тропы, уводящие беглецов на север, кровь, страдания, надежды. Опубликованная в 1926 году поэма была удостоена Пулитцеровской премии, признана лучшим произведением года и вскоре вошла почти во все школьные программы.

И вот теперь, ровно 50 лет спустя, русский читатель получает возможность познакомиться с этой поэмой в великолепном переводе, сделанном известным поэтом русского Зарубежья. Иваном ЕЛАГИНЫМ.